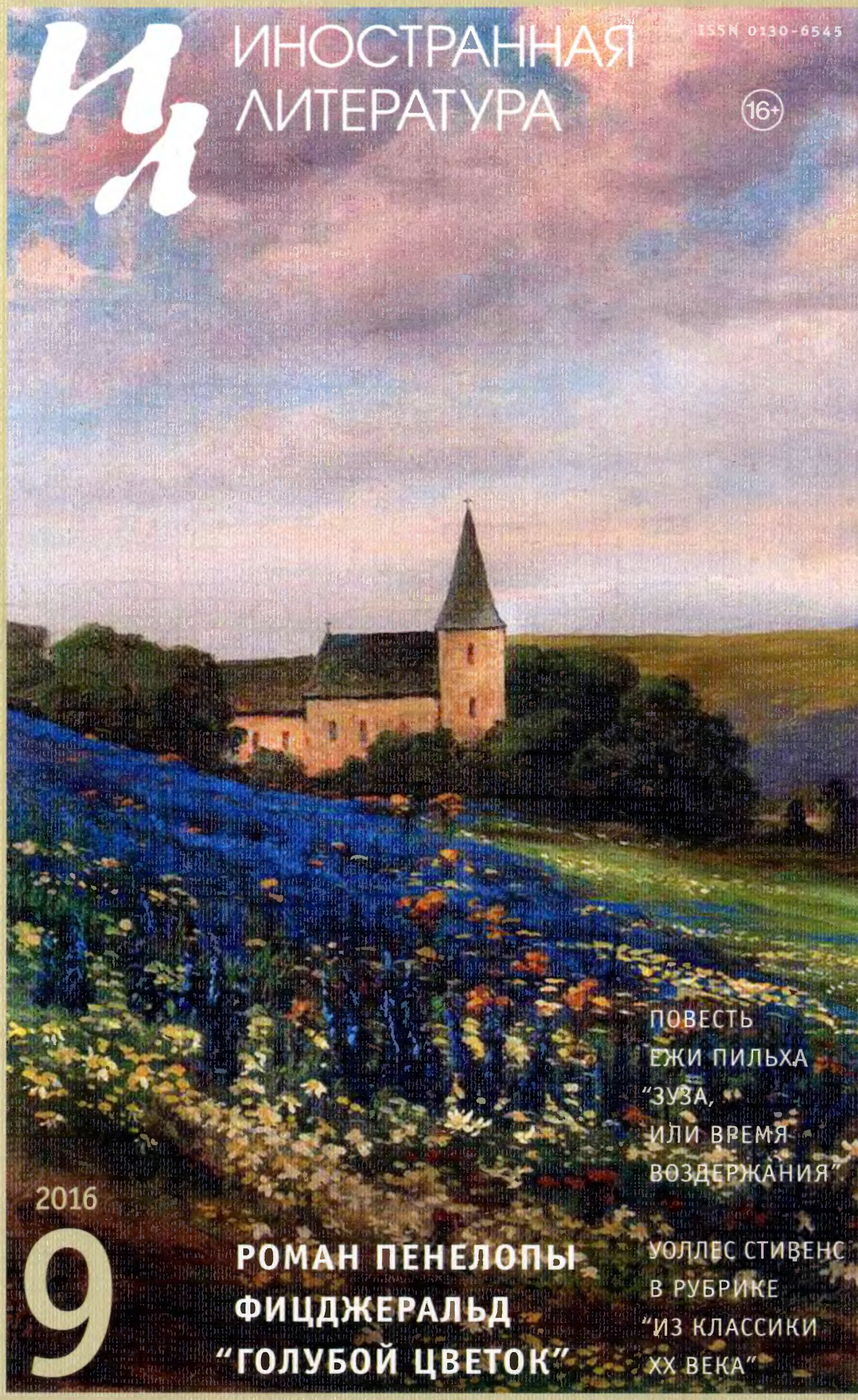
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



ПОВЕСТЬ
ЕЖИ ПИЛЬХА
"ЗУЗА,
ИЛИ ВРЕМЯ
ВОЗДЕРЖАНИЯ"

УОЛЛЕС СТИВЕНС
В РУБРИКЕ
"ИЗ КЛАССИКИ
XX ВЕКА"

2016
9

РОМАН ПЕНЕЛОПЫ
ФИЦДЖЕРАЛЬД
"ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК"

Основан в 1955 году

“ИЛ” в 2017 году

Читателя ждут специальные номера, посвященные американской, бразильской литературе, тематические номера **“Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса”**, **“Вспоминая Набокова”**, а также литературный гид **“К 110-летию Уистена Хью Одена”**.

“Торговец зачинами романов” — остроумная литературная игра в форме “романа-калейдоскопа”. МАТЕЙ ВИШНЕК — поэт, драматург и прозаик, пишущий по-румынски и по-французски, — центрирует свой опус вокруг мистической фигуры литагента, поставляющего писателям ударные первые фразы для романов, которые продвигают их на Нобелевскую премию.

Тексты из новой книги **“Мир идет...”** ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ — венгерского мастера апокалипсиса и продолжателя Гоголя и Мелвилла, по определению Сьюзен Сонтаг. В ироничных, пронзительных эссе и новеллах лауреата Международной Букеровской премии 2015 года отражено предельное состояние современного мира, безнадежно блуждающего в трагическом лабиринте истории.

В романе **“Розы для Сталина”** МОНИКА ЗГУСТОВА, чешская писательница, живущая в Каталонии, захватывающе описывает жизнь Светланы Сталиной-Аллилуевой-Питерс, которая для одних была дочерью великого вождя, для других — дочерью маньяка-убийцы, а сама мечтала “просто жить, любить и быть собой”.

Всемирно известный итальянский писатель КУРЦИО МАЛАПАРТЕ в очередной раз поражает читателя безупречным владением жанром малой прозы. Ирония в его новеллах сочетается с пафосом, драматические ситуации — с неизменной улыбкой автора.

“Kilroy was here” — собрание трехстиший корифея немецкой литературы ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА, задуманное как круглогодичный календарь и объединенное неким легендарным и загадочным персонажем: Килроем.

“Лавры срезаны” ЭДУАРА ДЮЖАРДЕНА — культовый любовный роман классика французского декаданса, чье влияние признавали и русские символисты, и даже сам Оскар Уайльд.

Пьеса **“Ловушка. Развязка в одном действии”** классика итальянской и мировой литературы XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО свидетельствует: модернисту, автору “Шести персонажей в поисках автора”, не чужд и традиционный итальянский театр в духе Гольдони с его изобретательностью, юмором, тонкой психологической игрой.

Известный американский журналист, писатель и ученый РИЧАРД ПРЕСТОН в эссе **“Война с вирусом Эбола”** красочно, увлекательно и при этом по-научному достоверно описывает устрашающие симптомы коварнейшей болезни XXI века.

ДЭВИД МЭММЕТ **“Романс”**. Пародийное до абсурда заседание суда, ничем не заканчивающееся. Чистое издевательство над судоговорением, над мирной конференцией, над национальной рознью, над сексуальными свободами.

[9]
2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Пенелопа Фицджеральд *Голубой цветок.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц

150 Ежи Пильх *Зуза, или Время воздержания.* Повесть. Перевод с польского К. Старосельской

Из классики XX века — 215 Уоллес Стивенс *"Не каждый день мир выстраивается в стихотворение".* Стихи и афоризмы. Перевод с английского и вступление Григория Кружкова

Литературное наследие — 225 Жан-Пьер Камю *Новеллы.* Перевод с французского и вступление Елены Морозовой

Национальные культуры и национальные психозы — 241 Александр Мелихов *Творяне всех стран, соединяйтесь!*

Письма из-за рубежа — 256 Марк Копелев *Война и мир*

БиблиофИЛ — 278 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

282 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера — 285

© "Иностранная литература", 2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Пенелопа Фицджеральд

Голубой цветок

Роман

Перевод с английского Е.Суриц

От автора

Это роман о жизни Фридриха фон Харденберга, еще до того, как он прославился под именем Новалиса. Все уцелевшие произведения, письма к нему и от него, дневники, официальные и неофициальные документы опубликованы в пяти томах между 1968 и 1988 годами в издательстве “W. Kohlhammer Verlag”. Первыми редакторами были Рихард Самуэль и Пауль Клукхон, и я перед ними в неоплатном долгу.

Описание операции без наркоза по поводу ампутации молочной железы заимствовано главным образом из письма Фанни д’Орбли к ее сестре Эстер Берни (30 сентября 1811 года).

© Penelope Fitzgerald, 1995
Preface © Hermione Lee 2013
© Е. Суриц. Перевод, 2016

Редакция журнала “Иностранная литература” выражает благодарность сотрудникам музея Ной-Августусбург в Вайсенфельсе за любезно присланные фотографии.

Романы растут из недоглядов истории.

Ф. фон Харденберг,
впоследствии Новалис
Отрывки и этюды (1799–1800)

1. *День стирки*

Якоб Дитмалер сразу понял, уж не такой дурак, что они с другом угодили к тому в гости аккурат в день стирки. Никуда, тем более в громадный дом, третий по размерам во всем Вайсенфельсе, не следовало заявляться в такое время. Матушка Дитмалера управляла стиркой трижды в год: у них в хозяйстве постельного белья и белого исподнего лишь на четыре месяца хватало. Рубашек у него было всего восемьдесят девять штук, не более. Но на Клостергассе у Харденбергов густая несвеже-белая пурга простынь, наволочек, чехлов, корсетов, сорочек, нижних юбок и кальсон, из верхних окон засыпавшая двор, где слуги и служанки с важным видом ей подставляли большущие корзины, — свидетельствовала о том, что здесь стирают в году всего однажды. Это могло не означать богатства и, в данном случае, Дитмалер знал, не означало, но было верным признаком долгого житья на одном месте. И обширного семейства. Исподнее детишек и молодых особ, вперемешку с более солидными размерами, кружилось и порхало, будто детишки сами пустились влёт.

— Ну, Фриц, ты, кажется, меня совсем некстати притащил. Уж предупредил бы, что ли. Сам посуди, удобно ли чужому для твоего почтенного семейства человеку стоять по колено в вашем белье.

— Откуда же мне знать, когда они затеют стирку? — отвечал Фриц. — Да ты не бойся, тебя здесь все равно встретят с распростертыми объятиями.

— Фрайхерр топчут белье неразобранное, — вмешалась ключница, высовываясь из нижнего окна.

— И сколько же, Фриц, вас всех в семействе? — спросил Дитмалер. — Этакая уйма вещей! — и ни с того ни с сего вдруг гаркнул: — Понятия “вещь в себе” не существует!

Фриц, направившийся было через двор, остановился, огляделся и потом важным, властным голосом прокричал в ответ:

— Господа! Взгляните на эту бельевую корзину! Сосредоточьте вашу мысль на бельевой корзине! А теперь, господа, помыслите о мыслях бельевой корзины!

Собаки в доме зашлись лаем. Фриц подозвал одного из державших корзину слуг:

— Дома отец и матушка?

Мог и не спрашивать, где ей еще быть, матушке. Тут во двор выбежали приземистый юнец, неустоявшегося облика, помоложе Фрица, и светловолосая девочка.

— Здесь, тем не менее, мой брат Эразм и сестра Сидония. Они здесь — чего же нам еще?

Оба кинулись на шею Фрицу.

— Сколько же вас всех в семействе? — опять спросил Дитмалер. Сидония тянула ему руку, улыбалась.

"Здесь, средь скатертей, младшая сестра Фрица Харденберга смутила мой покой, — думал Дитмалер. — Этого мне только не хватало".

Она говорила:

— Карл где-то тут, и Антон, и Бернард, но нас, конечно, больше.

На пороге, зыбучая, как тень, бесплотней тени, их встретила фрайфрау фон Харденберг.

— Матушка, — сказал Фриц. — Это Якоб Дитмалер, он учился в Йене тогда же, когда Эразм и я, а теперь он ассистентом у медицинского профессора.

— Нет еще, — поправил Дитмалер. — Когда-нибудь и стану, я надеюсь.

— Я ездил в Йену, знаете, повидать друзей, — Фриц продолжал. — И залучил его к нам на несколько деньков.

Взгляд фрайфрау отобразил чуть ли не ужас — взгляд затравленного зайца.

— Дитмалеру необходим глоточек коньяку, чтоб поддержать в нем жизнь хотя на несколько часов.

— Так он больной? — в смятении отозвалась фрайфрау. — За ключницей, стало быть, послать.

— К чему нам ключница, — сказал Эразм. — У вас же у самой есть ключи от буфетной.

— Да-да, конечно, — она глядела на него с мольбой.

— Ключи у меня, — вмешалась, наконец, Сидония. — С тех пор как сестрица замуж вышла. Я вас проведу в буфетную, и не тревожьтесь.

Тут только фрайфрау опомнилась и пригласила в дом сыновнего приятеля.

— Супруг не может сию минуту вас принять, он на молитве.

И, сбросив это испытанье с плеч, она не стала их сопровождать по обветшалым комнатам и еще более обветшалым коридорам, заставленным старыми добротными мебелями. По малиновым стенам поблеклые прямоугольники остались на

память о картинах. В буфетной Сидония разлила коньяк, Эразм провозгласил тост – за Йену.

– Stoss an! Jena lebe hoch! Hurra![1]

– Нашли что славить, – усмехнулась Сидония. – В этой Йене Фриц и Асмус только зря деньги переводили, вшей набирались да слушали разный философский вздор.

Она вручила братьям ключи и вернулась к матери, которая так и стояла на том самом месте, где ее оставили, недвижно наблюдая приготовленья к большой стирке.

– Матушка, вы мне не дадите немного денег, талеров шесть-семь, – кой-что устроить для нашего гостя.

– Милая моя! Да что ж еще устраивать? Кровать, слава Богу, в комнате, какую ему выделили, стоит.

– Да, но слуги там держат свечи и повадились Библию читать в свободные часы.

– Но, милая моя, зачем же ему в комнату соваться средь бела дня?

Сидония предположила, что ему, может быть, захочется что-то записать.

– Записать? – предположение дочери поставило фрайфрау в совершеннейший тупик.

– И ему для этого понадобится стол, – Сидония воспользовалась своим преимуществом. – А на случай, предположим, ежели ему захочется помыться, нужен кувшин, и таз, и ведро.

– Но, Сидония, неужто он умыться у колодца не умеет? Все братья твои так моются.

– И в комнате даже стула нет – куда он платье на ночь будет складывать?

– Платье складывать! Холодно еще, что ж на ночь раздеваться! Я и сама-то на ночь не раздеваюсь, и летом даже, вот уж лет двенадцать!

– И однако родили нас восьмерых! – вскрикнула Сидония. – Упаси меня Боже от такого замужества!

Это замечание фрайфрау пропустила, кажется, мимо ушей.

– Но ты о другом не подумала. Как бы отец голоса не возвысил.

Сидония и бровью не повела.

– Придется этому Дитмалеру мириться с отцом и с тем, как мы живем, а нет, пусть убирается к себе домой, скатертью дорожка.

1. Содвинем бокалы! Да здравствут Йена! Ура! (*нем.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Так почему бы ему и с нашими гостевыми не смириться? Фриц ему рассказывал, я думаю, о нашем простом, богобоязненном обычае.

— Но разве богобоязненность непременно за собой влечет отсутствие урыльника? — поинтересовалась Сидония.

— Что за речи? Да что с тобой, Сидония? Или ты стыдишься родительского дома?

— Да, стыжусь.

В свои пятнадцать лет Сидония вспыхивала, как спичка. Не просто вспыльчивость, горячность — жар души отличал всех юных Харденбергов.

И Фрицу загорелось повести друга на реку, пройтись по тропке, проторенной по-над рекой, говорить и говорить: о стихах, о назначенье человека.

— Об этом мы где угодно можем говорить, — возразил Дитмалер.

— Но я хочу, чтоб ты увидел, как мы живем, — объяснял Фриц. — Всё по старинке. Мы в Вайсенфельсе старомодны, зато у нас здесь покой, у нас здесь heimisch[1].

Один из слуг, из тех, что стояли подле корзин, но облеченный уже в темную ливрею, явился при дверях и доложил, что Хозяин рады будут принять сыновнего приятеля у себя в кабинете, до обеда.

— Старый враг у себя в логове! — крикнул Эразм.

Дитмалеру сделалось неловко.

— Я за честь почту представиться твоему отцу, — сказал он Фрицу.

2. В *кабинете*

Стало быть, Эразм в отца пошел: тучный фрайхерр, учтиво приподнявшись из-за стола в сумеречном кабинете, оказался вдруг приземист; и был он в ночном бумазейном колпаке — от сквозняков. Но в кого тогда у Фрица — мать, та зыбкость, эфемерность, не более, — его угловатая худоба, высокий рост? Зато — в точности, как старший сын, — фрайхерр заговорил с места в карьер, мысли только и ждали случая вырваться словами.

— Милостивый государь, я прибыл в дом ваш, — залепетал Дитмалер, и тут же фрайхерр перебил:

1. По-домашнему, уютно (*нем.*).

— Дом этот не мой. Правда, я купил его у вдовы фон Пилзах для нужд семейства, когда назначен был директором в Управление соляных копий Саксонии, и пришлось переехать в Вайсенфельс. А подлинное именье Харденбергов, дом и угодья, те — в Обервидерштедте, в княжестве Мансфельд.

Дитмалер отвечал учтиво, что за счастье бы почел посетить также и Обервидерштедт.

— И увидали бы одни руины, — сказал фрайхерр, — и скот некормленый. Однако владения эти наследственные, затем и стоят упоминанья, да-с, а лучше я, воспользовавшись случаем, спрошу у вас, правда ли, что мой старший сын Фридрих спутался с молодой особой из среднего сословия?

— Не слыхивал, чтоб вообще он с кем-то путался, — Дитмалер возмутился. — Но так или иначе, думаю, едва ли можно его мерять общей мерой, он философ и поэт.

— На жизнь он будет зарабатывать, однако, помощником инспектора на соляных копях, — отрезал фрайхерр. — Но не буду больше вас допытывать. Вы гость, стало быть, как сын мне, и вы мне не попеняете, если я себе позволю кое-что спросить о вас самих. Сколько вам лет, чем в дальнейшем вы предполагаете заняться?

— Мне двадцать два года, я учусь, намереваюсь стать хирургом.

— Покорны ли вы воле отца?

— Отец мой умер, фрайхерр. Он был штукатур.

— Об этом я вас не спрашивал. Случалось ли вам нести печальные потери в семействе вашем?

— Да, сударь. Я потерял двух младших братьев в скарлатине и сестру в чахотке, всех за один год.

Фрайхерр стянул колпак, в знак уваженья, надо понимать.

— Должен вам дать один совет. Вы молоды, вы студент, и, если вас охватит страсть к женщине, бегите вон, на вольный воздух, и гуляйте, гуляйте на просторе как можно дольше. — Он обошел комнату, сплошь уставленную книжными шкафами, в которых однако много полок пуствало. — Так-с, и какие, скажите, суммы располагаете вы тратить в неделю на спиртное, а? И на книги — отнюдь не молитвенники, понимаете ли? Сколько на новый черный плащ, без изъяснения причин, почему ваш старый вдруг пришел в негодность? Какие суммы, а?

— Вы задаете мне свои вопросы, фрайхерр, выказывая недовольство вашим сыном. Вы сами обещали, кажется, меня больше не допытывать.

Харденберг был, собственно, еще не стар — на шестом десятке, — но сейчас он глянул на Дитмалера, опустив, понуря голову, совсем по-стариковски.

— Ваша правда, совершенная ваша правда. Я воспользовался случаем. Случай, в конце концов, тот же соблазн.

И положил руку гостю на плечо. Дитмалер встревожился, недоумевая, хотят ли его толкнуть, пригнуть, или фрайхерр на него оперся, или то и другое вместе. Видно, он привык, фрайхерр, всем своим весом налегать на тех, кто посильней, на крепких сыновей, на дочку даже. Дитмалер чувствовал, что вот-вот треснет у него ключица. "Жалкое же я зрелище собой являю", — он думал, но вот уж он стоял на коленях, а Харденберг, досадуя на собственную немощь, цеплялся, чтобы не упасть, за край тяжелого дубового стола, потом за ножку. Дверь отворилась, прежний слуга явился, на сей раз в войлочных туфлях.

— Не прикажут ли фрайхерр развести огонь в печи?

— Побудь с нами, Готфрид.

Поскрипывая, опустился старик подле хозяина. И стали они, в точности как старая чета, бок о бок склоненная над поверяемыми счетами, в особенности, когда фрайхерр вдруг вскинулся:

— Где малыши?

— Слуг детишки, ваше сиятельство?

— Само собою, но и наш Бернард.

3. Б*ернард*

Был в доме у Харденбергов ангел, Август Вильгельм Бернард, с волосами светлыми, как пшеница. После некрасивой, в мать, Шарлотты, после старшего сына, бледного, глазастого Фрица, после крепыша и коротышки Эразма, беспечного Карла, великодушной Сидонии и прилежного Антона, на свет явился белокурый Бернард. Тот день, когда пришлось его переодеть в штанишки, был для матери ужасен. Она, за всю жизнь свою едва ль хоть раз о чем-нибудь просившая для себя самой, заклинала Фрица:

— Поди к нему, поди к твоему отцу, проси, моли его, пусть позволит моему Бернарду еще немного походить в платьицах!

— Но матушка, что я ему скажу? Бернарду, кажется, уже шесть лет.

В таком возрасте, думала Сидония, давно пора бы понимать, что такое любезность к гостю.

— Ну, почем я знаю, сколько он у нас пробудет, Бернард. Он с собой привез большой чемодан.

— Чемодан весь книгами набит, — сказал наш Бернард. — И еще он с собой привез бутылку шнапса. Думал, видно, что у нас в доме такого не водится.

— Бернард, ты был у него в комнате.

— Да, заглянул.

— И открывал его чемодан.

— Да, хотел посмотреть, что там лежит.

— Ты так все и оставил или прикрыл крышку?

Бернард замялся. Он не мог припомнить.

— Ну хорошо. Неважно, — продолжала Сидония. — Ты, конечно, должен во всем признаться господину Дитмалеру и просить у него прощенья.

— Когда?

— Еще до темноты. Всегда лучше не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

— И что я ему скажу? — закричал наш Бернард. — Я ничего ему не портил!

— Сам знаешь, батюшка мало тебя наказывает, — улещивала его Сидония. — Не то что нас наказывали. Ну, разве что, велит тебе курточку поносить наизнанку денек-другой, для острастки. Вот мы позанимаемся музыкой до обеда, а там пойдем вместе к гостю, и ты возьмешь его за руку и спокойно с ним поговоришь.

— Ах, как вы все мне надоели! — крикнул Бернард и бросился от нее прочь.

Фриц обходил огородные грядки, вдыхал запах распахнутых цветов фасоли и вслух, во весь голос, читал стихи.

— Фриц, — окликнула Сидония. — У меня Бернард потерялся.

— Не может быть!

— Я его отчитывала в утренней комнате, а он вдруг от меня как дунет, вскочил на подоконник и спрыгнул в сад.

— Но ты за ним послала кого-нибудь из слуг?

— Ах, лучше не надо, Фриц, они матушке доложат.

Фриц на нее глянул, захлопнул книжку и объявил, что сам отыщет братца.

— За волосы его приволоку, если что, только вам с Асмусом придется покамест занять моего друга.

— А где он теперь?

— У себя в комнате, читает. Отец совсем его уморил. Кстати, в комнате у него все было перевернуто вверх дном, и чемодан открыт.

— Он сердится?

— Нисколько. Как видно, счел, что и это тоже обычай Вайсенфельса.

Фриц надел фризовое пальтецо и без раздумий заторопился к берегу. Всему Вайсенфельсу известно было, что малыш Бернард в воде не тонет, он водяная крыса. Хотя плавать он не умел, как, впрочем, и отец. Семь лет прослужив в Ганноверском войске, не раз быв в деле, фрайхерр частенько переправлялся через реки, но пускаться вплавь ему не приходилось. Бернард однако всегда жил у воды, и жить без нее, кажется, не мог. Он вечно околачивался возле парома, в надежде на него скользнуть, не уплатив положенных трех пфеннигов за переправу. Этого родители не знали. В Вайсфельсе существовал некий заговор великодушия, многое таили от фрайхерра, щадя его благочестие, во-первых, а во вторых, чтоб ненароком не раздразнить его свирепый нрав. Солнце закатилось, но в небе еще медлила багряная полоса. Мальчика у парома не было. Только гуси стайкой да несколько свиней, которым ход на справный мост Вайсенфельса воспрещался, дожидались последней переправы.

4. *Красный колпак* Бернарда

Вот когда Фриц не в шутку испугался. Опережая его, воображенье уже неслось на Клостергассе, вот ключница навстречу: “Но, молодой барин, что за груз вы волочете в дом? Ох, что воды-то, воды, все полы мне тут зальете, я, небось, за них в ответе”.

Мать давно забрала себе в голову, что судьба судила Бернарду быть пажом, если не при дворе курфюрста Саксонского, так уж при князе Мансфельдском или при герцоге Брауншвейг-Вольфенбуттельском, а значит, Фрицу предстояло в скором времени таскать братца от одного двора к другому в надежде где-нибудь поприличней его приткнуть.

Плоты лежали под мостом, почти вдаваясь в берег, рядом с легко покачивавшимися, связанными сосновыми бревнами, ждущими возобновления сплава. Сторож по очереди прилаживал ключи из связки к двери сарая.

— Вы не видали, тут мальчик не пробегал?

— Должен был прийти мальчишка, обед принесть, — сообщил сторож, — да не пришел, поганец. Сами видите, и никого на тропке.

Пустые барки в ожидании ремонта были пришвартованы у другого берега. Фриц кинулся по мосту. Он бежал, и развевался плащ, все видели, дивились. Слуг, что ли, у фрайхерра не нашлось, кого спослать? Барки опадали на швартовах, со скрипом, стуком. У причала Фриц спрыгнул вниз — было невысоко, с полсажени, не больше, — на ближ-

ний барк. Внизу метнулось что-то, животное как будто, побольше собаки.

— Бернард!

— Никогда я не вернусь! — крикнул Бернард.

Он побежал по палубе, потом испугался, как бы не свалиться на соседнюю, влез на планшир и повис, держась обеими руками, башмачками нашаривая опору. Фриц схватил его за обе цевки, и — в тот же миг барки вдруг сместились, как это бывает, непостижимо, всем строем сразу, сблизились, и Бернарда, все еще висевшего на руках, зажало между ними. Жалостный кашель, слезы, кровь из носу, все хлынуло, как воздух из лопнувшего шара.

— И как же мне теперь тебя вытаскивать? — кричал Фриц. — Негодный ты шалопай!

— Отпусти меня! Дай умереть! — пыхтел Бернард.

— Нам бы только пробраться вперед, а там я тебя вытащу.

Но самый инстинкт жизни, кажется, на миг оставил мальчика, и Фрицу пришлось все делать самому: тянуть, протаскивать братишку между двух бортов — тот только упирался. Будь дело на том берегу, глядишь, кто-то из прохожих и подсобил бы, но нет, вобразили бы чего доброго, подумал Фриц, что на глазах у них свершается убийство. Барки сделались поуже, под ними мерцала колышущаяся вода, и он подтянул ребенка, как мокрый куль. Лицо у того было не бледное — красное, багровое.

— А ну-ка, поднатужься, ты же не хочешь утонуть?

— Ну утону, и что? — взвизгнул Бернард. — Сам говорил, смерть — вещь пустяшная, лишь перемена состоянья, не более.

— Ах, чтоб тебя! Не твоего это ума дело! — Фриц крикнул ему в самое ухо.

— А Mütze[1] где?

Мальчик обожал свой красный колпачок, и вот он был потерян. Заодно Бернард потерял передний зуб, свои штанишки, и остался в длинных миткалевых кальсончиках, подпоясанных тесемкой. Фрица, как большинство спасателей, вдруг одолела злость на любимого, спасенного.

— Пиши пропало, Mütze теперь уж подплывает к Эльбе.

Но тотчас устыдясь своего гнева, он поднял мальчика и усадил к себе на плечи, чтобы нести домой. Вознесенный Бернард сразу несколько ободрился.

1. Шапка, колпак (*нем.*).

— А можно, я встречным помахаю?

Пришлось Фрицу пройти вдоль всего лодочного ряда до того места, где железные ступени встроены были по отвесу и где он мог подняться, не ссаживая братца.

Как же тяжел бывает мальчик, когда вконец распустится.

Возвращаться в таком виде на Клостергассе, конечно, нельзя было. Но Асмус с Сидонией уж сочинят какую-нибудь небылицу под предобеденную музыку. А в Вайсенфельсе есть не одно местечко, где можно обсушиться. Снова перейдя мост, он еще немного прошел вдоль Саале, потом два раза свернул влево, один раз вправо, — в книжной лавке у Северина уже зажегся свет.

Покупателей в лавке не было. Бледный Северин, в длинной рабочей робе, при свете снабженной отражателем свечи вчитывался в один из тех пожелтелых листов, какие милей душе книгопродавца любого чтения.

— О, Харденберг! Вот не ждал. Поставьте мальчика, прошу вас, на газетный лист. Вот тут как раз “Leipziger Zeitung”, вчерашний нумер.

Северин ничему не удивлялся.

— Мальчик провинился, — сказал Фриц, опуская на пол Бернарда. — Сбежал на барки. И когда он успел так вымокнуть, ума не приложу.

— Kinderleicht, kinderleicht[1], — сказал Северин добродушно, но добродушие его относилась только к Фрицу. Детей Северин не жаловал: все они губят своими каракулями книги. Он прошел в самую глубь лавки, открыл деревянный баул и вытащил оттуда большую вязаную шаль, из тех, какие крестьянки носят.

— Скинь рубашонку, я тебя закутаю, — сказал он. — Шаль эту твой брат может мне не возвращать. И зачем ты всем причинил столько хлопот? Хотел уплыть куда-то, отца с матерью покинуть?

— Нет, конечно, — Бернард отвечал надменно. — Барки все пришвартованы, на ремонте. Как им уплыть, на них и парусов-то нет. И я не хотел уплыть, я хотел утонуть.

— Вот не поверю, — отозвался Северин. — И лучше бы ты мне этого не говорил.

— Он любит воду, — вмешался Фриц, поневоле вступаясь за свое, родное.

— Оно и видно.

1. Здесь: дети, дети (*нем.*).

— Я сам люблю! — вскрикнул Фриц. — Вода — чудеснейшая из стихий, даже прикасаться к ней — отрада.

Северин, возможно, не находил отрады в том, что вода залила ему весь пол. Он был человек сорока пяти лет от роду, в глазах у Фрица "старый Северин", обладал немалым здравым смыслом и не смущался превратностию счастья. Прежде он был беден, не успешен, в поте лица, с утра до вечера, за ничтожное жалование трудился на хозяина лавки, потом, когда хозяин умер, женился на вдове и вошел во владенье имуществом. Весь Вайсенфельс знал это и одобрял. Именно такой здесь представлялась мудрость.

Поэзию, при всем при том, Северин высоко ценил — почти так же, как свои листы. Он предпочел бы видеть молодого своего приятеля Харденберга и впредь поэтом, не обремененным службой инспектора на соляных копях.

На всем пути домой Бернард оплакивал потерю Mütze. Из всего, чем он владел, только красный колпак этот и был свидетельством революционных его пристрастий[1].

— Не знаю, как ты раздобыл его, — увещевал его Фриц, — но, попадись он на глаза отцу, тот все равно велел бы слугам выбросить его на мусорную свалку. И пусть это будет тебе уроком, чтоб неповадно было трогать собственность гостей.

— В республике не будет собственности, — отвечал наш Бернард.

5. *История Фрайхерра Генриха фон Харденберга*

Фрайхерр фон Харденберг родился в 1738 году и с малолетства вступил во владение Обервидерштедтом, что на реке Виппер в княжестве Мансфельд, а также домом и угодьями в Шлёбене, что под Йеной. В Семилетнюю войну, верный своему суверену, в составе ганноверского легиона бился он на полях сражений. Но вот был заключен Парижский мир, фрайхерр вышел в отставку. Вскорости он женился, но в 1769 году оспа поразила все города вдоль Виппера, и молодая жена его оспой умерла. Фрайхерр тогда ходил за зараженными и умирающими, а тех, чьим семьям не по средствам было место на кладбище, погребал прямо в Обервидерштедте, который был некогда монастырем и потому стоял на освящен-

1. Красный колпак был головным убором санкюлотов во время Великой французской революции.

ной земле. Он пережил глубокое религиозное обращение, он, но не я! – возмущался Эразм, едва подрос настолько, что задался вопросом, что это за зеленые холмики подступили к самому дому. “Но не я! Об этом он подумал?”

Над каждой могилой было скромное надгробье и на нем высечены слова: “Он/она, родился/родилась тогда-то – воротился, или воротилась, домой тогда-то”. Излюбленная эпитафия моравских братьев. Фрайхерр отныне исповедовал веру моравских братьев, а для тех всякая душа по смерти пробуждена, обращена. Душа человека сразу обращается, едва почует опасность, поймет, какова эта опасность, и услышит собственный свой крик: “Он Бог мой!”.

После смерти жены прошел год с небольшим, и фрайхерр женился снова, на юной родственнице, на Бернардине фон Бёльциг.

– Бернардина – какое глупое имя! Неужто другого у тебя нет?

Другое имя было: Августа.

– Ладно, впредь буду звать тебя Августой.

В минуты нежности она бывала – Густель. Августа, как ни робка, оказалась плодовитой. Через двенадцать месяцев на свет явилась первая дочь, Шарлотта, еще год спустя Фриц.

– Как придет время заняться их образованием, – решил фрайхерр, – пошлю обоих к братьям, в Нойдитендорф.

Нойдитендорф, что между Эрфуртом и Готой, был как бы выселки Гернгута. Гернгут же был то место, где моравским братьям, пятьдесят лет тому бежавшим от гонений, дозволили осесть с миром. По учению моравских братьев, дитя, родившись в упорядоченный мир, должно стать его достойным. Подобной цели служит просвещенье, оно готовит дитя для Царствия Божия.

Нойдитендорф был место тихое, как и сам Гернгут. Никак не колокол – гобои и кларнеты созывали учеников на классы. Послушание царило здесь ненарушимое, ибо кроткие наследуют землю. Ходить полагалось по трое, дабы третий мог доносить Предигеру, какой предмет избрали для беседы остальные двое. С другой стороны, учитель не вправе был наказывать ученика, покуда гнев в нем не остыл, ибо несправедливость наказания вовеки не простится.

Дети мели полы, ходили за скотиной, косили луга и метали стога, драться им строго воспрещалось, ни даже меряться силой в играх. Тридцать часов в неделю отводились на обучение наукам и наставление в вере. Всем предписывалось быть в постели на закате и хранить молчанье до пяти утра, когда они вставали. По завершении любого общинного труда – по-

белки курятников, к примеру, — выносились длинные столы для "трапезы любви", и все садились рядом, распевали гимны, и каждый оделялся рюмочкой домашней наливки, даже самые маленькие дети. Полный кошт обходился в восемь талеров за девочку и в десять талеров за мальчика (эти едят побольше, да им еще латынь подавай, и древнееврейскую грамматику).

Шарлотта фон Харденберг, старшая, вся в мать, показала отличные успехи в классах для девиц. Рано выйдя замуж, она отбыла на житье в Лаузитц. Фриц уродился сонным, как будто туповатым. В девятилетнем возрасте он перенес тяжелую болезнь, исцелясь, вдруг сразу поумнел, и в тот же год был отправлен в Нойдитендорф.

— Но в чем он оплошал? — допытывался фрайхерр всего несколько месяцев спустя, когда Предигер, от лица старейшин, просил его забрать сына из заведенья. Он, Предигер, вовсе не желал бы осуждать бесповоротно какое бы то ни было дитя, но принужден был объявить фрайхерру, что Фриц вечно задает вопросы, но ответов не желает слушать.

— Раскроем, например, — сказал Предигер, — детский катехизис. Вот тут, то место, где наставник спрашивает: — Кто ты?

Ответ. — Я есмь человек.
Вопрос. — Чувствуешь ли ты, когда я к тебе прикасаюсь?
О. — Я это чувствую вполне.
В. — И что это такое, не есть ли это плоть?
О. — Да, это есть плоть.
В. — Вся вместе плоть твоя называется телом. Как называется вся твоя плоть?
О. — Телом.
В. — Каким образом нам дано понять, что некто умер?
О. — Некто не может говорить, больше не может двигаться.
В. — Знаешь ли ты отчего это так происходит?
О. — Я не знаю, отчего это так происходит.

— И на этакие вопросы он не умел ответить? — вскричал фрайхерр.

— Возможно, что он и умел, но те ответы, какие он давал, были неверны. Девять лет, молоко на губах не обсохло, а утверждает, будто бы тело не есть плоть, но из того же самого состава сотворено, что и душа.

— Положим, это только один пример.

— Я мог бы привесть множество других.

— Он еще не выучился...

— Он весь в мечтаньях, в них он губит свою будущность. Достойным членом Нойдитендорфа он никогда не станет.

Фрайхерр спросил, неужто ни признака духовной добродетели не заметно в его сыне. Предигер от ответа уклонился.

Мать, бедняжка Августа, которой здоровье вскоре пошатнулось (правда, одиннадцать детей своих она пережила всех, кроме одного) и которая, казалось, вечно только и искала, перед кем бы повиниться, молила, чтобы ей самой позволили заняться обученьем Фрица. Но чему она бы его выучила? Разве на клавесине бренчать. Из Лейпцига был выписан учитель.

6. *Дядюшка* Вильгельм

Покуда жили в Обервидерштедте, Харденберги не звали к себе соседей и приглашений их не принимали: бежали людскости, суеты. Вдобавок и средства не позволяли. Семилетняя война дорого обошлась казне, — Фридриху Второму пришлось объявить лотерею, чтобы покрыть протори, — а койкого из верных ему помещиков и вовсе разорила. В 1780 году четыре имения, что поменьше, Харденбергам пришлось продать, а еще в одном, Мёкритце, распродали на аукционе все нажитое. Осталось запустение — ни фаянса, ни живописи, ни штор, ни скотины. Далеко, до низкого горизонта темнели непаханые поля. В самом Обервидерштедте узкие стрельчатые окна глядели на пустые голубятни, рядами, рядами, да Gutshoff[1], чересчур просторный, чтобы его заполнить хотя бы вполовину, торчал на месте прежней монастырской часовни. Барский дом вид имел плачевный: облезлый, с отставшей черепицей, в разводах от воды, годами точившейся сквозь расшатанные желоба. Пастбище над чумными могилами иссохло. Поля истощились. Скот стоял по канавам, где сыро, выискивая бедную траву.

Поменьше и куда приютней был Шлёбен-подле-Йены, куда семейство порою наезжало. В Шлёбене был мельничный ручей, замшелые дубы, и “сердце — робко прикидывала Августа, — глядишь, и нашло бы покой”. Но Шлёбен так же запустел, как и все прочие именья. Покоя в том немного, отвечал ей фрайхерр, когда тебе отказывают в продлении кредита.

Как человеку благородного сословия, мало какая денежная карьера могла открыться фрайхерру, зато своему-то

1. Здесь: господский амбар (*нем.*).

Принцу он вправе был служить. В 1784 году (едва умер прежний управляющий) его назначили управляющим соляных копей курфюрста Саксонского, что в Дюренберге, Кёзене и Артерне, с жалованьем в 650 талеров, отказав ему в придачу кой-какие лесные откупа. Главные конторы соляных копей располагались в Вайсенфельсе, и фрайхерр купил там дом на Клостергассе. На Шлёбен здесь было непохоже, но Августа, покидая стылый неуют Обервидерштедта, лила радостные слезы, молясь, чтобы ей этого не зачли в неблагодарность. В Вайсенфельсе было две тысячи жителей — две тысячи живых душ, кирпичные заводы, острог, богадельня, бывший дворец, свиной рынок, и суда ходили по реке, и в искристый, зеркальный плес гляделись большие облака, и были мост, лечебница, базар по четвергам, и стлища, и много-много лавок, чуть не тридцать. Карманных денег у Августы не водилось, в лавки никогда она не хаживала, даже редко выходила из дому, иначе как по воскресеньям, но, как в неверный зимний час вдруг проглянет солнце, проклюнулась в душе у нее радость от сознанья, что столько всякой всячины и столько всякого народу оказалось рядом, под рукой.

Здесь, в Вайсенфельсе, родился Бернард, суровым февралем 1788 года. Фриц, тогда почти семнадцатилетний, был тогда не дома в Вайсенфельсе, а у дядюшки Вильгельма в Люклуме, что в Брауншвейг-Вольфенбюттельском герцогстве. Мальчик далеко ушел от своего домашнего учителя, тому приходилось ночами корпеть над физиологией и математикой, чтобы его догнать. “Что, в конце концов, ничуть не странно, — писал дядюшка, — учителя все людишки ничтожного разбора, а все это гернгуттерство — ничто, как пустое распеванье гимнов, и труды хозяйственные, отнюдь фон Харденберга недостойные. Отправь ты лучше Фрица, хотя на время, пожить у меня в доме. Ему пятнадцать, не то шестнадцать, упомнишь разве, пора бы уж различать вина, чему не научишься в Вайсенфельсе, где виноград годится разве на коньяк да уксус, а также понимать, о чем толкуют взрослые мужчины, когда они из порядочного общества”. Фрайхерра, как всегда, привели в ярость замечания брата, а всего более — их тон. Вильгельм десятью годами прежде него явился в этот мир для того только, кажется, чтобы его бесить. Лицо больших достоинств — в собственных своих глазах, добавлял фрайхерр, председательствующий Саксонской ложи (Люклумской ветви) Немецкого ордена, он к месту и не к месту щеголял масонским крестом на шее, и этот крест был еще тесьмой и плисом вышит на его камзоле. Харденбергским детям

он был известен как Большой Крест или Его Сиятельство. Так никогда и не женившись, он благосклонно привечал не только свою же братию помещиков, но музыкантов, политиков, философов — всех, кому положено сидеть у великого человека вкруг стола, высказывать свои сужденья и соглашаться с его собственными.

Прогостив несколько месяцев у дяюшки, Фриц воротился в Вайсенфельс, привезя от него письмо.

Люклум, октябрь года 1787

Радуюсь, что Фриц оправился и воротился на прямую стезю, с какой впредь я уж не стану и пытаться его совлечь. Мое же поприще пролегло слишком высоко над его юной головой. Он только совсем избаловался, видя слишком много новых, чужих людей, чего не мог я избежать, и много наслушавшись за моим столом такого, что вовсе для него не полезно и чего знать ему не след.

Фрайхерр ответил брату, благодаря за гостеприимство и сожалея, что более ничем не может его отблагодарить. Белый жилет, бриджи и камзол тонкого сукна, построенный для Фрица дядюшкиным портным, — оттого, конечно, что привезенное из дому платье для столовой Его Сиятельства оказалось недостаточно изящно, — теперь пришлось отослать моравским братьям в пользу бедных. Да и куда такое наденешь в Вайсенфельсе — здесь жизнь простая.

— Прекраснейший из Фрицев! Вот счастие тебе выпало, — решил четырнадцатилетний Эразм.

— Не знаю, — ответил Фриц. — У счастия есть свои законы, если умеешь их распознать, но тогда — какое ж это счастие.

— Да, но что ни вечер сидеть за ужином в кругу важных персон, которые тем развлекаются, что подливают и подливают тебе в бокал тонкого вина, ну, я не знаю... А какие у них там предметы разговоров?

— Натурфилософия, гальванизм, животный магнетизм, вольные каменщики... — ответил Фриц.

— Не верится. Вино для того и пьешь, чтобы забыть такие вещи. Ну а ночью, когда хорошенькие женщины, на цыпочках, скрипя ступенями, пробираются к комнате молодого дурачка, стучатся в дверь. ПОБЕДА!

— Там женщин не было. Возможно, дядюшка их не приглашал.

— Не было женщин! — Эразм изумился. — Но тогда — как же стирка?

7. *Фрайхерр и Французская революция*

Случались ли в Вайсенфельсе дни черней, чем тот, когда получено было письмо от Большого Креста или когда матушкин старший брат, капитан Август фон Бёльциг вдруг объявился в доме? Фон Бёльциг сражался в одном полку с фрайхерром в Семилетнюю войну, но вынес из нее совсем иные заключенья. Король Пруссии, пред которым преклоняется он без меры, признал полную свободу вероисповеданья, бойцы же прусские выказывали редкое бесстрашие и стойкость духа. Не до́лжно ли отсюда заключить...

— Вижу я, куда ты клонишь, — сказал фрайхерр, покуда еще владея голосом.

— То есть ты согласен с моим сужденьем, — ободрился фон Бёльциг. — Ты согласен, что решительно нет никакой связи, явной, во всяком случае, между вероисповеданием человека и его достойным поведением?

— Я с тем согласен, что ты, Август фон Бёльциг — большой дурак.

Фрайфрау чувствовала, что попалась, угодила, как зернышко между двух жерновов. Ночной страх ее терзал (она маялась бессоницей): а ну как братец и дядюшка Вильгельм, разом, без уведомленья, в дом нагрянут. И что тогда ей делать, что говорить, чтоб поприличней одного из них спровадить? Дом просторный, кто спорит, но с гостями и всегда морока. Трезвонит колокольчик, слуги топают в прихожей, все на тебя наваливается вдруг, и помолиться не дадут о наставленье свыше.

В 1790 году Фрица приняли в Йенский университет, и тут же силы истории самой будто ополчились на бедную Августу. Спасибо, хоть не ее ума было это дело: не больше и не меньше задевало, чем прохудившаяся простыня или безбожность братца. Как ветер — сырой, речной, холодный — приводит к ломоте в костях, так и эти сумасбродства французские были, в ее понятии, не более, как козни, затеянные, чтобы бесить супруга.

Завтраки́ в Вайсенфельсе были в скромном стиле. На печи в столовой к шести утра выстраивались в ряд глиняные кофейники, кофий же, в целях экономии, частью состоял из жженой тертой моркови. На стол ставились большие глиняные чашки, блюдца и подавались горы булочек. В ночных сорочках, сонные, сходились, как сомнамбулы, парами и по одиночке, сами себе из больших кофейников наливали кофий. Часть выпивали, часть сосали с блюдец, обмакивая в них кусочки, отщипываемые от белых булочек. Покончив с

этим, каждый опрокидывал чашку вверх дном на блюдце и объявлял:

– Satt![1]

Мальчики стали уже большие, Августа не любила, чтоб они толклись в столовой.

– О чем вы тут беседуете, молодые люди? – Эразм и Карл стояли у самой печки, грелись. – Сами знаете, отец не любит...

– Ему бы жирондисты очень по душе пришлись, – перебил Карл.

– Но Карл, у этих людей в голове, кажется, всё новые идеи. Новых идей отец не любит.

В январе 1793 года Фриц вдруг заявился из Йены посреди завтрака, в синем, с огромными медными пуговицами, латанном по лопаткам суконном сюртуке и в круглой шляпе.

– Сейчас переоденусь и с вами сяду.

– Привез газету? – спросил Эразм.

Фриц посмотрел на мать и смешался.

– Думается, да.

Фрайхерр в то утро, как на грех, тоже сидел за завтраком, на своем месте во главе стола. Он буркнул:

– Мог бы и знать, кажется, привез ты газету или нет.

Фриц подал ему во много раз сложенный нумер "Ienaer Allgemeine Zeitung"[2]. Бумага холодила пальцы – с дороги по морозцу в наружном кармане у Фрица от самой Йены.

Фрайхерр ее расправил, разгладил, вытащил очки и на глазах притихшего семейства склонил вниманье к тесной печати первой полосы. Сперва сказал только:

– Не пойму, что читаю.

– Конвент вынес обвинительный приговор королю, – отважился Фриц.

– Как же, слова-то я разобрал, но смысла их никак не постигаю. Они что же это? Гражданский иск вчинили против законного короля Франции?

– Да, его обвиняют в измене.

– Совсем ума решились.

С минуту фрайхерр сидел в торжественном молчании посреди кофейных чашек. Потом сказал:

– Я более не прикоснусь к газете, покуда народ французский не очнется от безумия.

И – вышел вон из столовой.

1. Сыт (*нем.*).
2. "Йенской общей газеты" (*нем.*).

— Satt! Satt! Satt! — крикнул Эразм, барабаня по блюдцу чашкой. — Революция есть событие чрезвычайное, истолкованию не подлежит, и верно одно: республика есть путь вперед для всего человечества.

— Мир можно обновить, — сказал Фриц, — или скорей вернуть в то состояние, в каком он прежде был, ведь золотой век, конечно, существовал когда-то.

— А Бернард-то тут как тут, под столом сидит! — крикнула фрайфрау, ударяясь в слезы. — Он каждое словечко слышит, а что услышит, всё до единого словечка станет повторять.

— И слушать нечего, я и так все знаю, — объявил наш Бернард, высвобождаясь из-под жестких складок скатерти. — Ему отрубят голову, как пить дать.

— Он сам не знает, что он говорит! Король — отец, народ его семья!

— Вот золотой век вернется, и отцов никаких не будет, — объявил наш Бернард.

— Что он такое говорит! — взывала бедная Августа.

В одном она однако не ошиблась: Французская революция и впрямь ей подбавила хлопот. Супруг не то чтоб наотрез запретил газеты в доме, а стало быть, можно было это так истолковать: “Он не желает их видеть на столе в столовой, ни в кабинете у себя”. И, значит, следовало изобресть для него какой-то новый способ удовлетворять свою эту неуемную любознательность на предмет французских безобразий, которые — сказать по правде — ее-то ничуть не занимали. Оно конечно, в соляных конторах, в клубе — Литературом и Научном Атенее Вайсенфельса — он и услышит разговоры на злобу дня, но чутьем долгой привычки, куда более надежным, чем на любовь, она понимала: что ни случись, он не поверит, не обоймет умом, покуда не увидит подтвержденья на сером листе газеты.

— Знаешь, мой друг, в другой раз, как будешь слугам отдавать сюртук свой чистить, пусть уголок газеты у тебя выглядывает из кармана, самый уголок.

— Матушка, после стольких лет вы не знаете отца. Он сказал, что не станет читать газеты, и он не станет.

— Но, Фриц, откуда же он знания-то будет черпать? Братья, небось, ему ничего не скажут, они с ним не толкуют о мирском.

— Weiss Gott![1] — сказал на это Фриц. — Или, разве, осмос.

1. Бог знает! (*нем.*)

8. В *Йене*

Старшему сыну, считал фрайхерр, положено обучаться так, как в Германии привычно, — почаще менять университеты: год в Йене, год в Лейпциге, тут и Эразм подрастет, туда же подоспеет, затем год в Виттенберге, для изучения права, чтоб, при случае, отстоять в суде собственность семейства, какая уцелеет. Затем следует ознакомиться с началами богословия и с конституцией курфюрста Саксонского. И вместо всех этих привад, Фриц вдруг зачислился на курс истории и философии.

А потому первым же своим йенским утром он слушал лекцию Иоганна Готтлиба Фихте. Говорилось о кантовой философии, которую, слава Богу, ему, Фихте, удалось подправить, и весьма. Кант верит во внешний мир. Пусть внешний мир известен нам только чрез чувства наши и собственный наш опыт — он все же существует. А это, говорил Фихте, есть не что иное, как слабость старика. Мы все вольны вообразить какой угодно мир, и поскольку все мы воображаем мир поразному, то и никакого нет резона верить в незыблемую существенность вещей.

Под взглядом этих глаз, похожих на ягоды крыжовника, студенты, даже отпетые, известные по всей Германии буяны, присмирели, как нашкодившие школяры.

— Господа! Уйдите в себя! Углубитесь в собственный разум!

Наглые и пьяные в свободные свои часы, теперь они послушно ждали. Каждый отстегивал чернильницу, с исподу пришпиленную к отвороту сюртучка. Одни вытянулись, как проглотив аршин, кое-кто сгорбился, прикрыв глаза. Кое-кто дрожал от нетерпения.

— Господа, представьте себе стену. — Все сосредоточились. — Представили себе стену? — Все напряглись. — А теперь, господа, представьте себе то, что представляет себе сама стена.

Фихте был сын ткача, по убежденьям якобинец. Голос его парил над залой без усилья.

— Господин на четвертом месте слева в последнем ряду, чем-то как будто недовольный...

Несчастный вскочил с места.

— Герр профессор, это оттого, что стулья в лекционных залах Йены созданы для коротконожек.

— Мое назначение на профессорскую должность утверждено будет не ранее, как в мае. Вы вправе мне задать один вопрос.

— Но почему же?..

— Спрашивайте!

— Но почему же мы воображаем стену такой, какой мы ее видим, а не иной какой-нибудь?

Фихте отвечал:

— Мы создаем мир не по прихоти воображенья, но по веленью долга. Мир нам потребен такой, чтоб содержал для нас как можно более возможностей исполнить наше назначенье. Что и оправдывает философию, немецкую философию и подавно.

В глухую ветреную ночь, при свете фонарей йенские студенты сошлись "пофихтизирен", порассуждать о Фихте и его системе. Так увлеклись, что и себя не помнили. За полночь, уж в два часа, Фриц вдруг оказался один посреди Нижнего рынка — все другие, рассыпавшись на группы, брели, пошатываясь, прочь, без него, — и громко кричал звездам:

— Я нашел изъян в системе Фихте. В ней нет места для любви.

— Ты перед его домом стоишь, — сказал мимохожий студент и уселся на брусчатку. — Его дом — нумер двенадцатый А. Двенадцатый А — тот самый дом, где живет профессор Фихте.

— Он до самого до мая еще не профессор, — отозвался Фриц. — И до тех пор мы вправе петь ему серенады. Вправе петь под его окном: "Мы знаем, в чем ошибся Фихте... В системе у него, в системе у него, в системе у него нет места для любви".

Съемное жилье было в Йене на любой карман. Что же до пропитания, беднейших студентов зачисляли на казенный кошт. Выбиралась одна какая-то обжорка, и впредь могли они столоваться только там, и то не вволю; и самое зрелище пугало: хозяин стоял над душою, торопил, чтоб поскорей освободили место, и несчастный, давясь последним дозволенным куском, плевался, что твой черт в аду. Однако даже самый жалкий из этих бедолаг непременно принадлежал к Landsmanschaft[1], к братству своей округи, пусть это было мелкое местечко, где одни картофельные поля вокруг, и больше ничего. По вечерам друзья шатались от кабака к прокуренному кабаку, выискивали еще друзей, их призывали под знамена Landsmanschaft, чтоб вместе отмстить обиду, обсудить хитроумный пункт натурфилософии или надраться, а если кто уже надрался, надраться еще пуще.

1. Землячество (*нем.*).

Фриц мог бы жить и в Шлёбене, но Шлёбен от Йены в двух часах пути. Сперва он поселился — благо, пустила даром — у тетушки Иоганны Елизаветы. Елизавета сетовала, что редко его видит.

— А я мечтала, что с поэтом буду часы-то провождать. Сама в молодые года стихи сочиняла.

Но Фрицу в ту, самую первую, зиму слишком долгие часы пришлось провождать со своим учителем истории, прославленным профессором Шиллером.

— Он болен, милая тетушка, болен грудью и очень слаб, все ученики в очередь за ним ходят.

— Племянничек, ты и понятия не имеешь, каково это за больными-то ходить.

— Он великий человек.

— За этими, небось, еще трудней ходить.

Профессор медицины, главный университетский лекарь, хофрат[1] Иоганн Штарк призван был к одру больного. Как и большинство коллег, он придерживался системы доктора Брауна[2]. Доктор Браун, из Эдинбурга, многих пациентов излечил, отказавшись открывать им кровь и прописав движение, занятия любовью в свою меру и вольный воздух. Он, правда, полагал, что быть живым — состояние не вполне естественное, и, дабы упредить немедленную его погибель, организм следует поддерживать, попеременно то взбадривая алкоголем, то глуша опием. Шиллер, и сам веря в брауни́зм, ни того ни другого, однако, принимать не стал, не покидал постели и, обложенный подушками, просил студентов, его проведывавших, обзаведясь бумагой и чернилами, писать под его диктовку: “С какою целью человек изучает всемирную историю?”.

Вот тогда-то, когда выносил горшки из комнаты больного, и позже, когда следил за тем, как профессор, наконец, спускает отощалые ноги на пол, Фриц и был описан в письме критика Фридриха Шлегеля. Шлегель писал старшему и куда более успешному брату своему, Августу Вильгельму, профессору литературы и эстетики. Он, торжествуя, спешил попотчевать брата диковинкой, до которой у того пока руки не дошли.

“Судьба меня свела с одним молодым человеком, из которого может получиться многое, и тотчас же он со мною изъ-

1. Придворный лекарь (*нем.*).
2. Джон Браун (1735–1788) — шотландский врач, прозван Парацельсом XVIII в.

яснился, пламенно — так пламенно, что не могу тебе и передать. Он худ и строен, речь его в увлечении прекрасна. Говорит он втрое больше и втрое же быстрей, чем все мы прочие. В самый первый вечер он меня уверил, что золотой век воротится и что в мире решительно нет зла. Не знаю, все ли придерживается он прежнего сужденья. Его фамилия фон Харденберг".

9. *Случай из студенческой жизни*

— Этого я не забуду, — говорил Фриц, вспоминая то раннее майское утро под конец первого своего года в Йене. Тетушка Иоганна умерла воспаленьем легких, злой весенний ветер ее унес, пощадив однако профессора Шиллера, и Фриц теперь жил на Шустер гассе (нумер четвертый, второй этаж), деля съемную квартиру с дальним родственником, но куда он подевался, этот родственник, когда Фрица разбудили, выволочив голышом из постели?

— Он вместе со всеми в студенческой тюрьме, — отвечал пришедший — не друг, кажется, не знакомый даже. — Вы все шли вчера вечером...

— Прекрасно, но в таком случае, отчего же я не с ними вместе, в "Черной дыре"?

— Дорогу лучше помнили, вот вас и не зацапали. Но теперь вам следует идти со мною, вы нужны.

Фриц широко открыл глаза.

— Вы Дитхельм. Студент-медик.

— Нет, моя фамилия Дитмалер. Вставайте, надевайте сорочку, куртку.

— Я вас видел на лекциях у профессора Фихте, — вспомнил Фриц, хватаясь за кувшин с водой. — Вы еще песнь сочинили: начинается "В краю далеком дева..."

— Я люблю музыку. Поторопитесь, дело не терпит отлагательства.

Йена залегла в голой лощине, откуда не выбраться иначе, как упорно взбираясь в гору. Было всего четыре часа, но, шагая к Galgenberg[1], они чуяли, как весь душный городишко уже дымится на ранней утренней жаре. Еще не рассвело, но небо уже утончалось и поднималось в безоблачную бледность утра. Фриц понемногу вспоминал. Вчера случилась ссора, что ли, не то жаркий спор — из-за чего? — все улетучилось.

1. Виселичная гора (*нем.*).

Но если затеялась дуэль, сама грозящая тюрьмою, то нужен доктор, а раз почтенного доктора на такое не залучишь, значит, студент-медик.

– Я секундант? – догадался Фриц.

– Да.

Секундант в йенской дуэли призван был решать неразрешимую задачку. Студенческий кинжал, der Schläger, был с треугольным, но скругленным острием, и рана защитывалась только треугольная, глубокая, и не иначе.

– Кто кого вызвал? – спросил Фриц.

– Иосиф Бек. Прислал письмо: у него картель, с кем, из-за чего – ни слова. Только место, время.

– Но я его не знаю.

– У вас комнаты были рядом.

– Я рад, что у него такой верный друг.

Они поднялись над туманом, вокруг просыхала уже роса, прошли калиткой в поле, с которого сейчас сбирали молодую репу. Двое студентов, мотая подолами рубах, наскакивали друг на друга – яростно и неумело, на буро-желтой, отверделой, перепаханной земле.

– Они начали без нас, – крикнул Дитмалер. – Бежим!

Кинулись через поле, но тут один дуэлист вдруг побежал через калитку, прочь, в другую сторону. Противник постоял немного, выронил свой Schläger и рухнул – правая рука – вся в крови, и хорошо бы не отсечена.

– Нет, два пальца только, – Дитмалер бросился на землю, на сорняки и грубую траву. Он подобрал эти пальцы, красные, мокрые, как ободранные, от одного пальца – один сустав, другой – с золотым перстнем.

– В рот суньте, – сказал он Фрицу. – Если в них сохранить тепло, я, может быть, как вернемся, сумею их пришить.

Такое не забудешь – держать во рту полтора пальца и этот перстень, тяжелый, гладкий на язык.

– Вся Природа едина, – уговаривал себя Фриц.

И вместе с тем (не дожидаясь указаний Дитмалера, у самого хватило здравого смысла) он покрепче сжал бормочущего, плачущего Иосифа Бека за правое предплечье, чтоб не взбухали вены. А небо вдруг, все разом, сплошь, налилось сиянием с одного зубчатого края горизонта до другого, и высоко взметнулись жаворонки. На соседний луг прокрадывались зайцы, подкормиться.

– Поскольку большой палец сохранен, рука еще сослужит службу, – рассуждал Дитмалер. Фриц давился собственной слюной, смешанной с землей и кровью, и думал: “Для медика все это занимательно. Но мне, философу, от этого не легче”.

В Йену воротились на тележке дровосека, по счастью спускавшейся по изволоку. Даже дровосека (а дровосеки обыкновенно ни на что, прямо до них не касающееся, не обращают внимания) пробрали крики и стоны бедняги Бека. "Господин никак певец?"

— Езжай прямиком к анатомическому театру, — велел Дитмалер. — Ежели там открыто, я раздобудусь кишками и иглой.

Стояла ранняя рань, не купить ни опийной настойки, ни шнапса, хотя Дитмалеру, тоже приверженцу ученья доктора Брауна, и не терпелось влить того и другого побольше пациенту в глотку.

10. *Денежный вопрос*

В 1791 год, к началу осеннего триместра открылась новая глава в образовании Фрица — Лейпциг. Ему исполнилось девятнадцать лет, Лейпциг, насчитывавший пятьдесят тысяч жителей, был самый большой город из тех, в каких приходилось ему жить. И оказалось вдруг, что посылаемых средств решительно ему не хватает.

— Придется переговорить с отцом, — сказал он Эразму.

— Он будет недоволен.

— А кто будет доволен, когда у него денег просят?

— Но куда ты подевал их, Фриц?

— Потратил то, что было, на насущные нужды. Есть душа, есть тело. У старика у самого, небось, когда был помоложе, были такие нужды.

— Ну, разве что до того, как с ним случилось пробужденье, — сказал Эразм мрачно. — Теперь от него сочувствия не жди. Не пойму, как ты в свои девятнадцать лет еще не понял.

В следующий свой приезд в Вайсенфельс, Фриц решился:

— Батюшка, я молод, и, со всем моим уваженьем говоря, я не могу жить, как старик. В Лейпциге мне приходится терпеть лишенья, за все время там я заказал одну-единственную пару башмаков, я отрастил длинные волосы, чтобы не разоряться на цирюльника. По вечерам ем хлеб один...

— И что ж такое хочешь ты этим сказать — не можешь жить, как старик? — перебил фрайхерр.

Фриц решил подступиться поосторожней.

— Батюшка, в Лейпциге все студенты в долгу как в шелку. Я не могу обойтись тем, что вы мне посылаете. Нас остается еще шесть ртов в доме, знаю, но есть же еще именье в Обервидерштадте, да и в Шлёбене.

— По-твоему, я про них забыл? — фрайхерр усмехнулся.

И сверху вниз провел ладонью по лицу.

— Отправляйся в Обервидерштедт, там повидаешь Штайнбрехера. Я тебе дам к нему письмо.

Штайнбрехер был управляющий фрайхерра.

— Он не в Шлёбене разве?

— Он ведает доходами и с того, и с другого поместья. Этот месяц он в Обервидерштедте.

В четыре часа утра Фриц занял место в дилижансе, который отходил в Вайсенфельсе от "Оленя" и через Галле полз в Айслебен. Во всей Европе не было медленней немецких дилижансов: кладь загружалась на некое скрипучее продленье пола над задней осью, и приходилось все снимать и загружать всякий раз, как выходил или входил ездок. Пока кондуктор управлял этой работой, возчик задавал себе и лошадям корму — черствого черного хлеба.

В Айслебене, возле "Черного малого", сидя на скамье, ждал его посланный из Обервидерштедта.

— Grüss dich[1], Иосиф, — через семь лет Фриц не забыл его. — Зайдем-ка в лавочку, опрокинем по стаканчику шнапса. — В Саксонии торговать спиртным на постоялых дворах запрещалось.

— Не хотел бы я видеть сына вашего отца за подобным развлечением, — отвечал Иосиф.

— Но, Иосиф, я тебя хотел развлечь. — Затея, очевидно, провалилась. Взяв на постоялом дворе лошадей, в глухом молчанье добрались они до Обервидерштедта.

Управляющий их ждал, хотя совсем уже стемнело. Фриц предъявил отцовское письмо и ждал, когда его изучат — дважды. Наконец он прервал неловкое молчанье:

— Господин управляющий, мой отец, кажется, вам поручает выделить мне немного денег.

Штайнбрехер снял очки.

— Но денег нет, молодой фрайхерр.

— И он погнал меня в такую даль, чтобы я это услышал.

— Полагаю, он хотел, чтобы вам это запомнилось.

11. Н*есогласие*

Тридцать миль, обратную дорогу в Вайсенфельс, Фрицу пришлось одолевать пешком. Когда он добрался до Клостергас-

1. Здравствуй (*нем.*).

се, отец вернулся из управления соляными копями, но он был не один.

— Его высокоблагородие дядюшка Вильгельм пожаловал, — сообщила Сидония. — Большой Крест собственной персоной. Твои дела решают. Как со Штайнбрехером поладили? А я вот, знаешь, думаю: был бы кое-кто не старей других, а молодые не беднее стариков...

— Но, Сидония, мы куда бедней, чем даже сами могли себе представить, я в этом убедился.

— Ты же не спрашиваешь, в чем убедилась я, — ответила Сидония. — Я здесь живу, у меня больше возможностей для наблюдений, чем у тебя.

— От нас зависит, и от меня больше всех... — начал было Фриц, но тут явился Бернард и перебил:

— Главный страдалец — я. Как Большой Крест заявится, матушка все меня ему на глаза сует, думает, я его любимчик. А он детей не терпит, меня в особенности.

— Ему вино подавай получше, общество побольше, чем обыкновенно у нас бывает, — вздохнула Сидония. — Сам объявил, знаешь, когда в последний раз почтил нас своим визитом.

— Последний раз велели мне стихи читать, — Бернард гнул свое, — а дядюшка как зарычит: "На кой черт учить ребенка всякой дряни!".

— Матушки нет в гостиной, — сказала Сидония. — И что я ей теперь скажу?

— А ничего, — ответил Карл, привольно раскинувшийся на единственной софе. Карл теперь все мог себе позволить. Через неделю он отбывал на военные учения, кадетом курфюрста Саксонского карабинерского полка. И дядюшка Вильгельм совсем растаял, хоть прежде Карла не жаловал и в Люклум никогда не приглашал. Фриц, кажется, не слушал. Важная забота, какое-то тайное решение его томили. Сперва, когда он вошел, Сидония ничего не заметила, слишком ему обрадовалась, но теперь ошибиться уже нельзя было: он будто бы ввел с собой другого, стесняющегося чужака, и тот стоял и дожидался, когда его представят.

В приемной Большой Крест не стал садиться, но быстро-быстро заходил взад-вперед, всякий раз на повороте озаряя комнату своей эмблемой на синеве плаща. Фрайхерр, утомленный долгой болтовней в соляной конторе, сидел в просторных креслах и прикидывал, что если братец не стал разоблачаться, то скоро, есть надежда, уберется восвояси.

— Но где же супруга твоя, где Августа? — осведомился Вильгельм.

— Едва ли нынче вечером она к нам выйдет.

— Отчего же? Могла б меня и не бояться, чай не привидение.

— Ей нужен отдых — она слаба здоровьем.

— Ежели женщина работает, то никогда и не устанет.

— Ты никогда не был женат, Вильгельм. Но вот и Фридрих наконец. — Фриц, бледный, как полотно, вошел в гостиную и, небрежно кивнув отцу и дяде, громко начал.

— Мне нужно вам рассказать, как я решил распорядиться своею жизнью. На пути из Обервидерштедта меня осенило.

— Как же счастливо я здесь оказался, — вставил Большой Крест, — тогда именно, когда так нужен мой совет.

— Во время моих занятий в Йене, и теперь в Лейпциге, вы, дядюшка, недоумевали, зачем историю и философию предпочел я праву, а вы, батюшка, обиделись, когда я сказал, что даже и право предпочтительнее богословия. Но теперь я хочу, чтобы вы оба сложили с себя все заботы обо мне, отрясли, как прах от ног своих. Теперь я понял, что мой долг — быть солдатом. Все к тому ведет. Тогда я вам ничего не буду стоить. Я понял — меня нужно школить. У меня романтические наклонности. Казармы их легко излечат каждодневной неромантическою службой в отхожем месте, в горячечном бараке, смотрами и муштрой. Ну а потом, когда я буду в деле, мне нечего бояться, ведь жизнь, в конце концов, есть цель, не средство. Я предполагаю зачислиться в гвардии кирасиры курфюрста.

— Scheisskerl[1], заткни свою глотку! — взвыл Большой Крест.

— Так нельзя обращаться к моему сыну, вообще к сыну порядочного человека, — объявил фрайхерр. — Однако ж и он хорош, мелет невесть что, как идиот.

— Но Карл... — перебил было Фриц.

— ...дельный юноша, решивший начать самостоятельную жизнь, — рыкнул Большой Крест. — А ты! Кирасиры! Да я своими ушами слышал, как ты за собственным моим столом плел, а был ты тогда в тех же годах, как нынче Карл, что жизнь была бы лучше, будь она сном, и, глядишь, сном она и обернется. По тебе ли она, твоя простая служба? Да ты и раненого-то еще в глаза не видел!

Фриц вышел вон из гостиной.

— Что бы ты там ни говорил, ты чересчур увлекся, — сказала Сидония, проходя мимо с двумя слугами и неся кофий,

1. Говнюк (*нем.*).

хлеб и масло, от которых дядя издали с отвращением отмахивался.

— Наконец-то они спелись, — сказал Фриц. — Оба считают меня ничтожеством, а то и трусом.

Сидония нежно сжала ему локоть. Но через распахнутую дверь гостиной видно было, как отец и дядюшка, в ярости, наскакивают друг на друга.

— Ну и оставил бы мне все попечение о твоем сыне! Ведь ничего в этих материях не смыслишь.

— Ты забыл, что я семь лет прослужил в Ганноверском легионе! — кричал фрайхерр.

— И ни бельмеса не понял в военном деле.

Сидония с Карлом увели удрученного Фрица во двор, и дальше, в плодовый сад.

— Груш, слив у нас этот год будет пропасть, — говорила Сидония. — И откуда ты этих глупостей набрался? С чего ты вдруг решил, что из тебя выйдет солдат?

— И куда твой разум подевался? — подхватил Карл.

— Сам не знаю. Вот ты скажи мне, Карл, что человека делает солдатом?

— Ну, сам-то я захотел послужить моему принцу. И еще — из дому сбежать, — ответил Карл.

— Ты будешь без нас скучать, а Карл? — спросила Сидония.

— До того ль мне будет. А вам-то всем от меня только больше проку будет издали. И ты, Сидо, скоро замуж выйдешь, думать забудешь про своих братьев.

— Никогда! — крикнула Сидония.

12. Чувство бессмертия

Едва отделались от дядюшки с его походной свитой телохранителей и поваров, которые весь дом заполонили, к кухне не пробраться, фрайхерр фон Харденберг призвал к себе старшего сына и объявил ему, что после года в Лейпциге, а затем года в Виттенберге, где обучится он химии, геологии и праву, ему предстоит сделать первые шаги младшим служащим в Управлении соляных копей. Эразм будет отослан из Лейпцига в Губертусберг, и там поступит в училище, готовящее лесничих — прекрасная, здоровая жизнь на вольном воздухе, пусть сам он к ней и не выказывает ни малейшей склонности. Карл уже побывал в деле, в свои шестнадцать. В составе славного полка гнал французов от Майнца. Карл предполагал часто наведываться домой. Получить отпуск от армии ничуть не трудно. Офицеру в отпуске, покуда не отрапортует о возвра-

щении, жалованье не положено: заметный прибыток для полка.

Фриц потому садился в дилижанс, отмахивал большие расстояния пешим ходом, что редко когда приличный конь бывал у него в распоряжении. Если удавалось взять коня внаймы или заполучить у друга, он это отмечал в дневнике. Собственную свою лошадку, известную только как Гауль (Кляча), он помнил еще по Обервидерштедту, но мал был верхом скакать, пока не оказался в Вайсенфельсе. Каких же лет был Гауль? Со старостью приобретя не столько мудрость, сколько хитрость, он сумел прийти с хозяином к лукавому лошажью соглашенью касательно времени и пространства: когда можно сбавить шагу, когда совсем остановиться, когда благоволить продолжить путь. И Фрица уже не смущала ни собственная внешность, ни жалкий вид коня — лишь бы добраться в конце концов от одного пункта до другого.

С семнадцати лет вся жизнь Фрица была, в некотором роде, вечное движение, вернее, Гаулева ему неспешная замена, туда-сюда, но не на большие расстояния. Жизнь проходила в "золотой лощине" Священной Римской империи, оцепленной горами Гарца и непролазными лесами, пересеченной реками — Саале, Унструт, Эльстер, Гельме, Виппер, изгибаясь и крутясь с совсем, казалось бы, напрасной живописностью, бежали мимо карьеров, солеварен, верфей, прибрежных кабаков, где посетитель часами безмятежно ждет, когда для него наловят и зажарят рыбу. Мили и мили земли, безропотно отдающей свой картофель, репу, белокочанную капусту, какую приходится пилой пилить, холмились от селения к селению, и каждое пленяло и своей особостью, и отрадной схожестью с соседним. Селения эти тешат взгляд путника, издалека ловящий деревянный настил старой церкви и купол новой, потом бегущий в улицы, где в струнку выстроились дома, при каждом — свой свинарник, своя печь для выпечки хлебов, а порой даже и деревянная беседка, где хозяин, без мыслей в голове, попыхивая носогрейкой, наслаждается вечернею прохладой под резным девизом: "Там хорошо, где мы есть" и "В довольстве твое богатство". Иногда, не часто, и женщина находит время посидеть в беседке.

Когда после года занятий в Виттенберге Фриц держал путь к себе на юг, день выдался — один из тысячи, хрустальный день райской синевы. Только начали копать картофель — Фриц и сам бывало помогал его копать, с большой охотой, у братьев в Нойдитендорфе, в детстве.

Между Рипахом и Лютценом он остановился там, где речка пересекла дорогу, — чтобы дать Гаулю напиться, хотя

обыкновенно бедной твари приходилось терпеть до окончанья дня. Фриц расслабил поводья, и Гауль вздохнул так жадно, будто бы до той минуты не знал, что такое воздух. Фрицев саквояж, притороченный к седлу, вздымаясь, опадая, с барабанным боем колотился о широкие конские бока. Наконец, выпустив понемножку ветры, Гауль выискал местечко потеплей да погрязней, погрузил морду по самые ноздри и принялся пить с такой пугающею прытью, какой никогда еще на пути от Виттенберга не проявлял.

Фриц сидел обочь пустой дороги, на сырой, на саксонской земле, которую любил, не видя пред собою ничего, кроме картофельных обозов да ольховой просади, пометившей течение Эльстера. Итак, обучение почти завершено. Чему же он обучился? Философии Фихте, геологии, химии, комбинаторной математике, саксонскому коммерческому праву. В Йене едва ли не самый большой друг, физик Иоган Вильгельм Риттер[1], ему все уши прожжужал тем, что полнейшее, окончательное объясненье жизни есть гальванизм, что всякий обмен энергии между душой и телом сопровождается электрическим разрядом. Электричество порою видимо, как свет, однако свет не всякий виден, даже по большей части он не виден. “По одной только видимости ни о чем нельзя судить”. Риттер был гол как сокол. Он не учился в университете, он даже в школу не ходил. Стакан вина безмерно взбадривал Риттера. Осушив его, лежа в нищем своем жилище, он видел законы электричества, иероглифами облаков начертанные по всей Вселенной, над водами, где все еще носился Дух Святой.

— Мои учителя не согласны между собою, друзья мои не согласны с учителями, — думал Фриц, — но это поверхность одна, не более, они люди с умом и страстью, и лучше я им всем доверюсь.

Дети, выросшие в больших семействах, редко научаются вслух говорить сами с собою — этот навык в числе других нам дарит одиночество, — зато они ведут дневник. Фриц вытащил тетрадку из кармана. Навстречу побежали, крутясь, слова: “слабость”, “пороки”, “нужды”, “желанье славы”, “жажда погибели”, “подлый обывательский обычай”, “юность”, “отчаяние”.

И тогда он написал: “Но есть во мне, этого не могу я отрицать, неизъяснимое чувство бессмертия”.

1. Иоганн Вильгельм Риттер (1776–1810) — немецкий физик, химик, философ-романтик. Сделал ряд важных открытий в области электрохимии, открыл ультрафиолетовую (невидимую) часть электромагнитного излучения. Обыгрывая его фамилию (Риттер по-немецки — рыцарь), Новалис о нем писал: “Он рыцарь, мы все оруженосцы”.

13. *Семейство* Юстов

— Ты слышал от меня про крайзамтманна[1] Селестина Юста, — начал фрайхерр. Да, что-то такое Фриц, кажется, слышал. — Он, конечно, главный окружной судья, но к тому же, хоть из его должности это не вытекает непреложно, — и лицо ответственное за сбор налогов. Я все устроил, ты едешь к нему в Тенштедт, поучишься делами управлять, присмотришься к канцелярской обыденщине, в которой ровно ничего не смыслишь. — Фриц поинтересовался, понадобится ли ему снимать жилье. — Нет, у Юстов у самих поселишься. У крайзамтманна племянница, Каролина, девица весьма положительная, ведет хозяйство, да он в придачу и женился в свои сорок шесть на вдове Кристиана Нюренбергера, покойного профессора анатомии и ботаники в Виттенберге. Очень может быть, ты и встречал ее прошлый год.

Университетские городки, возможно, дело другое, но в Тенштедте, Грюнинге или Лангензальце ни одной женщине и в голову не придет молодиться, там даже и приемов таких не знают. Там покорно принимают то, что посылают годы.

Каролина Юст, глядясь в зеркало, видела лицо двадцатисемилетней женщины, покрытое ровной нежной бледностью, с очень черными бровями. Вот уж четыре года она вела хозяйство своего дяди, Селестина Юста, в его тенштедтском доме. И кто бы мог подумать, что когда-нибудь дядюшка женится, но вот поди ж ты, тому полгода, взял да вдруг женился.

— Будь же рада за меня и за себя, мой друг, — сказал он племяннице. — Случись тебе когда-нибудь зажить собственным домом, ты можешь быть покойна, что не покинешь меня одного.

— Покуда не случилось, — отвечала Каролина.

То, что Каролине больше деваться некуда, кроме как вернуться в Мерсебург (где ее отец был протонотарий приходской духовной семинарии), не смущало Юста. Зато и там и там ее всегда примут с распростертыми объятьями. Себя же он мог поздравить с тем, что Рахель не только самая завидная из немецких жен — вдова-профессорша, — но вдобавок в свои тридцать девять, можно надеяться, перешагнула детородный возраст. Вот и заживут они втроем, тихо-мирно, без ненужных перемен и лишней суеты.

В Тенштедте говорили — завел двух баб под одною крышей. А ведь есть пословица... Любопытно только, кто власть

1. В переводе с *нем.* окружной судья.

возьмет и крайзамтманновы деньжата мотать будет? Что же до ожидаемого постояльца — ожидаемого, да, и слуги разболтали, и новую кровать уже купили в дом, — то известно было, что ему двадцать один год.

Профессорам в университетах — тем частенько удается сбыть дочек с рук любимым ученикам. Мастера — плотники, печатники и булочники, — те рады пристроить дочек и племянниц за кого-нибудь из подмастерий. Крайзамтманн не был мастер-ремесленник, он не был и профессор, но окружной судья, ответственный за собирание налогов — откуда же тут взяться ученикам? — однако, говорили, теперь он человек женатый, теперь есть кому вместо него мозгами пораскинуть.

Фриц явился пешком, на день позже назначенного срока, да еще в то время, когда Селестин Юст был на службе.

— Долгожданный прибыл, — Рахель сказала Каролине.

Она прекрасно его помнила по Виттенбергу, но — эти всклокоченные волосы!

— Вы видите в прогулках пользу для здоровья, Харденберг? — спросила она озабоченно, вводя Фрица в дом. Фриц на нее взглянул туманно и осиял улыбкой:

— Сам не знаю, фрау Рахель. Я об этом не думал, но я подумаю.

Войдя в гостиную, он озирался, как потрясенный откровеньем.

— Как здесь прекрасно, как прекрасно.

— И ничуть не прекрасно, — отрезала Рахель. — Вам здесь рады, очень рады, вы, я надеюсь, здесь многому научитесь, и вы вольны, конечно, составлять себе мнения, какие вам угодно, но гостиная эта не прекрасна.

Фриц все озирался.

— А это моя племянница по мужу, Каролина Юст.

Каролина была в передничке, в затрапезной шали.

— Вы прекрасны, милая фройлейн, — сказал Фриц.

— Мы ждали вас вчера, — сказала Рахель сухо. — Но мы народ терпеливый, знаете ли.

Когда Каролина вышла, а она скоро вышла, на кухню, Рахель прибавила:

— Я часто вас видела студентом, я даже, помните, вас залучала на наши шекспировские вечера и, пользуясь правом давнего знакомства, вам скажу, что не следовало так говорить с Каролиной. Вы говорили не то, что думали, да и она к такому не привыкла.

— Но я говорил то, что думал, — сказал Фриц. — Когда я вошел к вам в дом, все, винный графин, чай, сахар, кресла, темно-зеленая скатерть с пышной бахромой, все сияло.

— Все тут самое обыкновенное. Эти мебели не я покупала, но...

Фриц постарался объяснить: он увидел во всем не повседневность, но духовную сущность. Он сам не может угадать, когда на него найдет такое. Вот настает минутка, и мир вдруг становится таким, каким он станет, когда тело наконец будет покорено душе.

Рахель поняла: этот юный Харденберг отнюдь не шутит. Она себе позволила полюбопытствовать, не приходится ли ему для медицинских нужд принимать большие дозы опия? Зубная боль, конечно, хоть кого заставит опий принимать, но Рахель имела в виду другое. Однако вскоре она убедилась, что принимает он не больше тридцати капель на ночь, когда чересчур разволнуется, — всего-то половину той дозы, собственно, какую сама она принимала от обыкновенных женских болей и расстройств.

14. *Фриц в Тенштедте*

Поклажа Фрица прибыла назавтра, с дилижансом. Она состояла почти вся из книг. Сто тридцать три необходимейших названья, перво-наперво стихи, пьесы, народные сказки, потом исследования о растениях, минералах, по медицине, анатомии, теории тепла и звука, и электричества, и, кроме того, математика, анализ бесконечных чисел. И все они суть — одно, вслух говорил Фриц, грея руки над свечой в промозглом холоде чердачной тенштедской спальни. Все человеческие знания — одно. Математика все сопрягает, как электричество, мне Риттер говорил, — связующее звено между телом и духом. Математика — сам разум человеческий в той форме, какую каждый может опознать. И что, если поэзия, разум, религия суть высшая форма математики? Недостает только грамматики для общего их языка. И если любое знание может быть выражено в символах, значит, нужно засесть за работу и записать все мыслимые способы этого достичь.

— Победа! — заорал Фриц в своей ледяной спальне (впрочем, никогда ему, да и никому из его знакомых, не доводилось ни работать, ни спать, не трясясь от холода).

Второй груз книг открывали "Первые основания искусства горных и соляных производств" Франца Людвига Канкрина[1],

1. Франц Людвиг Канкрин (1738–1816) — немецкий инженер, архитектор, металлург.

том 1, часть 1 “Что есть минералогия”. Часть 2 “Что есть искусство эксперимента”. Часть 3 “Каковы виды земной поверхности”. Часть 4 “Каковы виды земных недр”. Часть 5 “Что есть искусство построения копей”. Часть 6 “Что есть арифметика, геометрия, тригонометрия”. Часть 7, отдел 1 “Что есть механика, гидростатика, аэрометрика и гидравлика”. Отдел 2 “Что есть искусство горной машинерии”. Часть 8, отдел 1 “Что есть плавление и отделение металлов от руд”. Отдел 2 “Что есть плавление полуметаллов”. Отдел 3 “Что есть приготовление серы”. Часть 9, отдел 1 “Что есть разведование соли и геологическое описание солесодержаших гор”. Отдел 2 “Что есть искусство выварывания соли и сооружения новых солеварен”. Том 2 “Что понимаем мы под добычей соли и что есть Соляной закон”.

Слуги донесли Рахели, что молодой фрайхерр громко разговаривает сам с собою в спальне.

— Он сразу после завтрака уходит к себе, — сказала Рахель мужу. — Да еще после ужина занимается, ты сам видел.

Юст спросил у Каролины, нельзя ли им будет как-нибудь вечерком послушать музыку — отдохнуть, развеяться.

— Пожалела бы, — он сказал, — бедного молодого человека.

— Мне про его печали неизвестно, — отвечала Каролина. У самой к зиме хлопот был полон рот — колбасы заготовить, лен мять, трепать (чтобы зимою прясть), гусей забить (уже два раза заживо ощипанных) для последнего, третьего, ощипа. После чего придется неделю целую жареной гусятиной питаться. Но все-таки она была в гостиной, когда, призванный Рахелью, Фриц спустился вниз с книжкою в руке — его уговорили почитать им вслух — или нет, это была не книжка, папка с рукописями.

— Только не подумайте, что это я для кого-то сочинил, это я так. Я был тогда в Йене. Я был тогда моложе.

Прими мой стих рукой своей небрежной,
Не хочешь — не читай, решать твоей душе.
Но если мало слов тебе и мыслей нежных,
Прими хоть жизнь мою. Она твоя уже.

Он поднял взгляд от строк.

— В самый раз для девичьего альбома, так бы и переписала, — сказала Рахель. — Жаль только, в доме у нас не водится этаких вещей.

Фриц пополам разорвал бумажный лист. Каролина отложила наволочку, которую латала.

— Почитайте, пожалуйста, еще. Пожалуйста.

Дядюшка Селестин невозмутимо смотрел на пламя, игравшее за полуотворенной дверцей печи. Ему, конечно, говорили, что этот молодой Харденберг — поэт, да, но кто же знал, что он их станет потчевать стишками? В стишках крайзамтманн мало смыслил и нужды не видел притворяться. Пение — совсем другой коленкор. Юст и сам певал, как все знакомые, принадлежал к двум певческим клубам сразу, любил послушать пение — зимою дома, летом на вольном воздухе, в лесу, на улицах, в горах. Да, и одна подружка Каролины, колоратурное сопрано, ах, что за голос, что за голос, и даже на свадьбе у нее, вся знать Теннштедта собралась, Селестина уломали — выступил в роли торговца птицами, с целой охапкой пустых птичьих клеток, крашенных под золото, и спел простонародную комическую пьеску, моленье к жениху "не отнимать у них милую пташечку". Ну да, это же Эльза Вангель была, да, и прошло-то всего три года, а теперь так раздобрела, в дверь не пролезет.

Каролина говорила ему с укором:

— И к чему это вы тут Эльзу Вангель приплели?

— А я и не знал, что вслух говорю, мой друг. Вы все тут уж простите старика.

Юсту было сорок шесть лет. Печаль о близящейся смерти стала одним из поводов сначала выписать к себе племянницу, а в свое время и жениться.

— Вы, дядюшка, не слушали, вы ничего не поняли.

15. Ю*стик*

Каролина ведала (Рахель деликатно поделила между ними все обязанности) домашними счетами, в том числе ей полагалось получать с Фрица уплату за еду и кров, и за содержанье Гауля, благополучно прибывшего из Вайсенфельса. В первую же субботу однако произошел конфуз.

— Фройлейн Каролина, отцовский поверенный должен был явиться в Тенншгедт и доставить мое довольствие с сегодняшнего дня и по ноябрь, но, верно, ошибкой отправился прямо в Обервидерштедт. Боюсь, мне придется вас просить об отсрочке долга.

— Едва ли мы можем ждать, — сказала Каролина, — но я, пожалуй, покамест его покрою из денег на хозяйство.

И даже в краску ее бросило — с ней никогда почти такого не бывало — при мысли о том, как ему неловко.

— И как он с жизнью справится? — спрашивала она у Рахели. И Рахель ей объясняла:

— Он хоть и учился в трех университетах, а с жизнью справляться не научился, вот что я тебе скажу. Он старший сын, от самого себя не защищен.

Поверенный, правда, на другой день явился, но Каролине казалось, что она постояла за себя, поставила Харденберга в рамки, но не тут-то было: с самого того вечера, когда читал стихи, он на нее безбожно наседал. Одолевал своими откровенностями, весь груз их взваливая ей на плечи. Она друг его — Каролина не противоречила, — а умея обходиться без любви, он поведал Каролине: без дружбы он жить не может. Он ей доверял все-все, он говорил без умолку. Ни шитье, ни заготовка колбасы тут не были помехой. Рубя колбасу, Каролина узнала, что мир вовсе не близится день ото дня к погибели, но стремится к бесконечности. Она узнала, в чем изъян Фихтовой философии, узнала, что у Харденберга есть братишка, сущий бесенок, которого он любит без ума, и ужасный дядюшка, который вечно спорит с отцом, но они и все вечно спорят.

— И матушка?

— Нет-нет.

— Мне жаль, что вам так плохо живется дома.

Фриц испугался:

— Я виноват, я ввел вас в заблуждение. Мы все друг друга любим, мы все жизнь друг за друга отдать готовы.

И мать его молода, он продолжал, глядишь, еще родит, и его непреложный долг — скорее начать деньги зарабатывать, как можно скорее. Тут же он вернулся к Фихте, принес Каролине ворох лекций — лист за листом, образцы триад.

— Да, вот тут кой-какие триады Фихте. И знаете, что меня вдруг осенило, уже здесь, в Тенштедте. Триады эти будто про нас составлены. Вы — тезис: бледны, тихи, покойны, заключены в себе. Я — антитезис: беспокоен, противоречив и страстен, рвусь из себя вон. Остается задаться вопросом: станет ли синтез гармонией между нами или поведет к чему-то невозможному, что нам во сне не снилась.

На это Каролина отвечала, что редко видит сны.

О докторе Брауне, на которого он сразу же перескочил, она что-то такое слышала, хоть и не ведала, что брауни́зм есть усовершенствование всех прежних медицинских знаний и что сам доктор Браун, читая лекцию, перед собою ставил стаканчик виски и стаканчик опийной настойки, по очереди потягивая то и другое, дабы доказать, как безупречно они друг друга дополняют. Она не знала даже, что такое виски.

Еще Фриц ей собщил, что женщина — дитя природы, а природа, в известном смысле, ее, женщины, дело, ее искусство.

— Каролина, вы непременно должны прочесть “Вильгельма Мейстера”.

— Конечно, я читала “Вильгельма Мейстера”, — сказала Каролина.

На мгновенье Фриц опешил, и, проворно воспользовшись этим мгновеньем, она ввернула:

— Злит меня эта Миньона.

— Но она совсем еще ребенок, — закричал Фриц. — Дух, духовидица, более, чем ребенок. И умирает оттого, что мир не настолько свят, чтобы ее принять.

— Умирает она оттого, что Гёте не придумал, что с нею дальше делать. Вот выдал бы ее за Вильгельма Мейстера, так бы обоим им и надо.

— Уж очень вы строги в своих сужденьях, — сказал Фриц. Он быстро подсел к столу и набросал несколько строк. Каролина вместе с судомойкой низала на бечевку кольца сушеных яблок.

— Но, Харденберг, вы про мои брови написали.

Дочка Юста Каролина,
Вздернув строгою дугой
Свои брови соболины,
Мне дает совет благой.

— А я — вот что, я вам, пожалуй, дам ласкательное имя, — он сказал. — У вас нет его? — Большинство Каролин (а в Северной Германии это имя самое обыкновенное) зовутся — Лина, Лили, Каролинхен.

Она покачала головой:

— Нет, и не бывало никогда.

— Я буду звать вас Юстик.

16. *Йенский кружок*

Тенштедт от Йены в пятидесяти милях с лишком, и слава Богу, считал Юст. У молодого Харденберга там все еще знакомых тьма, но, по мнению Юста, лучше бы их и вовсе не бывало. К примеру, физика этого, Иоганна Вильгельма Риттера — или как его там — следовало бы упечь в приют для умалишенных, для его же пользы. Но Риттер этот еще овечка. Что больше всего поражало Юста — так это нравы йенских дам. Фридрих Шлегель, Харденбергов чуть ли не самый старый друг, — горячий обожатель жены брата своего Августа, Каролины. Но эта самая жена спуталась с Георгом Форстером, библиоте-

карем[1]. А жена этого Форстера, Тереза, его бросила ради журналиста, жалуясь, что муж, когда у них ребенок умер оспой, чем утешать ее, сразу же усердно принялся "за возмещение потери". Ну и Фридрих Шлегель тоже живет с женщиной десятью годами его старше. Зовут ее Доротея, она дочка философа Мозеса Мендельсона[2], женщина по видимости положительная, но у ней уже есть свой муж, банкир, как бишь его имя. Да и черт ли в имени, раз он сам тут ни при чем.

Все они умники, все революцинеры, но каждый дует в свою дуду, у каждого свой план, ни от одного не будет проку. Вечно разговоры у них, мол, они в Берлин поедут, в Пруссию, а сами торчат в Йене. Оттого, как понял Юст, что в Йене намного жизнь дешевле.

Для йенского кружка Фриц был некий феномен, сельский юноша, может быть, еще не переставший расти, способный в увлечении что-нибудь раскокать, высокий и нескладный. Фридрих Шлегель настаивал на том, что это гений. "Его нужно видеть, — говорили они знакомым, — что бы ни прочитали вы о Харденберге, вы и отдаленно не поймете его так, как если бы хоть разок выпили с ним вместе чаю".

— Будешь к нему писать, — сказала Каролина Шлегель свояченице своей Доротее, — скажи, чтоб поскорее приезжал, и мы будем фихтизирен, симфилософирен, симпоэтизирен до самого рассвета.

— Да, — подхватила Доротея, — и снова все вместе соберемся у меня в гостиной. Я не успокоюсь, покуда этого своими глазами не увижу. Но почему, скажи, наш Харденберг, как приказчик какой-нибудь, бегает на посылках у скучного крайзамтманна?

— О, но у этого крайзамтманна есть племянница, — сказала Каролина.

— И сколько же ей лет?

17. *Каково значенье?*

Гауль был теперь пристроен под боком, на конюшне Юстов, и Фриц мог сопровождать крайзамтманна в его разъездах. Ему полагалось исполнять роль секретаря и набираться деловых навыков, как велел отец.

1. Георг Форстер (1754–1794) — немецкий натуралист, этнолог, журналист, революционер.
2. Мозес Мендельсон (1729–1786) — немецкий философ, критик, переводчик.

Пусть и в пристойном платье, приобретенном у старьевщика, выглядел Фриц не очень авантажно, на секретаря нисколько не похож, да и Гауль хоть кого мог испугать. Однако крайзамтманн, увидавши Фрица, сразу к нему прикипел душой[1]. Единственная предосторожность, какую счел он необходимой перед тем, как отправиться вместе по делам, была — спросить у молодого человека, так же ли он относится, как Юст однажды его понял, к следствиям событий во Франции?

— Революция во Франции не произвела того эффекта, на какой была надежда, — так он подступился к Фрицу. — Она не привела к золотому веку.

— Нет, там из нее бойню сделали, это уж определенно, — сказал Фриц. — Однако дух революции, какой с самого начала мы в ней почуяли, должен сохраниться здесь, в Германии. Он претворится в мир воображенья, им станут управлять поэты.

— Сдается мне, — сказал крайзамтманн, — что, когда ты займешься делом, лучше бы тебе распрощаться с этой твоей политикой.

— Политика нам вовсе не нужна. Так, по крайней мере, учили меня у братьев в Нойдитендорфе. Государство должно быть единою семьей, где все связаны любовью.

— Не очень-то на Пруссию похоже, — рассудил крайзамтманн.

Фрайхерру Харденбергу он писал, что отношения между ним, крайзамтманном, и молодым фрайхерром, вверенным его заботам, складываются как нельзя успешней. Фридрих выказывает прилежание примерное. Кто мог предполагать, что он, поэт, станет, не щадя трудов, себя готовя к деловому поприщу, переделывать одну работу по два и по три раза, выискивать различия и сходства слов в газетных деловых статьях, поверяя, точно ли он их понял, и все это с тем же усердием, с каким читает он свою поэзию, науку и философию. “Ваш сын, конечно, обучается на редкость быстро, быстрее вдвое любого другого смертного. И, любопытнейшая вещь, притом, что *я* призван наставлять его, — сообщалось далее в письме, — и в самом деле наставляю, он учит *меня* даже большему, обращая мое внимание к предметам, о каких я прежде не задумывался, и благодаря ему я расстаюсь со стариковскими своими предрассудками. Он мне советовал прочесть ‘Робинзона Крузо’ и ‘Вильгельма Мейстера’. Я от него не скрыл, что до сей поры к чтению изящной словесности не имел охоты”.

1. И после смерти Новалиса даже написал его трогательнейшую биографию.

"Что это за предметы, — фрайхерр писал в ответ, — о каких вы прежде не задумывались? Будьте так великодушны, представьте мне пример".

Юст отвечал, что Фриц Харденберг с ним говорил о сказке, какую откопал, насколько мог припомнить Юст, в трудах голландского философа Франца Гемстергейса[1], — что-то такое о всеобщем языке, о времени, когда растения, и звезды, и камни говорили так же, как и животные, и люди. Например: солнце с камнем сообщается, его обогревая. Некогда мы знали слова этого языка, и непременно снова их узнаем, ибо история вечно повторяется... — на что я сказал ему, что все возможно, ежели Господь попустит.

Фрайхерр отвечал, что сын обойдется и своим родным языком, другого никакого отнюдь не требуется для исправления должности инспектора соляных копей.

Дороги часто по зиме делались непроезжи-непрохожи, а потому Селестин Юст спешил до той поры как можно больше ездить со своим секретарем на испытании.

— Я тут еще кое-что написал, хотел бы вам почитать, потом времени не будет, — сказал Фриц Каролине. — Пока вы не услышали, это будто и не писано.

— Так это поэзия?

— Поэзия, да, но не стихи.

— Значит, это повесть? — спросила Каролина, страшась нового явленья фихтовых триад.

— Начало повести.

— Ну хорошо, мы подождем, когда моя тетушка Рахель вернется от вечерни.

— Нет, это только для вас одной.

"Отец и мать лежали уже в постелях, спали, стенные часы мерно отбивали время, ветер свистал и тряс оконницу. Спальня вдруг озарялась, когда месяц туда заглядывал. Молодой человек лежал без сна в постели, он чужестранца вспоминал, его рассказы. 'Нет, не мысль о сокровище во мне пробудила такое странное томление, — говорил он сам себе, — никогда не стремился я к богатству, но желание увидеть голубой цветок меня томит. Он непрестанно у меня на сердце, я не могу вообразить, не могу помыслить ни о чем другом. Никогда я ничего такого не испытывал. До сих пор я будто спал, или будто сон перенес меня в иной какой-то мир. О столь безумной страсти к цветку там и не слыхивали. Но откуда он явился, чужестранец? Никто из нас еще не

1. Франц Гемстергейс (1721—1790) — голландский философ, представитель мистически-поэтического неоплатонизма.

видывал такого человека. Но отчего, не знаю, одного меня так захватило и не отпускает то, что он нам поведал. Остальные все слушали то же, что и я, и никого это не занимало'"[1].

— Читали вы это еще кому-то, Харденберг?

— Никогда и никому. Да и как бы я мог? Еще чернила не просохли, но это разве важно?

И — тут же он спросил у нее с места в карьер:

— Каково значенье голубого цветка?

Каролина поняла, что сам он отвечать не станет. И она сказала:

— Молодому человеку придется уйти из дому, чтобы найти цветок. Он хочет только увидеть его, он им не хочет завладеть. Это, конечно, не поэзия, он уже знает, что она такое. Это не может быть и счастье, ему не нужен чужестранец, чтобы открыть, что такое счастье, насколько я могу судить, он уже счастлив в родном доме.

Начинала гаснуть нечаянная радость от этого подарка, его чтения, и Каролина, по обыкновенью бледная, с виду спокойная, похолодела вся. Она бы руку дала себе отсечь, лишь бы не обмануть этого пытливого, доверчивого взгляда больших, светло-карих глаз, искавших знака понимания у нее в лице.

Всего печальней было то, что, обождав немного, не выказав ни тени обиды, ни даже удивленья, он тихонько прикрыл блокнот.

— Liebe[2] Юстик, это и не важно.

18. Р*окентины*

В ноябре крайзамтманн возил с собою Фрица по местным налоговым службам, и сонные сидельцы поневоле встряхивались под напором молодого гостя, горевшего желаньем узнать от них всё и поскорей.

— В конторском делопроизводстве нет большой науки, — объяснял крайзамтманн, — главное, узнай, во-первых, какие поступили дела, во-вторых — до каких еще руки не дошли, в третьих, за какие принялись и вот-вот управятся, и, в четвертых, с какими уже управились. Уж что-нибудь одно из четырех, пятого не дано, и не приведи Господи, чтоб хоть одного документика не досчитались. При каждом деле должен отчет

1. Так начинается первая глава неоконченного романа Новалиса о голубом цветке "Генрих фон Офтердинген", при жизни автора не опубликованного. Первая его часть вышла только в 1802 г.
2. Милая (*нем.*).

иметься, и отчет этот немедля должен быть тебе представлен в перебеленном виде. Цивилизованный мир не мог бы существовать без несчетных писарей, а те, в свою очередь, не могли бы существовать, когда бы цивилизации не требовалась такая тьма бумаг.

— Я бы, пожалуй, не вынес жизни писаря, — сказал Фриц. — Таких занятий не должно существовать.

— Революция, небось, их не отменила, — проворчал Селестин Юст. — У самой гильотины, небось, стояли, крапивное семя.

Кое-как продвигались они бок о бок, и капли собирались, и плюхались со шляп, с носов, с пушистых кончиков конских ушей, которыми животные прядали, будто сердясь на непогоду. В осенней мге уж часто не видно было, где земля, где воздух, и утро, едва проснувшись, вечерело, не замечая дня. В три часа в окнах уж засветились лампы.

Был один из тринадцати публичных праздников, когда в Саксонии и Тюрингии даже и хлебов не сажают в печь, однако Юст уговорил главного налогового чиновника в Гройсене на часок-другой с утра не запирать дверей конторы. Фриц все еще рассуждал о том, как со временем средствами химии и без писарей научатся множить документы. Юст простонал:

— Только не предлагай ты здесь никаких своих новшеств.

— Чиновники, пожалуй, и не рады нашим наездам, — сказал Фриц, кажется, сейчас только спохватившись: до сих пор эти люди ему представлялись существами какого-то незнаемого вида.

После Гройсена был Грюнинген, а там, обнадежил Юст своего подопечного, можно немного подкрепиться, “буде предложат”. Из города свернули на узкую, длинную дорогу, она сквозь строй дрожащих буков бежала взмокшими лугами, в которых еще тлела сожженная по осени трава и посылала в небо пахучие столбы дыма.

— Это грюнингенский замок. Мы заедем к капитану Рокентину.

Замок был большой, очень большой, совсем недавно строенный и отделан желтой лепниной.

— А кто такой этот капитан Рокентин?

— Тот, кто всегда держит двери открытыми, — сказал крайзамтманн.

Фриц посмотрел вперед: ворота на каретный двор под желтокаменной высокой аркой и большие двери в южной стене дома и впрямь стояли настежь. Во всех окнах расточительно горел свет. Их будто ждали в замке Рокентин. Так Фриц и не узнал, ждали их тогда или не ждали в самом деле.

Двое вышли из дому, приняли от них лошадей, и Юст с Фрицем взошли по трем ступеням главного крыльца.

— Ежели Рокентин дома, ты сейчас услышишь его хохот, — сказал Юст, стараясь, кажется, приободриться, и — тотчас же, крича на слуг, чтоб, мол, не утруждались, явился Рокентин, простирая к ним ручища и заливаясь хохотом.

— Селестин Юст, мой самый давний друг, мой бесценный друг.

— Уж и бесценный, — бормотнул Юст.

— Зачем племянницу с собой не взял, глубоко мною чтимую Каролину?

— Зато я взял с собой молодого человека, которого наставляю в деле. Герр Иоганн Рудольф фон Рокентин, бывший капитан в армии Его Высочества принца Шварцбург-Зондерхаузена, вот, имею честь представить: фрайхерр Георг Филипп Фридрих фон Харденберг.

— Мой юный-юный друг, — пророкотал фон Рокентин. Добрая ткань его камзола со скрипом натянулась, когда он снова распростер объятия. — Вы здесь не окажетесь не к месту, уверяю вас.

Слова его не вовсе потонули в шуме, производимом сворой больших собак, которые устроились в прихожей в надежде перехватить от проходящих туда-сюда что-нибудь съестное.

— Platz![1] — рыкнул их хозяин.

Прошли в залу, где в двух больших каминах жарко пылали сосновые и еловые сучья. Столов и стульев было такое множество, будто их сюда свезли для продажи с молотка. Кто эти люди, эти дети? Рокентин сам, кажется, нетвердо знал, но, делая вид, что это очень смешно, как и все то, что до сих пор он говорил, стал перечислять, загибая пальцы:

— Йетта, Руди, Мими...

— Он не упомнит никак, сколько кому лет, — перебила немолодая, тихого вида женщина, лежа на диване.

— Ну, возраст их — это уж твоя забота, не моя. А это Вильгельмина, моя дражайшая половина. И тут еще некоторые, не все, мои приемные дети — Георг фон Кюн, Ганс фон Кюн и наша Софи тоже где-то.

Фриц переводил взгляд с одного лица на другое, поклонился фрау фон Рокентин, та улыбнулась ему в ответ, но с дивана не привстала, а супруг ее, меж тем представляя гувернантку-француженку, шутливо объяснял, что та и сама-то родной язык свой позабыла, а вот тут — наш лекарь, доктор Иоганн

1. Место! (*нем.*)

Лангерманн, “который, к своей досаде, никак не может в нас выискать никаких изъянов”, герр регирунгсрат[1] Герман Мюллер, его супруга фрау Мюллер, двое здешних стряпчих, учитель лютеранской гимназии — причем эти последние, было очевидно, заглянули в замок, не дожидаясь приглашения. В Грюнингене, кажется, больше было некуда пойти.

Георг, метнувшийся за дверь, едва доложили о новых посетителях, теперь вернулся и дергал Фрица за рукав.

— Эй, фрайхерр фон Харденберг, я на конюшню бегал, поглядеть на вашего коня. Негодный конь. Отчего вы себе нового не купите?

Фриц не замечал Георга, он никого не замечал из тех, кто, вот как приплесок на мелководье то отхлынет, то прихлынет, перемещались за спиною занимательного гостя с целью оттеснить его от всех других и поразведать, из чего он сделан. Но он все стоял — недвижно, уставясь в глубину комнаты.

— И куда все его воспитанье подевалось? — дивился Селестин, беседуя с регирунгсратом.

Там, в глубине комнаты, у окна, стояла маленькая, темноволосая девочка, лениво постукивая пальчиком по стеклу, будто хотела привлечь внимание кого-то по ту сторону.

— Софи, отчего тебе никто волос не убрал? — говорила фрау Рокентин с дивана, — без укоризны, скорей с потачкой. — И отчего ты все в окно глядишь?

— Я хочу, матушка, чтобы снег пошел. Вот бы мы повеселились.

— Время, остановись, пока она не повернется, — сказал Фриц вслух.

— Пойдут солдаты мимо, а мы их снежками закидаем, — сказала Софи.

— Софхен, тебе уже двенадцать лет, и в таком возрасте... ты, кажется, не замечаешь, что у нас гости, — сказала мать.

И тут она обернулась, будто ветром подхваченная, как у детей бывает:

— Я прошу прощенья, я прошу прощенья.

19. Ч*етверть часа*

Герр Рокентин вовсе не казался хозяином большого дома в Грюнингене, он никаким хозяином и никакого дома не казался. В свои сорок, большой, нескладный, со своими благодуш-

1. В переводе с *нем.* — советник муниципалитета.

ными порывами, уместными скорее в юной таксе, топал он по длинным коридорам замка Грюнинген.

Замок этот, собственно, и был построен пятьдесят лет тому назад отцом первого мужа жены его, Иоганном фон Кюном, сам же Рокентин в нем водворился лишь в 1787 году по случаю своей женитьбы. Но не такой он был человек, чтобы перемениться, войдя во владенье собственностью, как он не переменился бы, ее утратив, и он ничуть не устрашился, оказавшись вдруг в ответе за столько жизней.

Местная налоговая контора помещалась в небольшой сравнительно комнате по фасаду, влево от главного входа. Считалось, что Рокентин, как наследник поместья, управлял им, однако, хоть и далеко не слабосильный, он был непоседлив и долго управлять не мог ничем и никогда. Селестин Юст и его подручный быстро это смекнули.

Фриц сказал Юсту:

— Со мною что-то случилось.

Что бы это ни было, отвечал ему на это Юст, пусть случится позже, затем что служба его, да что там, долг, от него требует сейчас же идти в контору, куда в былые дни арендаторы Грюнингена сносили свое зерно, свой лес, своих гусей, а теперь вот бьются за возмещение оплаты тех полевых работ, каких давно уже не производят для курфюрста Саксонского.

— Мы вовремя успели, Харденберг, но приступиться следует немедля. На это уйдет у нас все утро, затем нас ждет добрый обед, уж ты не сомневайся, затем Nachtisch[1], за которым мы все сможем говорить и очень откровенно изъясняться, далее послеобеденный сон, а с четырех и до шести придется, верно, снова поработать.

— Со мною что-то случилось, — сказал Фриц снова.

Фриц безотлагательно написал Эразму, и на почтовых отправил письмо к нему в училище для лесничих в Губертусберге. Эразм ответил:

“Письмо твое совсем было меня ошеломило, но, с тех пор как разделались в Париже с Робеспьером, уж обвыкнув к событиям самым неожиданным, скоро я оправился.

Ты пишешь, что четверть часа решили судьбу твою. Как можно в четверть часа постичь девицу? Да напиши ты — четверть года, и то бы я подивился твоему скорому проникновенью в женское сердце, но — четверть часа, сам подумай!

1. Десерт, так же и посиделки после трапезы (*нем.*).

Ты молод и горяч, девица всего четырнадцати лет и тоже горяча. Оба вы существа плотские, и вот — нежный часочек вам выпадает, вы целуетесь от всей души, ну а потом, потом ты понимаешь: она девица, как все прочие девицы. Но хорошо, положим, ты пройдешь сквозь все препоны, ты женишься. И насладишься, как еще никогда не наслаждался. Но насыщение за собой влечет усталость, и ты кончишь тем, чего всегда ты так страшился, скукой".

Фриц должен был признаться брату, от которого никогда и ничего он не таил, что Софи не четырнадцать лет, а всего только двенадцать, и нежный часочек им никакой не выпадал, а было четверть часа, уже помянутых, притом что и еще много всякого народа стояло у окон залы в замке Грюнинген.

— Я — Фриц Харденберг, — он ей тогда сказал. — Вы — фройлейн Софи фон Кюн. Вам двенадцать лет, я слышал, ваша любезная матушка сказала.

Софи подняла руки к волосам:

— Кверху, их надо кверху.

— Через четыре года вам придется решать, какой счастливец сможет надеяться стать супругом вашим. Не говорите мне, что ему надо будет спросить вашего отчима!

— Через четыре года не знаю, что я буду.

— То есть вы не знаете, чем вы станете?

— Я не хочу никем становиться.

— Возможно, вы и правы.

— Я хочу быть, и чтобы об этом не думать.

— Но вы не можете остаться навсегда ребенком.

— Я и теперь не ребенок.

— Софи, я поэт, но через четыре года я буду чиновник, я буду получать жалование. И вот тогда мы можем пожениться.

— Я вас не знаю!

— Вы увидели меня. Я — то, что вы увидели.

Софи расхохоталась.

— Вы и всегда смеетесь над гостями?

— Нет, но мы здесь в Грюнинге так не разговариваем.

— Но вы бы согласились жить со мною вместе?

Софи замялась, потом сказала:

— Вы мне нравитесь, нет, правда.

Все это не успокоило Эразма. "Кто может поручиться, — он писал, — что ежели сейчас она неиспорчена, она такою и останется, как начнет выезжать? Пошлые прописи, ты скажешь, но прописи — не всегда неправда. И как ты можешь знать, раз она, сам ты говоришь, так хороша, что за ней, конечно, все сразу станут волочиться, как ты можешь знать,

что она тебе не будет неверна! Девочка повинуется безотчетному порыву в свои тринадцать лет (он все никак не мог взять в толк, что ей и того меньше), хоть в двадцать три она, может быть, и поумнее нас с тобой. Вспомни, что ты сам так часто мне говорил о сем предмете — и даже не далее как два месяца тому, в Вайсенфельсе. Неужто ты забыл — так скоро?"

Дальше Эразм писал, что всего больней поразила его в письме Фрица "его холодная решимость". Но ежели он решил не отступать, он может положиться на его, Эразма, помощь, любовь Эразма к брату неизменна, и только смерть одна может ей положить предел. Отца нелегко будет уломать, "но ведь мы так часто с тобою говорили о месте отцов в общем замысле вещей".

"Да, кстати, — он прибавил, — что Каролина Юст? Что сталось с вашей дружбой? Будь здоров. Твой преданный друг и брат

Эразм".

20. *Свойства страсти*

Фриц спросил, можно ли будет ему остаться на Рождество в Тенштедте.

— Конечно можно, если только ваше семейство не будет недовольно, — сказала Каролина. — Дядюшка и тетушка будут рады от души, и мы непременно заколем поросенка.

— Юстик, со мной случилось что-то.

Он болен, да, ах, как она этого всегда боялась.

— Что такое, скорее говорите.

— Юстик, люди скажут, верно, что мы совсем недавно друг друга знаем, но ваша дружба — я не могу передать, — даже когда я далеко, я вас так живо помню, вы будто всё со мною рядом — мы как две пары часов, поставленных на одно и то же время, и когда мы снова видимся — как не бывало промежутка, мы снова бьем согласно.

Она подумала:

"А я-то, я — так и не могла придумать, что ему сказать, когда он прочитал мне начало своего 'Голубого цветка'. Слава Богу, он не помнит".

— Я влюбился, Юстик.

— Но ведь не в Грюнингене!

И все у нее похолодело, оборвалось внутри. Фриц недоумевал:

— Но вы же хорошо знакомы с этим семейством. Герр Рокентин встретил вашего дядюшку, как самого старого друга.

— Разумеется, я хорошо их знаю. Но ведь теперь старших дочек дома ни одной, только Софхен.

Подсчеты эти она произвела тотчас же, как узнала, что дядюшка его тащит за собою в Грюнинген.

Фриц посмотрел на нее долгим взглядом.

— Софи — любовь моей души.

— Но, Харденберг, ей же еще нет и... — она пыталась совладать с собой. — И она *хохочет*!

Он сказал:

— Юстик, до сих пор вы понимали всё, вы всё слушали. Но, верно, мне не следовало спрашивать с вас чересчур много. Есть одна вещь, я вижу, и вещь самая важная, к несчастью, которой вы не можете понять, — свойства страсти между мужчиной и женщиной.

Каролина сама не могла объяснить, ни тогда, ни после, отчего она тут не могла смолчать. Не то вмешалась суетность — а суетность грешна, — не то холодный страх навеки утратить его доверенность.

— Не всем дано говорить о своих страданьях, — она сказала, — кто-то и разлучен с тем единственным, кого любит, а принужден молчать.

Это не была ложь. Себя она не называла. Но бурный отклик Фрица, но его горячее сочувствие больно ее уязвили. Что за могучая сила говорила ее голосом и сказала ему то, что, в конце концов, *было* ложь — и задумано, как ложь? Покуда милый Фриц продолжал нежно, но безудержно изливаться о препонах к счастью (он, разумеется, более ни о чем ее не спросит, нет, то, что она доверила ему, свято) — о препонах, какие еще теснее их связали, — она все больше понимала, что они сотворили — сообща, из ничего — новое и вовсе нежеланное созданье. И вот теперь их стало четверо: поэт, страстножеланная Софи, визжащая от хохота, сама она, невзрачная племянница-экономка, и вот еще — ее далекий, тайный, несбыточный возлюбленный, конечно, честный мелкий служащий, скорей всего, за тридцать, Каролина все живей его воображала — в скромном сюртучке из ноской ткани, почти наверное женатый человек, а то, кто знает, пастор. Как живой — вот только руку протяни и тронь. А ведь родился целиком из раны, какую Харденберг нанес ей, объявив, что она ничего не смыслит в свойствах страсти.

— Слова даны нам для того, чтобы понимать друг друга, пусть и не вполне, — Фриц все никак не мог уняться.

— И стихи писать.

— Да, да, конечно, Юстик, но нельзя требовать от языка слишком много. Язык сам себе цель — он не ключ к чему-то

еще высшему. Язык говорит оттого, что говорить для него радость, и ничего другого он не может.

— Глядишь, с него и чушь слетит, — возразила Каролина.

— И что же? Чушь — другой язык, только и всего.

21. *Снег*

Однако на поверку оказалось, что придется Фрицу провести Рождество в Вайсенфельсе. Сидония писала, что не только Бернард очень опечалится, если он не приедет, но ему вдобавок нужно повидать новенького братика. В тепле просторной, перинной, под старинным балдахином, постели Вайсенфельса Природа не скупилась на дары, и в прошлый год зачата была и родилась Амелия, а в нынешний — Кристоф. Бернард принял известие прохладно.

— Их теперь двое еще меньше меня, теперь мне трудно будет к себе привлекать особенное внимание.

— Но ты ведь любишь маленького Кристофа, — терпеливо улещивала его Сидония, — и ты, Бернард, пока сам еще ребенок, а детство льготный срок.

— Откровенно сказать, я ненавижу маленького Кристофа. Когда же Фриц приедет? Он хоть в сочельник будет?

В Тенштедте Каролина и Рахель вместе присматривали за тем, чтобы капусту зарывали в песок на погребе, чтобы картошки зарывали в землю на дворе. Излишки съестного помещали в шкафу прямо на кухне — бедных оделять, вместе с двойною порциею шнапса, в каждом забористом глотке таившего жгучую память о лете.

О Харденберге они только и заметили другу другу между делом, — как жаль, мол, что он не может с ними быть на Рождество.

На пути в Вайсенфельс Фриц несколько задержался. Он так устроил, чтобы на часок-другой заглянуть в замок Грюнинген. Однако в тот вечер всю Тюрингию, всю Саксонию завалило снегом. Каждый куст, каждую тележную оглоблю, каждую капустную кочерыжку северо-восточный ветер одел хрустальным, белым ободком. Но вот и это все исчезло, и только белая, сплошная тьма как будто поднималась от земли и вместе падала на взбухшую твердь.

Покуда Каролина во дворе расчищала тропу к колодцу, пришло письмо от Харденберга — из Грюнингена. “Дальше, стало быть, не уехал!” В письме он сообщал ей, не очень-то, быть может, деликатно, что, отрезанный от мира, он спит и ест “в доме, самом гостеприимном в целом свете”. Снег, ока-

зывается, так глубок, что выбраться к дороге нет никакой возможности, не подвергая себя риску, а риск ненужный – недостоин человека разумного. "Я буду, я хочу, я должен, я могу здесь оставаться, и кто же станет противиться Судьбе? Я решил, что я детерминист. В другой раз Судьба может и не быть столь благосклонна".

"В таком громадном доме всегда сыщется, кому расчистить путь к дороге, – подумала про себя Каролина. – Но он и всегда-то нес так много чуши. Когда сюда приехал, объявил, что мои руки прекрасны, и скатерть, и чайный поднос".

В письмо он вложил стихи. Они кончались так:

Мой друг, однажды за столом
Сидеть мы будем вечерком,
Уж не с тревогою в очах,
Не с обреченностью в сердцах,
Но счастья и любови полны.
Отступят вдаль тугие волны,
Какими утро нас хлестало,
То будет полдень, дней начало
Прекрасных, новых, не вдвоем
Уже мы будем – вчетвером,
С возлюбленными, и с улыбкой
Оглянемся на берег зыбкой,
На берег юности, печали,
Где наши беды нас венчали,
Скорбей и жалоб череда.
Кто знал, что все они растают?
Кто мог мечтать? Но – никогда
Напрасно сердце не вздыхает!

Каролина знала, что "никогда напрасно сердце не вздыхает!" – строка, взятая напрокат из печатного письмовника. Но стихи эти ей причинили боль. Вот он, никогда не бывший обожатель, нелюбимый Verliebte[1], сотканный из ее тоски, сидит за столом, с нею рядышком, и все четверо они – тут как тут, в полном сборе. Но, по крайней мере, стихи эти – ей, и ей одной. Даже и заглавье есть: "Ответ Каролине". И она положила их в ящичек, где держала такие вещи, и повернула ключ. А потом обхватила себя обеими руками, крепко, как защищаясь от стужи.

1. Возлюбленный (*нем.*).

22. *Мне нужно узнать ее*

В те два дня у Рокентинов Фриц все дивился разности меж бытом замка Грюнинген и повседневностью на Клостергассе в Вайсенфельсе. В Грюнингене не бывало допросов, ни общих молитв, тревог, ни катехизиса и страха. Гнев, если вдруг и вспыхнет, в мановенье ока испарялся, и много было такого, что в Вайсенфельсе называли пустою тратой времени. В Грюнингене за завтраком никто не стучал чашкою о блюдце, не кричал: "Satt!" Вечное хождение туда-сюда вкруг безмятежной фрау Рокентин (тоже с грудным младенчиком на попечении) представлялось образом извечного возврата, и время не оказывалось врагом.

В Грюнингене можно было всласть поминать о подвигах французов, тем никого не возмущая. Явление Георга в жилете цветов триколора не вызвало и легкого ропота удивленья. С болью Фриц сопоставлял шумные шалости Георга и странность Бернарда. И — как в Вайсенфельсе страшились наездов дядюшки Вильгельма, и молились, чтобы поскорее он убрался восвояси, так в Грюнингене всем знакомым и друзьям радовались без разбора, и привечали, расставшись хоть вчера, так, будто век не видались.

— Как наступит лето, Nachtisch будет у нас снаружи, под сиренью, — ему сказала фрау Рокентин. — Вот тогда и почитаете нам вслух.

В Вайсенфельсе после трапезы все расходились кто куда, едва отбарабанив благодарственную молитву. А сирень — Фриц и не помнил, была ли в саду у них сирень. Нет, пожалуй, не было сирени.

Занесенный снегом, быть может, всего-то на день-два, Фриц понимал, что нужно поразумней воспользоваться этим сроком.

— Ну вот, фройлейн Софи, ваше желание исполнилось, — сказал он, глядя, как она стоит у того же самого окна в Saale. Розовый детский рот приоткрылся, когда, сама того не зная, она жадно тянула кончик языка к хрустальным белым хлопьям по ту сторону стекла. Герр Рокентин, тем временем топавший мимо в сопровожденье Ханса и Георга, приостановился — спросить у Фрица о его штудиях. Каждого, кто ему попадался на глаза, всегда он расспрашивал о занятиях — привычка, усвоенная за время службы уполномоченным по набору войск под началом принца Шварцбург-Зондерхаузена. Фриц с жаром заговорил о химии, о геологии, о философии. Помянул и Фихте.

— Фихте нам объяснял, что существует одно лишь абсолютное "я", единая личность для всего человечества.

— Н-да, хорошо вашему Фихте говорить, — вскричал Рокентин. — А тут, в этом хозяйстве, у меня тридцать две личности на попечении.

— У папа́ никаких забо́т, — вставил Георг, — сегодня он главному садовнику был смерть как нужен, дать указания насчет заваленных канав, — а сам где-то охотился в лесу.

— Моя карьера в армии открылась, не на капустной грядке, — отвечал добродушно Рокентин. — Что же до охоты, я к ней вовсе не питаю страсти. А вышел я сегодня ни свет ни заря с ружьем, чтоб накормить свое семейство, — и, жестом фокусника, он извлек из кармана то, о чем, как видно, совсем было забыл: мертвых птиц, тесно нанизанных на бечевку. Казалось, их череда — некоторые застревали, пришлось тянуть и дергать — будет длиться вечно.

— Конопляночки! Надолго ли их хватит! — крикнул Георг. — Да я их по три сжую в один присест!

— Все считают, что мне делать нечего, — усмехнулся герр Рокентин, — а ведь, сказать по правде, теперь чуть ли не самая горячая пора, и одна из обязанностей моих — присматривать за тем, чтобы в продолженье рождественской ярмарки порядок соблюдался.

— Где эта ярмарка? — встрепенулся Фриц. Но ведь там не *пофихтизируешь*, — он спохватился, и — ни слова больше, молчу-молчу.

— Да в Гройсене, отсюда всего две мили, — крикнула Софи. — А больше здесь ничего и не случается, только вот летняя и осенняя ярмарка, и обе в Гройссене.

— И вы еще не бывали на Лейпцигской ярмарке? — спросил Фриц.

Нет, Софи никогда не бывала в Лейпциге. При самой мысли об этом глаза у ней просияли и раскрылись губы.

"Что, кого она мне напоминает?" — он думал. Эти буйные волосы, этот милый, вытянутый по лицу нос, совсем, совсем не в мать. И эти брови дугами. В третьем томе Лафатеровых Physiognomische Fragmente была иллюстрация, по гравюре Иоганна Генриха Липса[1] с Рафаэлева автопортрета, писанного в двадцатипятилетнем возрасте. Вылитая Софи. По гравюре, разумеется, цвета не узнать, ни оттенка кожи, только вот это выражение — райской кротости, и глаза — большие, темные, как ночь.

1. Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарский писатель, богослов и поэт, автор книги "Сто правил физиогномики". Иоганн Генрих Липс (1758—1817) — немецкий художник.

В те первые четверть часа у этого окна в Saale Фриц уже открыл ей свое сердце. “Теперь мне нужно узнать ее, — он думал. — Насколько будет это трудно?”

— Ежели мы решили соединить наши жизни, я хотел бы все о тебе знать.

— Да, но только не надо говорить мне “ты”.

— Ну хорошо, не буду, впредь до вашего разрешения.

Он думал — нужно все же попытаться, хоть она и предпочла бы поиграть с меньшими братишкой и сестренкой. Все они сейчас были на широкой, длинной террасе между домом и садом, почти совсем расчищенной от снега. Мими и Руди, шумные, лихие, бежали рядом, толкая обручи, обитые железом.

— Lass das[1], фрайхерр, все равно ничего у вас не выйдет, — взвизгнул Руди, но, выросши в доме, где было много обручей, Фриц знал, что все у него выйдет, и, со всей силы, твердою, верною рукой запустил один обруч, потом другой, и они далеко полетели, почти исчезли из виду.

— Ну а теперь скажите мне, что думаете вы о поэзии?

— Я ничего о ней не думаю, — ответила Софи.

— Но вы не хотели бы ранить чувств поэта?

— Я ничьих чувств не хотела бы ранить.

— Тогда поговорим о чем-нибудь другом. Ваша любимая еда?

— Капустный суп, — сообщила ему Софи, — и хороший копченый угорь.

— Какого мнения вы о вине и табаке?

— Их я тоже люблю.

— Так вы, стало быть, курите?

— Да, отчим меня угощал трубкой.

— А музыка?

— Ой, вот это я люблю. С полгода тому назад были в городе студенты, они играли серенаду.

— И что они играли?

— “Wenn die Liebe in deinen blauen Augen”[2]. Это, конечно, не про меня, у меня темные глаза. Но все равно было очень красиво.

Пение, ну да. Танцы, да, почти наверное, хотя на балы ее не вывозят, пока четырнадцати не исполнится.

— Вы помните, какой вопрос я вам задал, когда впервые вас увидел у этого окна?

— Нет, не помню.

— Я вас спросил, случалось ли вам думать о замужестве.

1. Оставьте (*нем.*).
2. “Когда любовь в твоих голубых глазах” (*нем.*).

— Ой, я его боюсь.

— Вы этого не говорили, когда о нем шла речь тогда, у этого окна.

Но она повторила:

— Я его боюсь.

После того как Руди, а вслед за ним и хныкающая Мими опять вернулись, и опять были отвергнуты ("Бедняжки! Совсем запыхались!" — сказала Софи), он спросил ее о вере. Она ответила с готовностью. Они, конечно, говеют, когда положено, а по воскресеньям в церковь ходят, но она не всему верит, что там говорят. Не верит в жизнь после смерти.

— Но, Софи, Иисус Христос вернулся ведь на землю!

— Ну, у него-то все хорошо получилось, — сказала Софи. — Христа я уважаю, но, если бы я сама вдруг стала ходить и разговаривать, когда уже умру, ведь это на смех курам!

— И что говорит ваш отчим, когда вы ему признаетесь, что не веруете?

— Он смеется.

— Но когда вы меньше были, что ваш учитель говорил? Был же у вас учитель?

— Да, до одиннадцати лет.

— И кто он был такой?

— Магистр Кегель, из семинарии, здесь, в Грюнингене.

— Вы его слушались?

— Один раз он на меня очень сильно рассердился.

— Отчего?

— Не мог поверить, что я так мало понимаю.

— И чего же вы не могли понять?

— Цифр и чисел.

— Числа не трудней понять, чем музыку.

— Ах, да, но Кегель меня побил.

— Не может такого быть, Софи!

— Нет, правда, он меня ударил.

— И что же сказал на это ваш отчим?

— Ах, ему нелегко пришлось. Учителя ведь надо слушаться.

— И что же магистр Кегель?

— Забрал деньги, которые ему причитались, и ушел из дому.

— Но что же он сказал?

— "On reviendra, mamzell"[1].

— Но он не вернулся?

— Нет, а теперь-то уж поздно мне учиться. — Она взглянула на него с легкой опаской и прибавила: — Вот если бы я чудо увидала, как в древние времена люди видали, я бы больше верила.

1. "До встречи, мамзель" (*искаж. франц.*).

— Чудо не заставит верить! — выпалил Фриц. — Вера сама — вот чудо!

Он видел, что, как ни силится она его понять, вид у ней удрученный, и продолжал:

— Выслушайте меня, Софи. Я расскажу вам, что я перечувствовал тогда, когда я вас увидел у этого окна. Когда мы вдруг видим иных людей, иные лица... иные глаза в особенности, их выраженье, иные жесты, когда услышим иные слова, мысль обретает значение закона... и смысл жизни нам вдруг ясен, и нет уже самоотчужденья. И наше "я" на миг освобождается от вечного давленья перемен... Вы понимаете меня?

Она кивнула:

— Да, понимаю. Я уже такое слышала. Некоторые люди вновь и вновь рождаются на свет.

Фриц не сдавался:

— Я не совсем то имел в виду. Но Шлегеля тоже занимает переселенье душ. А вы — вы хотели бы родиться снова?

Она призадумалась. Потом:

— Да. Только чтоб у меня были светлые волосы.

Герр фон Рокентин уговаривал молодого Харденберга еще остаться. Пусть и заметил, что отпрыск старинного рода приволокнулся за падчерицей, он вовсе против этого не возражал, а впрочем, не в его природе было хоть что-то не одобрить. Фрау фон Рокентин, безмятежная и, кажется, в цветущем здравии, хоть и обложенная несчетными подушками, тоже кивала благосклонно. Впрочем, она упомянула, что старшая сестра Софи, Фридерике фон Мандельсло, скоро приедет домой, надолго, и составит Софхен компанию.

— Да, хорошо бы все они вернулись, — объявил Рокентин. — Разлука горька! Не так ли поется в Вене в конце года, когда разъезжаются студенты?

— Именно так, — сказал Фриц, и Рокентин, голосом глубоким, как третья штольня медной выработки, но с вовсе неуместной веселостью, завел жалостную песню:

— Scheiden und meiden tut weh...[1]

— А теперь, покидая гостеприимный кров ваш, я хотел бы заручиться вашим позволеньем написать к вашей падчерице письмо, — сказал Фриц.

Рокентин прервал пение и, собрав все скромные остатки своего чувства ответственности, сказал, что возражений не будет, если мать первая его вскроет и прочтет.

1. Разлука горька... (*нем.*)

— Да-да, конечно. И я хотел бы, чтобы ей, если вы сочтете это уместным, было разрешено ответить.

— Разрешено! Да ежели бы только за этим дело стало — я разрешаю!

23. *Я не могу ее постичь*

Фриц в дневнике писал: “Я не могу ее постичь, я не знаю ее меры. Я люблю то, чего не понимаю. Я весь — ее, но сама она не знает, нужен ли я ей. Все отчим на нее влияет, и теперь я вижу, что веселость так же беспощадна, как и набожность. Недаром она мне сказала, что хотела бы всегда видеть меня веселым. Он ведь и трубку ей давал курить.

Август Шлегель пишет, что “форма механистична, когда внешней силой, случайным приложеньем она навязана извне: так мы, к примеру, придаем некий образ мягкой массе с тем, чтобы она его хранила, отвердев. Форма же органическая — прирождённа; развивается изнутри и достигает завершенности после того, как вполне развился зародыш”.

Вот то же и моя Софи. Я не хочу менять ее, но, признаюсь, хотел бы сознавать, что, в случае нужды, и мог бы. Однако за те двенадцать лет, когда не знала вовсе, живу ли я на свете, она “достигла завершенности”. Я был бы счастливей, когда бы видел хоть какой-то путь к тому, чтобы она поняла меня.

Решить, что она не верит в будущую жизнь. Какой неслыханный, какой дерзкий вызов.

Она сказала: “Вы мне нравитесь, нет, правда”.

Она хочет для всех казаться милой, но не хочет ни к кому приноровиться. Ее лицо и тело, ее радости, здоровье — вот о чем любит она говорить. Ее собачки. Проснулся ли в ней темперамент? Ее боязнь привидений, и винопитие. Эта ее ладонь на щечке.

Дома, на Клостергассе мать еще не вставала после разрешенья маленьким Кристофом, который не очень был здоров, несмотря на взятую в одной из деревень изобильную кормилицу. Как всегда, не жалуясь сама, печалилась она только из-за младенчика да из-за Бернарда. Как бы его кто не огорчил — на каждое Рождество мучил ее этот страх — нечаянно, ненароком разрушив его веру в Кнехта Руперта[1].

1. Кнехт Руперт — персонаж немецкого фольклора, помощник святого Николая. То же, что наш Дед Мороз.

— Не помню, чтобы Бернард хоть когда-то верил в Кнехта Руперта, — сказал Фриц Сидонии. — Он всегда знал, что это старый Дампфин из пекарни, в фальшивой бороде.

Тайну свою он поверил только Каролине Юст, Эразму и Сидонии, и все сошлись на том, что теперь не время — если когда и будет время — тревожить мать. Фриц увлек Сидонию к себе в комнату, где держал он третий том из своего издания Лафатеровой "Физиогномики".

— Вот — моя Софи, как вылитая. Это, само собой, автопортрет Рафаэля... Возможно ли, чтобы девочка в двенадцать лет выглядела, как двадцатипятилетний гений.

— Все очень просто, — ответила Сидония. — Это невозможно.

— Но ты никогда даже не видела Софи.

— Верно. Но еще увижу, надеюсь, а увидав, скажу тебе в точности то же.

Он захлопнул Лафатера.

— У меня карманы набиты всякой всячиной, — и принялся выгружать горстями имбирные пряники, игольники, одеколон, рогатки, манки для птиц, — Куда мне все это девать, Сидония? Сил нет, мешают. Пытка!

— В библиотеке, там я буду подарки раздавать, — Сидония прислушивалась к робким, жалостным просьбам, то и дело к ней поступавшим из материной спальни, и была вся в хлопотах. Уже конюх по ее приказу нанес еловых лапок и свалил в библиотеке. Ключ она держала при себе. Едва открывалась дверь, густой, неодолимый зеленый дух затоплял коридор, будто бы лес, сам, вступил в библиотеку.

— Я-то всю эту чушь по пути купил, во Фрайбурге, — сказал Фриц, — а ты, боюсь, каждое утро вставала до свету и всё мастерила.

— Я ненавижу шить, — сказала Сидония, — и не умею, и никогда не научусь, но да, вставала, мастерила.

А где же Эразм? Карл явился, Антон здесь где-то, фрайхерр принужден был отлучиться — на соляные копи в Артерн, но к сочельнику он будет.

— Вот странность, Фриц, Асмус отправился в Грюнинген, верхом, тебя встречать.

— Верхом? На чем верхом?

— А-а, Карл честь честью привел с собой вторую лошадь, из ремонтных.

— Вот и хорошо.

— Для Асмуса не так хорошо, он с ней не справляется, два раза свалился.

— Кто-нибудь да поможет, на дорогах полно народу, снег теперь редеет. Но зачем ему занадобилось в Грюнинген? Weiss Gott[1]. Вот идиотство!

Сидония складывала и перекладывала кучки блестких безделок, привезенных Фрицем.

— Думаю, он хотел своими глазами увидеть, что представляет собою твоя Софи.

24. Б*ратья*

— Фриц!

Эразм нагнал брата, взбегая по правому пролету главного крыльца, оттесняя Луку, его метлу.

— Фриц, я ее видел, да, видел, я был в Грюнингене! Я говорил с твоей Софи, и с ее подружкой говорил, и со всем семейством!

Фриц стоял, как заледенев, а Эразм кричал:

— Лучший из братьев, она никуда не годится! — И, сам коротенький, облапил длинного брата. — Совсем, совсем не годится, Фриц, милый Фриц! Добродушная, да, но по уму она никак тебе не ровня. Великий Фриц, ты же философ, ты поэт.

Лука исчез, вместе со своей метлой поспешая к кухонной двери, чтоб повторить все, что услышал.

— Кто тебе позволил заявляться в Грюнинген? — проговорил Фриц, все еще почти спокойно.

— Фриц, она глупа, твоя Софи!

— Ты спятил, Эразм!

— Я ничего не спятил, лучший из всех Фрицев!

— Кто тебе позволил, я спрашиваю...

— У нее пустая голова...

— Лучше молчи!..

— Пустая, как новенький горшок. Фриц...

— Молчи!

Эразм не унимался. И вот, у главного крыльца, на Клостергассе, оба уже барахтались в снегу, и народ Вайсенфельса, бредя неспешно мимо, возмущался так же, как, бывало, выходками Бернарда у реки. Старшие сыновья Харденберги, гордость фрайхерра, — и чуть ли не на кулачках дерутся.

Эразм из них двоих был куда больше удручен. Пар, как из кипящего чайника, валил из него на морозе. Фриц без усилья его вдавил в железные перила.

1. Бог знает! (*нем.*)

– Я знаю, Junge[1], ты хочешь мне добра, я в этом уверен. Твои чувства – братские. Ты думаешь, я обманулся красивым личиком.

– Не думаю я этого, – сказал Эразм. – Ты обманулся, да, но вовсе не красивым личиком. Она не хороша, Фриц, она и не хорошенькая даже. Я снова повторю, что она пустоголова, твоя Софи, но – мало этого, в двенадцать лет у ней двойной подбородок...

– Сточтимая фройин, ваши братья на парадном крыльце зубы друг другу вышибают! – возвестил Лука. – Мир, дружество забыли, растянулись оба на Клостергассе.

– Я сейчас же к ним иду, – вскрикнула Сидония.

– Прикажете фрайфрау доложить?

– Какие глупости, Лука.

Явясь в Грюнинген совсем незвано, Эразм был встречен со всею теплотой. Его привечали ради брата, и фрау Рокентин вдобавок питала особенную нежность к юношам низкорослым и невзрачным, уверенная, что откорми их хорошенько, и они преобразятся в статных силачей. Но Софи, Софи – к своему ужасу, он ничего в ней не увидел, как только очень шумную и совсем маленькую девочку, ничуть не похожую на собственных его сестер. За скудных два часа его визита они с подружкой, Йеттой Голдбахер, успели потащить его гулять по-над Эльбой, потому что их без взрослых не пускали, и полюбоваться на гусар, как они пьяны в стельку, как бухаются на лед, а уж полковой сержант! – уф! бах-бах! Правда, это Йетта обратила внимание на то, как разоблачается сержант, но ведь Софи ее не порицала. Вместо morgen она говорила morchen, вместо spät – späd[2], вместо Харденберг – Харденберьх. Ах, да на это плевать было Эразму, он к ней учителем не нанимался, произношенье исправлять. Но никогда еще не видывал он девицы из хорошего семейства столь развязной.

Фриц совсем ума решился.

– Ты опьянен. Это Rausch, так и считай, что ты im Rausch[3]. Проспишься, выдохнется, уж так заведено в природе.

Из-за Рождества, из-за того, что вот-вот должен вернуться фрайхерр, больше они ничего друг другу не сказали, – и ссо-

1. Мальчик (*нем.*).
2. Утро, поздно (*нем.*).
3. В опьянении (*нем.*).

ра рождена была не враждой, любовью, хоть оттого не легче было ее унять. Заключили перемирие.

"Я знаю, на меня нашла благодать. Опьянение-то тут причем?" — писал Фриц.

И навсегда грозит нам разлученье?
Ужель мечта — соединиться с той,
Для сердца близкой, и своей, родной, —
Не более, как опьяненье?
Нет, верю: род людской, все мирозданье
Таким, как для меня Софи, когда-то будет,
И высший смысл, и благодати дарованье
Никто уж пьяным бредом не осудит.

25. *Рождество в* Вайсенфельсе

— Что это мальчики там говорят? — тревожилась фрайфрау. Ей разрешили перебраться с младенчиком из сумрачной супружеской опочивальни в комнату куда меньше, высоко, почти чердак, где иногда хранили яблоки и, несмотря на холод, все медлил яблочный, кисло-сладкий дух. Только кормилица да горничная, служившая фрайфрау еще когда та девушкой была, туда карабкались, тяжко скрипя ступенями, — ну и Сидония, конечно, взлетала легкими, веселыми шагами.

— Ах, Сидония, друг мой, не иначе, опять они там голоса возвысили, хоть уж и не так, как вчера... Скажи, о чем там Фриц толкует?

— О духовной благодати, матушка.

Услышав этот пароль Гернгуттеров, фрайфрау успокоилась и вновь откинулась на крахмальные подушки.

— А ты в библиотеке порядок навела — отец, знаешь, любит, чтобы...

— Ну да, ну да, — приговаривала Сидония.

— Вот ты скажи мне, как по-твоему, стал Кристоф получше?

Сидония, большой знаток, ловко развернула шаль за шалью и осмотрела хиленького братца. Тот глянул на нее сурово, по-мужски, и она просияла:

— Да, он стал гораздо лучше.

— Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, а знаешь, не надо бы такого говорить, тоже ведь она крещеная душа, но не люблю я эту кормилицу.

— Я тотчас с ней переговорю, — встрепенулась Сидония, — и ушлю ее обратно в Эльстердорф.

— И потом?.. — Сидония решила было, что мать обеспокоена заменой, но оказалось — нет. — А-а, вы хотите перебраться вниз, в свою спальню. Нет, рано вам еще, вы слабы еще для этого. Сейчас я кофий вам пришлю.

Фрайхерр блюл старинный обычай, с которым в Вайсенфельсе многие уже распрощались, — Рождественского подведения итогов. Мать беседует с дочерьми, отец с сыновьями, сначала говорят о том, что не понравилось им в поведении детей за протекший год, что более всего понравилось. А дальше молодые Харденберги должны были, как на духу, поверять родителям все то, о чем следовало рассказать, но что они весь год таили. Фрайфрау слишком была слаба, чтобы исполнить этот долг, фрайхерр же, предполагали, из Артерна не поспеет вовремя. Но он вернулся — и точно к назначенному часу.

Сочельник выдался безветренный, хрустальный. Весь день носило эхо стук дверного молотка от кухни по дворам. Никогда, никто, придя за милостыней к Харденбергам, с пустыми руками, бывало, не уйдет, но нынче ожиданья возрастали. В Обервидерштедте — там приходилось потрудней. Дом стоял у самой границы, а тех, кто не имел прав на въезд в Пруссию и кто, сказать по чести, не был нужен ни одной стране — отслужившие солдаты, странники, бродячие артисты, побирушки, — всех несло к границе, как сносит ил и мусор к берегу реки. В Вайсенфельсе же были только городские бедняки, городские сумасшедшие да девушки, обманом обрюхаченные, которым не хватило средств на услуги творящих ангелочков подпольных повитух. Эти девушки являлись у кухонной двери, только когда совсем стемнеет.

В библиотеке — свечи, прикрепленные к каждой веточке еловых лапок, ждали огонька. Столики покрыты были белыми скатертями, для каждого — свой столик. И на каждом — румянозапеченной миндальной массой выложено имя. Подарки сами не были помечены. Сам догадайся, кто даритель, а то и вовсе не узнаешь.

— А что мы в этот сочельник будем петь? — спросил Карл.

— Не знаю, — ответила Сидония. — Папаша любит Райхардта[1].

— Бернард, — сказал Карл. — Не вздумай съесть эти миндальные буквы.

Бернард оскорбился. Он уж два года, как разлюбил сласти.

1. Иоганн Фридрих Райхардт (1752–1813) — немецкий композитор, автор церковной музыки, романсов на стихи Шиллера и Гёте.

— Еще я вот что вам скажу, — объявил Бернард. — Это последний год, когда меня заставят петь дискантом. Зрелость на носу.

— А я вот что хотел бы знать, — крикнул Эразм. — Я от тебя хочу услышать, наш милый Фриц, что ты скажешь отцу, когда он спросит с тебя отчет за прошедший год. Ты знаешь, и я тебе писал, что на меня ты всегда и во всем можешь положиться. Но скажешь ли ты ему, как мне сказал, что не только ты влюблен, в том нужды нет оправдываться, как птице нужды нет оправдываться в том, что она летает, но что влюблен ты в двенадцатилетнюю девчушку, которая хохочет, сквозь растопыренные пальцы глядя на пьяного в снегу?

— А мне ничего не рассказал, — с упреком протянул Карл.

Бернард, хоть и был привязан к Фрицу, всегда с восторгом предвкушал всякого рода конфузы.

— Я ничего ему не расскажу такого, что недостойно Софи, — объявил Фриц. — Имя ее значит мудрость. Она моя мудрость, она моя истина.

— Фройин, свечи! — вбегая в дверь, вопил Лука. — Ваш почтеннейший батюшка спускаются в библиотеку!

— Да-да, Лука, ах, помоги же мне. — Лука оставил дверь открытой, и все увидели: слуги в полном сборе квадратиками фартуков белеют в сумраке прихожей. В Грюнингене в такой праздник дым стоял бы коромыслом, — не то на Клостергассе.

А в библиотеке — от огоньков на лапнике бежали тени по стенам, по потолку. В тепле все задышало еще вольней и глубже, густей, смолистей, зеленей. И по столам, наваленные на блестящих жестяных листах, пускали искры золоченые каштаны и птицы в клетках, куклы из белого мякиша, молитвенники, Фрицевы игольники, крошечные бутылочки Kolnischwasser[1], вышивки Сидонии, безделки, резаные из ивы и березы, перочинные ножички, и ножницы, и ложки с черенками, уж до того замысловатыми, что в руку не возьмешь, печатки и гравюрки. И в сравненье с этим веселым блеском — каким усталым, загнанным, изнеможенным, несмотря на всю круглость свою, было лицо фрайхерра Харденберга. Он остановился у дверей, давая распоряжения Луке, и Фриц сказал Карлу:

— Он стар, а я — я ничего не делаю, чтобы ему помочь.

Фрайхерр вошел и, совершенно противу обычая, уселся в кресла. Семейство смотрело на него во все глаза. Всегда в сочельник он становился за этой обитой кожею конторкой, рас-

1. Одеколон (*нем.*).

чищенной от подарков и свечей, — в самой середине библиотеки.

— Что это он? — пробормотал Эразм.

— Не знаю, — шепнул Фриц в ответ. — Шлегель говорит, что Гёте тоже себе купил такие кресла, но, сидя в них, он теряет способность думать.

Отец заговорил и, словно отбивая такт, он ударял ладонью по глубокому подлокотнику.

— Вы ждете, что я стану рассматривать ваше поведение за прошедший год, ваши успехи, оплошки ваши. Вы ждете, что стану вас расспрашивать о том, что вы еще не открывали мне. Вы собирались — да что! в том долг ваш, — правдиво мне ответить. В этот сочельник, сочельник 1794 года, я исповедей от вас не жду, я вам не стану задавать вопросы. И что причиной? А то, что будучи в Артерне, я получил письмо от стариннейшего друга своего, от прежнего Предигера у братьев в Нойдитердорфе. Письмо рождественское, и в нем он мне напомнил, что мне пятьдесят шесть лет, и уж недолго мне осталось бременить собою землю, таков закон природы. Предигер наставляет меня не укоризны ради, нет, он мне напоминает, что день этот — день несказанной радости, когда все люди, мужчины и женщины, становятся не более, но и не менее, как дети. А потому, — прибавил он, тяжелым взглядом обводя сверканье и блеск деревянных ложек, золотых орехов, — и сам я в этот священный день стал совершенно, как дитя.

Ничего менее детского, чем взрытое морщинами, широкое лицо фрайхерра под высокой лысиной, нельзя было себе представить. Предигер, как видно, и не пытался. Братья, обученные радости, верно, забывали о том, как трудна бывает радость, а многие совсем ее не знают. Фрайхерр фон Харденберг с усильем поднял взгляд, упертый в стол.

— А музыка — у нас разве не будет музыки?

Бернард, разочарованный нежданной отцовой мягкостью, утешенный, однако, смущенным видом старших, взобрался на библиотечную стремянку, рассчитанную на достиженье самых верхних полок, и запел, голосом еще совсем детским, нежнейшей чистоты. “Родился Он, Его возлюбим”.

Ангельский голос стал сигналом для ждавших под дверью слуг, и все вошли, внесли двухлетнюю Амелию, которая смело тянулась ко всему, что блестит, и толстый сверток, в глубине таивший младенца Кристофа. Пламя уже подбиралось к веткам, свечи оплывали, и шипели, и плевались, и пускали сладкий, тонкий дым, когда Сидония невозмутимо их гасила. Все стихло — в дрожащих пятнах тьмы и света все отыскивали свои столы.

Эразм был с Фрицем рядом.
— А теперь — что ты скажешь отцу?

26. М*анделъсло*

А ничего. Фриц привык благодарно принимать то, что пошлют Судьба и Случай, а потому он воспользовался случаем и ничего не сказал. Отчуждение Эразма печалило его куда больше, нежели разлад с отцом.

В Нойдитендорфе научился он, хотя сам думал, что ничему учиться там не хочет, по примеру моравских братьев чтить случай. Случай — есть то же проявленье Божьей воли. Останься он среди братьев, жену, и ту ему, глядишь, выбирали бы по жребию. Случаю было угодно, чтобы письмо Предигера поспело в Артерн раньше, чем ожидалось, и, благодаренье случаю, можно было отодвинуть разговор о женитьбе на Софи ближе к тому времени, когда он сам сможет зарабатывать на жизнь. Но случай, Фриц хорошо знал это, всякую минуту мог вернуть отца ко всегдашней вздорной нетерпимости. Он ведь сам сказал, что весел, — сегодня, и надолго ль его станет.

На Сильвестерабенд[1], шесть дней спустя после Рождества, Фриц получил от Софи письмо.

Дорогой Харденберг,

во-первых благодарствую за письмо во-вторых за ваши волосы в третьих за хорошенький Игольничек который очень мне понравился. Вы спрашиваете можно ли вам будет ко мне писать? Будьте покойны мне всегда приятно читать ваше письмо. Сами знаете дорогой Харденберг мне больше невозможно вам писать.

Софи фон Кюн.

— Она — моя мудрость, — сказал на это Фриц.

Явившись на день в Грюнинген — поздравить с новым 1795 годом, — Фриц спросил у хаузхерра Рокентина:

— Отчего ей невозможно больше ко мне писать? Разве я так опасен?

— Милый Харденберг, ей невозможно больше писать оттого, что она еле-еле писать умеет. Пошлите за ее учителем; его порасспросите! Конечно, ей бы следовало побольше за-

1. В переводе с *нем.* Новый год, вечер святого Сильвестра.

ниматься, ха-ха-ха! Небось бы научилась письмецо любовное грамотно настрочить.

— Грамотность мне не нужна, мне нужно, чтоб они были куда длинней.

Следующее письмо от Софи гласило:

Вы мне подарили ваши Волоса и я их красиво завернула в Кусочек бумаги и положила в ящичек стола. На днях я их хотела вынуть но ни Волос ни Кусочка бумаги не нашла. Теперь пожалуйста снова состригите ваши Волоса и особенно Волоса с вашей головы.

Когда он опять был в Грюнингене, крепкая белокурая женщина вошла в комнату с ведром в руке.

— Господи, совсем из ума вон, и зачем оно мне понадобилось, — и она плюхнула ведро на крашеные доски.

— А это моя старшая сестра Фридерике, — заторопилась Софи. — Она теперь фрау лейтенант.

Совсем не в мать, думал Фриц, и на сестру нисколько не похожа.

— Фрике, а он вот хочет, чтобы я ему еще письмо написала.

— Нет, фрау лейтенант, — сказал Фриц, — я хочу, чтобы она мне написала много сотен писем.

— Что ж, попытка не грех, — сказала Мандельсло, — но для этого чернила понадобятся.

— А в доме нет их? — отозвался Фриц. — Вот и у нас такая же история, то мыло все вышло, то еще что-нибудь такое.

— У нас всего в избытке, — сказала Мандельсло. — Чернила есть у отчима в кабинете, да и в других комнатах. И везде мы можем брать все, что нам заблагорассудится. Но Софи чернилами пользуется редко.

Софи вышла. Оставшись наедине с крупной, белокурой особой, Фриц уступил порыву и тотчас к ней обратился за советом.

— Фрау лейтенант, полагаете ли вы уместным мне спросить у вашего отчима о согласии его на мою помолвку с...

— Ну, тут я совсем вам не советчица, — сказала она спокойно, — сами глядите, достанет ли у вас смелости. Хитрость вся не в том, о чем просить, но в том, чтоб выбрать время. Полагаю, и мнение вашего батюшки тоже следует принять в расчет.

— Разумеется, — сказал Фриц.

— Ну и пусть они уютно усядутся вдвоем, выкурят по трубочке. — Фриц пытался и не мог вообразить подобную картину. — Таким манером все может быть улажено без слез. Мойто супруг был сирота. Ему, когда явился к отчиму меня

сватать, не нужно было принимать в расчет никого, кроме сестры-вековухи, но с ней все просто, он ее содержит.

— Благодарю вас за совет, — сказал Фриц. — А знаете, женщины, мне кажется, лучше понимают дело жизни, чем мы, мужчины. Мы их лучше нравственно, зато они могут достигнуть совершенства, мы — не можем. И это несмотря на то, что они вдаются в подробности, мы же — обобщаем.

— Уж я такое слышала. И чем подробности вам не угодили? Тоже ведь и подробностями кто-то должен заниматься.

Фриц мерил шагами комнату. Разговор на него так же действовал, как музыка.

— Более того, — он говорил, — в каждой женщине, я верю, есть то, в чем Шлегель столь многим мужчинам отказывает, — прекрасная душа.

— Очень возможно, — согласилась Мандельсло. — А что думаете вы о моей?

Сказала, и сразу осеклась, и будто не она сказала. Фриц меж тем подошел почти вплоть к ней, к ведру, уставил в нее свой блестящий, диковатый взгляд.

— Не смотрите на меня так! — вскрикнула она. — Я совсем тупая. И муж тупой. Мы с ним двое тупых людей. Да что с нас возьмешь! О нас только подумать, и вы расплачетесь от скуки.

— Но я не нахожу...

Она прикрыла себе уши руками.

— Нет уж, молчите! Мы, тупые, согласны, чтобы умники правили миром, и мы готовы работать по шесть дней в неделю, лишь бы у них дело спорилось, лишь бы сами понимали, что творят.

— Не обо мне речь! — вскрикнул Фриц. — Речь о вашей душе, фрау лейтенант.

Но тут воротилась Софи, без пера, без бумаги и чернил. Заигралась с какими-то новыми котятами у горничной в кладовке.

— А-а, так вот они где, — обрадовалась Мандельсло. И сразу вспомнила, зачем несла это ведро: котят топить. В подобных случаях слуги малодушно увиливают от исполненья собственного долга.

Фридерике Мандельсло жила в гарнизонном городке Лангензальца, с супругом, лейтенантом принца Клеменса полка. Она вернулась домой в Грюнинген, за десять миль, когда мужа услали во Францию с Райнфелдским экспедиционым войском. Нигде надолго не засидишься, она сетовала, даже ковра толком не разложишь (а у ней большой, турецкий). Что поделать, солдатская жена. Хоть она, конечно, герру Рокен-

тину не кровная родня, но из молодого поколения — его любимица. Несмотря на резкие полувоенные ухватки, какие она усвоила с тех пор, как шестнадцати лет вышла замуж, ярко-синие глаза были у ней, как у матери, и свидетельствовали о той же уверенности, о той же безмятежности.

— Ты лучшая из них из всех, — он сам говорил Фридерике. — Только из дому тебе не следовало уезжать. Так подвести меня!

Каждый мужчина, считал Рокентин, заслужил такую женщину под боком. Такая Мандельсло и винам в погребе учет ведет, и котят утопит, и счета поверит, и за Софхен приглядит, в случае чего. И все эти обязанности Фридерике исполняла не из жалости, не из-за болезненной тревоги (как в Вайсенфельсе Сидония), а из-за одного только уменья фрау Рокентин их на нее взвалить. Труды самой фрау Рокентин, с той поры, как родился Гюнтер и Фриц влюбился в Софхен, свелись к тому, чтоб залучить домой Фридерике. Больше ничего, собственно, теперь уж и не требовалось.

27. *Эразм посещает* Каролину Юст

Каролина в жизни не видела Эразма, но еще он стоял у двери, еще слуга о нем не доложил, а уж она знала, кто он такой. Низкорослый, щуплый, и круглое лицо, и глаза — не большие, не сияют, но это — брат Фрица. И еще она знала, она слышала: ему время возвращаться в Хубертусберг, к началу нового семестра, и, кажется, он даже опоздал.

Селестина Юста и Рахели дома не было. Сейчас обоих занимала покупка садового участка, совсем близко от их улицы, рукой подать. Там они будут выращивать спаржу и дыни, и построят садовый флигель — Парадиз земной. А потому они отправились к соседям пить кофий и — обсуждать свой план, уже и так всем известный до наимельчайшей подробности. Каролину, разумеется, тоже приглашали. Но в последнее время она редко выходила из дому.

— Кроме меня вас, боюсь, и принять некому, — она сказала. — Брат ваш, конечно, все живет у нас, но он сейчас поехал в Грюнинген.

Эразма сюда несла волна приязни, порыв сочувствия к Каролине, верней, к той Каролине, какую он вообразил, в согласии, конечно, с отношением к ней Фрица. Вдобавок ему загорелось разделить свое смятенье оттого, что в жизнь вторглось такое существо, как эта Софи, разделить с той, которая заведомо его поймет. И в то же время он хотел разузнать побольше о девчонке: последний разговор с братом не

оставлял надежд из него самого выудить еще хоть слово, ни даже в письмах.

— Фройлейн, я с вами буду говорить со всею откровенностью.

Она просила называть ее Каролиной.

— Вы хорошо знаете замок Грюнинген, не так ли? Ваш дядюшка Юст часто там бывает и, конечно, брал вас иногда с собой.

— Брал, да, — сказала Каролина. — Но что хотелось бы вам узнать, и...

Но Эразм перебил:

— Что вы о ней думаете? Что она, собственно, такое?

— Я, конечно, более дружна со старшею сестрой, но та теперь вышла замуж и уехала.

— Скажите мне всю правду, Каролина.

Тогда она спросила:

— И вы никогда не видели Софи фон Кюн?

— Видел. Явился в замок Грюнинген и постучался у дверей, как постучался к вам. Забыл о приемах порядочного человека, забыл об оправданьях своим поступкам. Я, кажется, с ума схожу.

— Стало быть, вы ее видели. Скороспелая, в некотором роде. Изящная походка. И волосы хороши, темные волосы, это сильный пункт. — Впервые она взглянула прямо в лицо ему. — Как он мог?

— А я-то ждал, что вы мне объясните. Я сюда явился в надежде, что вы мне ответите на этот вопрос, а еще оттого, что...

Каролина нашла в себе силы, тряхнула колокольчик.

— Пусть нам принесут чего-нибудь подкрепиться, хоть мы не голодны.

— Конечно, не голодны, — подтвердил Эразм, однако, когда угощение явилось, он ел Zwieback[1] и пил вино в свою меру.

Ему двадцать, только двадцать лет, она думала. Ему меня жалко. Никогда уже не будет он так сочувствовать другому человеку, которого совсем не знает. Но мне не нужно, чтобы меня жалели.

— Погодите минуточку, — она сказала. И оставила его одного, и он не знал, что делать, — есть одному в комнате неловко было, — и вернулась со стихами, которые прислал ей Харденберг.

1. Сухарики (*нем.*).

...не вдвоем
Уже мы будем — вчетвером,
С возлюбленными, и с улыбкой
Оглянемся на берег зыбкой,
На берег юности, печали,
Где наши беды нас венчали,
Скорбей и жалоб череда.
Кто знал, что все они растают?
Кто мог мечтать? Но — никогда
Напрасно сердце не вздыхает!

Эразм сидел, униженный, смущенный — не передать словами.

— Вчетвером, Каролина, я так понимаю — вчетвером — за этим вот столом. Стало быть, есть кто-то еще, кого вы знаете и любите.

— Так сказано в стихах, — уклончиво отвечала Каролина. — Вот, сами можете прочесть, если угодно.

Она ему передала стихи: слова разлетались по двум страницам сразу.

— И расточительность какая! Оборотик пропадает.

— Он и всегда так пишет.

— А вы ведь думали, я в Харденберга влюблена?

— Прости меня, Господи, я думал, да, — наконец-то выдавил из себя Эразм. — Он о вас так часто говорил... Я, видно, слишком восхищаюсь братом. Вот и попритчилось, будто бы все к нему питают те же чувства. Истинно рад, что обманулся... но ведь мы оба будем точно так же относиться к... Не думайте, я не буду несправедлив к девчонке, и... Каролина, вы только поймите меня правильно, хоть мы с Фрицем были так близки, я знал всегда, что придет день, когда он во многом будет для меня потерян, и я всегда надеялся, что, когда этот день придет, я сумею довольствоваться тем, что останется на мою долю, но, Каролина, разочарование должно иметь пределы... и... хоть мы, конечно, будем точно так же относиться к...

Каролина закрыла лицо руками.

— Как он мог? Как он мог?

28. *Из дневника Софи за 1795 год*

Января 8 дня
Нынче снова мы были одни и все и больше ничего.

Января 9 дня
Нынче мы были снова одни и все и больше ничего.

Января 10 дня
Харденберх пришел в полдень.

Января 13 дня
Нынче Харденберх уехал и мне развлечься нечем.

Марта 8 дня
Нынче мы все вместе решили пойти в церковь но погода помешала.

Марта 11 дня
Нынче мы были совсем одни и все и больше ничего.

Марта 12 дня
Нынче все было как вчера и все и больше ничего.

Марта 13 дня
Нынче мы говели и Харденб. был здесь.

Марта 14 дня
Нынче Харденб. был здесь и он получил письмо от брата.

29. Н*овое чтение*

Марта 17 дня 1795 года был тринадцатый день рождения Софи. За два дня до этой годовщины она обещала Фрицу выйти за него замуж.

16 июня Карл, всегда отличавшийся предупредительностью, прислал два золотых кольца из Лютцена (где он стоял) брату в Тенштедт.

21 августа снова он писал из Лютцена, где, по словам его, он "прозябал" по заключении Базельского мира[1].

"Шлю тебе стремя со стременным ремнем в придачу, и две соломенные шляпы, из которых на одной я оставил ленту, ибо сие есть новейшая мода. Другую можно носить в согласии с собственным вкусом". Одна шляпа предназначалась Эразму для передачи Каролине, вторая Софи; пусть Фриц сам распределит. Посылалась еще корзинка для шитья — матушке, и, повторно,

1. Базельский мирный договор Пруссия, положив начало распаду антифранцузской коалиции, заключила с Конвентом 5 апреля 1795 г.

Фрицев золотой перстень, отосланный обратно в Лютцен и ныне гравированный, как Фриц просил, одною буквой “с”. Работы этой не мог исполнить золотых дел мастер ни в Теннштедте, — месте глухом, где о моде на соломенные шляпы не слыхали, где даже в лавках соломенные шляпы не водились, — ни, уж тем паче, в Вайсенфельсе, где поднялся бы шум, пошли бы толки. У фрайхерра Харденберга всё не испрашивали благословенья. Самое имя Софи фон Кюн при нем не поминалось.

У Рокентинов, напротив того, можно было и не испрашивать благословенья. Они были рады-радешеньки новому счастью в доме. Фрица позвали в крестные к маленькому Гюнтеру. Георг толковал ему, что, раз надумал жениться, сам Бог велел купить нового коня. Гауля давно пора пустить на кошачий корм.

Хаузхерр Рокентин, как ни странно, ничуть не оскорблялся мыслью, что Харденберги могут его счесть себе неровней. “Мала она еще замуж выходить. Наладились ли регулы у ней — и то ведь я не знаю. Вот исполнится пятнадцать — тогда все затруднения и решим”.

Фриц подумывал, не сделать ли Селестина Юста, доброго отцова друга, своим доверенным лицом, не попросить ли его посредничать между Грюнингеном и Вайсенфельсом.

— Э-э, попросить-то можно, да что толку, — добродушно возразил ему на это герр Рокентин. — Крайзамтманн, как ты, может быть, заметил, меня считает дураком.

Едва подарил Софи перстенек и увидел, как она — раз открыто носить нельзя — на шнурке повесила его на шею, Фриц спросил, можно ли почитать ей первую главу “Голубого цветка”.

— Это введение, — он объяснил, — к истории, которую я все не могу написать. Даже сам не знаю, что у меня выйдет. Я составил список занятий, и профессий, и типов психологических. Но в конце концов это, возможно, будет вовсе не роман. В народных сказках куда больше правды.

— Ой, а я-то как их люблю, — оживилась Софи. — Только не такие, где людей в жаб превращают, вот уж мало радости.

— Я вам прочитаю вслух свое введение, а вы мне скажете, что оно означает.

Ответственность, очевидно, ее тяготила.

— А сами вы не знаете? — она спросила с недоверием.

— Иногда мне кажется, что знаю.

— А больше-то никто не читал?

Фриц порылся в памяти.

— Читали. Да, Каролина Юст читала.

— Ой! Она умная.

Вошла Мандельсло, сказала, что тоже хочет послушать, придвинула к Софи нынешнюю порцию работы. Даже в таком процветающем хозяйстве простыни и наволочки латали и подрубали так, чтобы они могли послужить еще лет десять. На миг Софи отвлеклась, взглянув на свой игольник:

— А это вы мне подарили, милый Харденберг! — но тотчас смолкла.

“Отец и мать лежали уже в постелях, спали, стенные часы мерно отбивали время, ветер свистал и тряс оконницу. Спальня вдруг озарялась, когда месяц туда заглядывал. Молодой человек лежал без сна в постели, он чужестранца вспоминал, его рассказы. ‘Нет, не мысль о сокровище во мне пробудила такое странное томление, — говорил он сам себе, — никогда не стремился я к богатству, но желание увидеть голубой цветок меня томит. Он непрестанно у меня на сердце, я не могу вообразить, не могу помыслить ни о чем другом. Никогда я ничего такого не испытывал. До сих пор я будто спал, или будто сон перенес меня в иной какой-то мир. О столь безумной страсти к цветку там и не слыхивали. Но откуда он явился, чужестранец? Никто из нас еще не видывал такого человека. Но отчего, не знаю, одного меня так захватило и не отпускает то, что он нам поведал. Остальные все слушали то же, что и я, и никого это не занимало’”.

Не зная, сколько еще продлится чтение, обе сидели молча, с работой на коленях. Софи была бледна, рот — бледно-розов. Так тонко рознился цвет этого лица и приоткрытых, нежных, свежих, пухлых, бледных губ. Будто ничто в лице покуда не достигло истинного цвета, полной силы — кроме этих темных ее волос.

Мандельсло слушала очень внимательно и наконец проговорила:

— Но это начало только. Чем кончится история?

— Хотел бы я, чтобы вы мне сказали, — ответил Фриц.

— Покуда это сказка для детей.

— Ой, да, похоже, — вскрикнула Софи.

— Отчего, думаете вы, молодой человек заснуть не может? — спрашивал он жадно. — Из-за луны? Из-за того, что тикают часы?

— Нет, он не спит не оттого. Он оттого и замечает часы, что он не спит.

— Да, правда, — сказала Мандельсло.

— И он спал бы крепким сном, ежели бы чужестранец ему не рассказал про голубой цветок?

— Да что ему в этом цветке? — удивлялась Софи. — Он, кажется, не женщина, он не садовник.

— Ах, но цветок-то голубой, а ничего подобного он никогда не видел, — догадывалась Мандельсло. — Я понимаю, лен, ну да, льняное семя, да, и васильки, и незабудки, но кто же их не видел, они и так глаза всем намозолили и вовсе к делу не идут, а голубой цветок — совсем-совсем другое.

— Ой, Харденберг, а как он называется, этот ваш цветок? — спросила Софи.

— Он знал когда-то, — сказал Фриц задумчиво. — Ему назвали имя, а он и позабыл. Он жизнь готов отдать за то, чтоб вспомнить.

— Он спать не может потому, что он один, — сказала Мандельсло.

— Да в доме-то людей полно, — сказала Софи.

— Он в комнате один. Нет милой головы на подушке рядом.

— А вы? Вы с этим согласны? — Фриц повернулся к Софи.

— Конечно, я бы хотела знать, чем дело кончилось... — проговорила она с сомненьем.

Фриц сказал:

— Если рассказ начался с вывода, он должен кончиться расследованием.

* * *

Книг у Софи немного было. Были гимны, Евангелие, и обвязанный лентой лист бумаги с перечнем кличек всех собак, каких держало когда-либо семейство, хоть многих так давно не было на свете, что помнить их не могла Софи. К этому она теперь прибавила вводную главу истории о голубом цветке. Список сделан был рукою Каролины Юст, она перебеляла все для Фрица.

“Софхен любит слушать истории, — Фриц записал в своем блокноте. — Она не хочет, чтобы ее обременяла моя любовь. Моя любовь ее часто тяготит. Она больше заботится о других, и о чувствах их больше, нежели о своих собственных. Но она холодна и холодна, вся холодна насквозь”.

— Что я написал о ней, лишено смысла, — говорил он Мандельсло. — Одно с другим не вяжется. И я вас хочу просить, не опишете ли вы ее такою, какою знаете всю ее жизнь — портрет Софи, какою видит ее сестра.

— Невозможно! — ответила Мандельсло.

— Я слишком многого у вас прошу?

— Слишком-слишком-слишком многого.

— И вы никогда не вели дневника? — он спросил.

— Ну и вела бы? Вот вы, к примеру, дневник ведете, а можете вы описать брата своего Эразма?

— Брат сам себя опишет, — сказал Фриц. Он исстрадался. В этом доме не нашлось хотя бы сносного портрета Софхен: что толку от скверной миниатюры, на которой глаза выпучены, как крыжовины, или — как глаза у Фихте. На одни только волосы, смело опадавшие на белизну муслина, и стоило смотреть. Над миниатюрой этой все семейство хохотало до упаду, и громче всех Софи.

Фриц спросил у хаузхерра, не может ли он найти художника-портретиста с тем, чтобы тот за его, Фрица, счет, изобразил Софи такою, какова она на самом деле. В замке ему придется пробыть несколько дней, наброски сделать, а уж дописывать он будет в мастерской.

— Боюсь, как бы портрет этот за мой счет не оказался писан, — в ту ночь говорил Рокентин жене. — Едва ли Харденберг сейчас хоть что-то зарабатывает.

Сам он не зарабатывал ничего и никогда, кроме весьма неверного жалованья пехотного капитана. Ну, он-то женился зато благополучно на женщине с очень большими независимыми средствами.

30. *Портрет Софи*

Фриц решил найти мастера помоложе. Решил найти такого мастера, чтоб душу вкладывал в работу, и — остановил свой выбор на Йозефе Хофманне из Кёльна, которого присоветовал Северин.

Хофманн явился в Грюнинген в конце лета, когда еще хороши дороги, и вечерний свет, и с собой привез ранец, чемодан, кисти, папки. За работу положено было ему шесть талеров, и Фриц намеревался их выручить от продажи кое-каких своих книг. Самого Фрица в Грюнингене не было: занят был сверх всякой меры, но намеревался выбраться при первой же возможности. Художник припозднился, затем, что припозднился дилижанс. Рокентины в полном сборе сидели за столом. Все были извещены о портретисте, но и не думали его дожидаться.

Слуги вносили уже супы, один из пива, сахара, яиц, один луковый с ягодами шиповника, один хлебный на капустном отваре, один из коровьего вымени, приправленного мускатным орехом. Было здесь и тесто, замешанное на масле буковых орешков, и селедка маринованная, и гусь под паточным соком, и крутые яйца, и яблоки, запеченные в тесте. Весьма опасно — уж в чем-чем, а в этом немецкие доктора все соглашались — не содержать желудок постоянно битком набитым.

Приятного аппетита!

Горы, Альпы, вареного картофеля в длинных струях пара стояли в самом центре стола, так, чтобы каждому удобно было в них целиться серебряною вилкой. И очень быстро, как под лавиной, горы разваливались, оседали.

– Ой, вы только не смотрите на меня сейчас, Herr Maler[1], – Софи кричала через стол. – Не разглядывайте вы меня так, а то у меня сейчас рот будет набитый.

– Любезнейшая фройлейн, никогда я не стану делать ничего подобного в первые минуты знакомства, – сказал спокойно Хофманн. – Я оглядываю стол, только и всего, определяя наличие или отсутствие истинной души во всех присутствующих.

– Ах, Gott, вот уж я не думаю, чтобы вас куда-то приглашали обедать дважды! – сказала Мандельсло.

– Хочу вам дать один совет, – сказал герр Рокентин, перегибаясь к центру стола, чтобы поддеть еще картофелину. – Это моя старшая приемная дочь. Не отвечайте ей, если то, что она сказала, вам обидно.

– Что тут обидного? Я только думаю, что фрау лейтенант художников совсем не понимает.

– Мы знаем Харденберга, – сказала Мандельсло. – Он поэт, а это то же самое, что и художник. Правда, мы и его еще не очень понимаем.

И хаузхерр и жена его были оба "от земли". Сельские жители. Художник Йозеф Хофманн родился и воспитывался на задворках Кёльна. Отец его, дамский сапожник, пристрастился к пьянству и утратил всё искусство, которым обладал. Хофманн поступил в Дрезденскую академию в числе беднейших студентов, да и сейчас перебивался с хлеба на воду, сбывая свои сепией рисованные дали, излучины реки и убедительно жующие рыжие стада. После таких набегов на природу его опять манили скученность и грязь родного места. Здесь, в замке Грюнинген, он себя чувствовал чужим. Поглощать в таких количествах съестное он не умел, был не приучен, и он не понимал, кто все они такие – люди за столом. Но нет и нет, он не желал сдаваться. Пришел мой час, своего случая я не упущу. Мир еще увидит, на что я способен.

Он все понял: солнечный свет будет обливать стоящую фройлейн Софи, – только что кончилось детство, она на пороге счастья, осуществления судьбы; дополнит же портрет сестра, солдатская жена, – притулившаяся в тени жертва бабьей

1. Господин художник (*нем.*).

доли. Да, и еще надо будет их попросить, чтобы позировали подле одного из мелких памятников при дороге, он таких много запримети́л на пути в Грюнинген. Теперь они служат межами и скоту полезны — скот чешется об них. Надписи пусть будут видны, но неразборчивы в косых лучах. Все эти идеи так у него роились, теснились в голове, нахлынули с силой поэзии самой, что он, отложивши нож и вилку, вдруг сказал — вслух, совсем не в лад тому, что говорилось за столом:

— Да-да, там, именно там.

— Где? — спросила фрау Рокентин, наконец увидев в нем еще один предмет для своего сочувствия.

— Я хотел бы изобразить обеих дочерей ваших подле фонтана, они будут сидеть на каменных ступенях — побитых, стертых временем ступенях. Вдали пусть будет промельк моря.

— От моря-то мы далеконько, — проговорил с сомненьем Рокентин. — Оно отсюда эдак миль за сто восемьдесят. На предмет стратегии это всегда будет для нас беда.

— Мне дела нет до ваших стратегий, — объявил юный художник. — Кровопролитие меня не занимает. А кроме этого, вне этого — о чем говорит вам море?

Но никому из присутствующих ни о чем оно не говорило — соленая вода, и только. И никто — кроме разве Рокентина, который стоял когда-то в Ратцебурге с Ганноверским полком, — никогда не видел моря.

Фрау Рокентин сказала безмятежно, что, когда она еще молоденькой была, морской воздух считался страсть каким вредным для здоровья, а что уж там на этот счет постановили доктора теперь, ей неизвестно.

31. *Я не могу ее писать*

Все в доме недоумевали, как это фройлейн Софи заставят сидеть смирно, да еще столько, сколько нужно. Миниатюрщик-то, родич пожилой, ее совсем не заставлял сидеть, просто обвел ее тень на куске картона. Хофманн покамест сделал несколько летучих набросков: фройлейн фон Кюн бежит, фройлейн фон Кюн наливает из кувшина молоко. После чего он, кажется, впал в глубокую задумчивость и почти не выходил из своей комнаты.

— Хоть бы уж Харденберг скорей приехал, — вздыхал Рокентин. — Мы рады этому художнику и, я полагаю, хорошо сделали, отведя ему одну из верхних сушилен под мастерскую, но не могу сказать, чтоб он себя здесь чувствовал как дома. Ну, женщины-то уж, небось всё это уладят.

Под “женщинами” он разумел, конечно, Мандельсло, но и ту Хофманн вывел из терпения.

— Он же обучался, кажется, как обучается сапожник союзки ставить, или солдат — стрелять врагов. Так пусть уж взялся бы за карандаши и кисти, да приступил к работе.

— Так-то оно так, да видно, он сходства не ухватывает, — говорил Рокентин. — Этому не обучишься, с этим родиться надо. Вот каким манером все ребята — Дюрер, Рафаэль, все эти ребята — свои деньги зарабатывали.

— Не думаю, чтобы Хофманн до сих пор много денег заработал, — усомнилась Мандельсло.

— Тут-то вся и хитрость. У них де́нег куры не клюют, только они вида не показывают, ну, если сходство умеют схватывать.

Софи жалела Хофманна, и по привычке утешать, перенятой от матери, просила его показать привезенные с собой рисунки и расхваливала все подряд, — они ей и в самом деле представлялись чудом мастерства. Хофманн в конце концов вздохнул:

— Вы и сами рисовать учились, я уверен, достойнейшая фройлейн. Вы должны мне показать свои работы.

— Нет, ничего не выйдет, — ответила Софи. — Как учитель рисования уехал, я всё порвала.

“И вовсе она не так глупа”, — подумал Хофманн.

Дневник Софи

Вторник сентября 11 дня

Нынче художник утром не спустился к завтраку. Мачеха послала ему кофий со слугой, но он говорил с ним через дверь, а именно, чтобы ему не мешали думать.

Среда сентября 12 дня

Нынче мы начали сбирать малину.

Четверг сентября 13 дня

Нынче было жарко и был гром и все и больше ничего и Харденберх не приехал.

Пятница сентября 14 дня

Нынче никто не приехал и все и больше ничего.

Суббота сентября 15 дня

Художник не спустился пить с нами шнапс.

Воскресенье сентября 16 дня

Художник не пришел молиться с нами.

Понедельник сентября 17 дня

Отчим сказал, что парень этот художник все наверху торчит, будем надеяться не затащил какую горничную к себе в постель.

Георгу не терпелось проверить, так ли это, и, раздобывшись на конюшне приставной лестницей, он ее прислонил к окну художника, открытому, чтобы поймать жалкий ветерок. Подобное нельзя было себе представить в Вайсенфельсе. С другой стороны, Георг, в отличие от Бернарда, никогда не стал бы рыться в поклаже гостя.

Одному мальчишке-конюху велено было держать лестницу покрепче, и Георг по ней взобрался.

— Видишь чего? — орал мальчишка, участник почти всех проказ Георга.

— Сам не пойму, тьма внутри. А ты держи, Ханзель, держи, я слышу, кажется, скрипят пружины.

Но у Ханзеля лопнуло терпенье. Лестница начала крениться, сперва едва заметно, потом сильней, еще сильней, потом ужасно сильно. Георг, вопя о помощи, исхитрился ловко спрыгнуть, однако ж ударился затылком о каменные плиты. Звякнули медные пуговки на кафтане, миг еще, и он, как ненужный сверток, упал вниз головой. Он легко отделался, сломал ключицу, но все-таки не мог присутствовать при том, как художник — назавтра — покидал шлосс Грюнинген.

Хофманн ждал потерянно в прихожей все с теми же пожитками: ранец, чемодан, кисти, папки, — но Рокентин с истинной любезностью с ним распрощался.

— Сожалею, что вы не могли сделать большего, Herr Maler. Вы позволите, однако, вам возместить потерянное время, я надеюсь.

— Нет-нет, у меня уговор был с Харденбергом, с ним я и объяснюсь. Так или иначе, — он прибавил твердо, — вы только не подумайте, что я совсем без средств.

Рокентин укрепился в убеждении, что эти художники совсем не так просты, и ему заметно полегчало.

— Искренне сожалею, что вы все время были наверху. Но вам туда доставляли все что нужно, а? Вас не морили голодом?

— Я пользовался примерным гостеприимством, — успокоил его Хофманн. — Я желаю мастеру Георгу скорейщего выздоровления.

Георг вскоре совсем оправился, но бушевал из-за того, что, покуда он лежал, конюший задал Ханзелю добрую порку и собирался вдобавок его уволить. Против решений конюшего никто возражать не смел, всех менее хаузхерр.

— Нет правды в этом доме! — бушевал Георг. — Художник этот совсем не смог сестру нарисовать, а перед ним расшаркивались. Ну а Ханзель — он делал только то, что ему было велено!

— Кто ему велел лестницу-то из рук выпустить, — возразил хаузхерр.

Путь Хофманна обратно в Дрезден лежал через Вайсенфельс. Обыкновенно он на спиртное не налегал, но сейчас душа его просила ободренья, а потому, когда остановился дилижанс, он вышел, зашел в "Дикаря" и там — увидел Фрица.

Вот уж некстати, подумал он, но ведь когда-то нужно и объясниться. Фриц распростер объятья:

— А-а, художник-портретист!

— Я зашел сюда, полагая, что ежели вы в Вайсенфельсе, то у себя дома, а о встрече с вами и не помышлял.

— Зачем глядеть так мрачно, Хофманн. Я уже получил известие, от самой Софи, о том, что вы не кончили портрета, и даже его не начинали. Спросить шнапса?

— Нет-нет, стакан простого пива, раз вы так добры, — крепкого Хофманн в рот не брал, боясь пойти по той дорожке, которая сгубила его родителя.

— Ну, хорошо, итак, поговорим. Вы, разумеется, сделали наброски?

— Сделал, да, и они ваши, ежели пожелаете, но я ими недоволен.

— Да, понимаю, нелегко нарисовать мою Софи. Но — знаете ли вы гравюру с автопортрета Рафаэля в третьем томе Лафатеровой "Физиогномики"?

— Знаю, да.

— Не кажется ли вам, что Рафаэль там — вылитая моя Софи?

— Не кажется, — ответил Хофманн. — Кроме глаз, в обоих случаях темных, сходства очень мало, — он понемногу успокаивался, прихлебывая кошмарное Einfaches[1], больше всего похожее на воду, в которой были сварены бобы. — Надеюсь, Харденберг, вы не сомневаетесь в моем уменье. Восемь лет я учился в Дрездене, прежде чем меня только допустили в класс живой натуры. Но от фройлейн фон Кюн я потерпел поражение, это правда. Сначала меня занимала обстановка — фон, — но очень скоро я оставил всякое попечение о фоне. Любезнейшая фройлейн меня поставила в тупик.

1. Простое пиво (*нем.*).

— Чутье художника никогда его не обманет, — сказал Фриц. — Оно верно всегда, затем что искусство и природа следуют одним законам.

— Да-да. Чистое ощущение не может быть в противоречии с природой. Никогда!

— Я и сам не совсем понимаю Софхен, — продолжал Фриц. — Потому-то мне и понадобился хороший ее портрет. Но, быть может, нам не следовало ожидать от вас...

— Ах, да я сразу разглядел, что она такое, — перебил Хофманн неучтиво. — Приличная, добродушная саксонская девочка, во цвете своих тринадцати лет, в более грубом отсвете тринадцати зим. — Он отметал все возражения, какие Фрицу удавалось вставить, он даже их не слушал, было не до них, так жадно он хотел растолковать свое. — Харденберг, в любом созданье, живое ли оно или то, что обыкновенно называем мы неодушевленным, есть порыв к сообщению, есть, есть, даже и среди существ совсем немых. Ставится некий вопрос, особенный вопрос у каждого созданья, хотя почти никто не может его облечь в слова, даже и владея даром речи. Вопрос этот раздается непрестанно, почти всегда едва заметно, почти неслышно, как издалёка — как колокол церковный из-за пажитей и нив. Всего лучше для художника, однажды глянув, тотчас сомкнуть глаза, замкнуть свой взор и слух, физический, но не духовный, чтобы отчетливей услышать этот вопрос. Вы вслушивались в него, Харденберг, не отпирайтесь, в этот вопрос фройлейн Софи, и вы старались его расслышать, хоть, полагаю, она сама не знает, что это такое.

— Я пытаюсь понять вас, — сказал Фриц.

Хофманн приставил руку к уху — очень странный жест для человека столь молодого.

— Я не слышу ее вопроса — и я не могу ее писать.

32. Путь *ведет вовнутрь*

Фриц не решался взять с собой художника на Клостергассе, где он непременно проговорился бы родителям насчет Софи. Делать нечего, пришлось его выпроводить из "Дикаря" и усадить в дилижанс, который отправлялся в Кельн.

Сразу идти домой Фрицу не хотелось, и он тихо побрел прочь из города и забрел на кладбище, которое так хорошо он знал. Вечер уже вовсю синел над ясной желтизной, и северное небо стояло легкое, сквозное, и делалось прозрачней и прозрачней, будто бы с тем, чтоб кончить откровеньем.

На кладбище вели железные ворота с золочеными вензелями по навершию. Муниципалитет Вайсенфельса предполагал расщедриться еще и на железную ограду, но покуда к воротам примыкал лишь деревянный палисад, кое-как уберегавший освященную землю от набегов пасторской скотины. Стоя по колено в пресвитерском навозе, коровы без любопытства смотрели на прохожих. Фриц шел мимо поросших травою всхолмий, вместе с зелеными межами почти уж канувших в туман. Как водится на кладбищах, валялись на земле забытые предметы — железная стремянка, корзинка для еды, даже лопата, — будто здесь непрестанно кипит работа, и вечно ей мешают. Кресты, железные, каменные, как прорастали из земли, и те, что меньше, стремились дотянуться до высоких. Иные повалились. Кладбище, в дни общих празденств служащее местом семейственных прогулок, заброшенным не назовешь, однако ж и ухоженным вы бы его не назвали. Повсюду торчали сорняки, бродило несколько гусей. Жалящие насекомые, взлетев с навозного двора, с кладбищенской земли, висели в нездоровом воздухе победной тучей.

Похрустывание и топот пасторских коров слышались и там, где старые могилы или пустые еще участки, отрезанные друг от друга загустевающим туманом, стали зеленеющими островами, стали зеленеющими покоями для одиноких дум. И на одном из них, чуть впереди, юноша, почти мальчик, стоял в прозрачной тьме, поникнув головой, весь белый, тихий и безгласный, сам как памятник. Вид его для Фрица был утешен, он знал, что юноша этот — хоть и живой, не смертен, но что теперь меж ними нет границы.

И Фриц сказал вслух:

— Мир внешний есть мир теней. Он забрасывает тени в царство света. Как все изменится, когда сокроется тьма, и тени минут. Вселенная, что ни говори, внутри нас. И путь ведет вовнутрь, всегда вовнутрь.

Он спешил на Клостергассе, с кем-то поскорее поделиться тем, что видел, но Сидония сразу сбила его вопросом, кто этот молодой человек, который так проникновенно говорил с ним в "Дикаре" — их Готфрид углядел. — О, это, видно художник, бедный! — Но почему же бедный? — удивился Фриц. — Да Готфрид говорит, у него в глазах стояли слезы. — И что ж портрет? Он написал его? — спросил Эразм. — Нет, — сказал Фриц, — у него не получилось.

Уж как он сам хотел простить Эразма. Они теперь обыкновенно ни словом не поминали о Софи. Фриц смотрел на брата, как на упрямого язычника.

— Но эскизы-то хоть есть? — спросила Сидония.

— Есть несколько эскизов, — ответил Фриц. — Так, легкие наброски — линия-другая, облако волос. Он заявляет, что ее нельзя нарисовать. Мой перстень — вот что меня тревожит, на нем предполагалось поместить уменьшенный портрет. А теперь я должен довольствоваться этой миниатюрой, будь она неладна.

— Никак не можешь оставить в покое свой перстень, — сказал вернувшийся из школы Бернард, бесшумными шагами вступая в комнату. — Вечно тебе надо гравировать его, опять гравировать. Без всякой гравировки лучше было бы.

— Да ты его не видел даже, — сказала Сидония. — Никто из нас не видел. — Она улыбнулась старшему брату. — А тебя, признайся, нисколько не печалит мысль о том, что твою Софи нельзя нарисовать?

Сидония отчаянно прикидывала, чего можно ожидать от Готфрида. Вдруг его спросят про незнакомца из "Дикаря", и, если спросит сам фрайхерр, он ему, конечно, выложит всю правду. Да, но Готфрид не знает даже, что молодой человек, которого он видел, — художник, а кроме того, Сидонию утешала мысль, что внимание отца всегда сосредоточено на очередном предмете, только на одном. Недавно, к облегченью матушки, он вновь допустил в дом Leipziger Zeitung. Затем его всецело поглотил вопрос о том, что вынес Фриц из поездки на копи и солеварни Артерна, затем он пожелал обсудить, вернее, высказать свое суждение о Буонапарте, который, что ни говори, кажется, малый с головой. До завтра, по крайней мере, на этом можно будет продержаться.

Фриц прошел по мрачному, тускло-лоснящемуся дому, не вслушиваясь в звуки вечерних гимнов, доносившихся из-за закрытых дверей кухни. Сначала — к матушке и маленькому Кристофу, тощему, как тень, от летней лихорадки.

— Ты здоров, Фриц? Не нужно ли тебе чего? Ты всем доволен?

Он рад бы попросить у нее чего-нибудь, о чем-нибудь спросить, но ничего не мог придумать. Вдруг она спросила:

— Ты что-то скрываешь от отца?

Фриц схватил ее за руку.

— Верьте, матушка! Я все ему скажу... все, то есть что...

С силой, совершенно неожиданной, она закричала:

— Нет, Христом-Богом тебя молю, что бы это ни было, не надо!

33. В Йене

Еще всерьез не принявшись за работу, но заключив заране по Артерну, каково придется ему хлебнуть, Фриц отправился в Йену, повидать друзей. Тридцать миль Гауль готов был одолеть, хоть и без особенного рвения.

— Харденберг, — говорила Каролина Шлегель, — сто лет, как в Йену глаз не кажет.

— Будем надеяться, что мы вдоволь его наслушаемся, как бывало, — протянула Доротея Шлегель, — пока он не свернет на Грамматишештрассе и не начнет распространяться про Абсолют.

Иоганн Вильгельм Риттер, частый гость у нее в доме, ей напомнил, что Харденберга нельзя мерить общей меркой, даже общей меркой Йены, где пятнадцать обитателей из двадцати — профессора.

— Для него нет истинной границы между видимым и невидимым. Все существующее тает в мифе.

— То-то и беда, — перебила Каролина Шлегель. — Бывало, он нам растолковывал, как с каждым днем мир все стремится к бесконечности. А теперь, мы слышим, вдруг занялся добычей и производством соли и бурого угля, а уж они-то в мифе не растают, пусть Харденберг хоть из кожи лезет вон.

— Сам Гёте управлял серебряными приисками герцога Веймар-Саксонского, — вставил ее супруг.

— И весьма неудачно. Гёте обанкротил эти прииски. Что до Харденберга, он, я полагаю, со своими прелестно справится, вот чего я не могу ему простить. Он станет наконец совершенно *меркантилистиш.* Женится на этой племяннице крайзамтманна, сам, глядишь, в свое время крайзамтманном заделается.

— Мне жаль, что он себе позволил стать мишенью для насмешек, — сказал Риттер.

— Но мы же не над философией его смеемся, даже не над этой соляной манией. А просто оттого, что у него большие руки-ноги, — сказала Каролина Шлегель. — Мы все его любим.

— Любим от души, — сказала Доротея.

Друзья бродили по осенней Йене, в бору над городком, а то вдоль Парадиза — так йенцы называли тропу по-над Заале. Порой и Гёте, нередко там проводивший лето, тоже гулял по Парадизу, сложив в задумчивости руки за спиной. Гёте было теперь уже сорок шесть лет, и шлегелевские дамы за глаза величали поэта: Его Старейшество или Его Божественное Ве-

личество. Нарываться на людские скопища Гёте не любил. При его приближенье группы гуляющих ловко дробились, прежде чем ему придется столкнуться с ними. Фриц отставал, не посягая на внимание великого человека.

— Меж тем вы бы многое могли ему сказать, — внушала ему Каролина Шлегель. — Могли бы с ним побеседовать, как человек молодой, как начинающий поэт — с поэтом, почти несокрушимым.

— Но у меня нет ничего, достойного его внимания.

— Ах, ну и ладно, — отвечала она, — тогда поговорите хоть со мною, Харденберг. Поговорите со мной про соль.

На музыкальные вечера и *конверсационе* в Йене народ валил валом, но не каждый там пускал острое словцо, не все и рот открывали. Иные неловко переминались с ноги на ногу, не сомневаясь в том, что званы, но теперь, придя, не уверенные в том, что здесь припоминают, как их зовут.

— Дитмалер!

— Харденберг! Я сразу, ты входил еще, тебя узнал.

— А как я входил?

Не мог же Дитмалер взять и сказать: "Ты все такой же смешной, и каждый тебе все так же рад". Разрыв меж невозвратными студенческими днями и настоящим — саднил, как рана.

— Ты теперь хирург? — спросил Фриц.

— Не совсем, но скоро стану. Я, видишь, из Йены недалеко уехал. Вот получу диплом и неплохо заживу. Мать моя жива, но младших братьев у меня теперь уже нет, ни сестер.

— Gott sei Dank[1], у меня и тех и других тьма! — крикнул Фриц порывисто. — Едем же со мной, ты погостишь в Вайсенфельсе. Друг, милый, едем!

Вот так Дитмалер и стал свидетелем Большой Стирки и со всею искренностью заверил фрайхерра фон Харденберга, что он, Дитмалер, ничего не знает о том, чтобы сын фрайхерра путался с молодой мещаночкой или с иной какой-то женщиной.

34. *Садовый флигель*

Рокентины, у себя в Тенштедте узнала Каролина Юст, позвали Фрица в крестные к маленькому Гюнтеру, новому мла-

1. Слава Богу (*нем.*).

денчику. “По рукам-по ногам опутать его хотят”, — подумала она.

Эразм, единственный союзник, ей писал из Хубертусберга:

“Я готов смириться с тем, как уж изъяснял вам, что буду играть в жизни Фрица куда более скромную роль, и себя заране убеждаю в том, что я уже смирился. Но ведь не с тем, не с тем, что его отнимет у нас жадное дитя. Казалось бы, раз Софи фон Кюн — дитя, она непостоянна, она еще переменит, глядишь, свое решение. А вот поди ж ты — я не могу сказать, чтобы мысль эта тешила меня”.

Фриц вернулся в Тенштедт и сразу прошел на кухню, объявляя, что слишком пропылился на летних дорогах, чтоб сразу вваливаться в гостиную.

— А крайзамтманн где? Где фрау Рахель?

Где они — да какая тебе разница? — вертелось на языке у Каролины. Тебя так долго не было, ты можешь наконец поговорить с той, кто в самом деле тебя поймет. Не ты ли говорил, что мы — как две пары часов, поставленные на одно и то же время? Вслух она сказала:

— Они в садовом флигеле. Да! Он построен наконец.

— О! Надо взглянуть, — сказал Фриц. Он умывался у колодца, но, когда она накинула шаль, с глубокой нежностью прибавил:

— Милый Юстик, не надо думать, что я забыл, о чем мы толковали так недавно.

Каролина как раз думала, что он забыл все-все — или почти все. Потом, утершись полотенцем, он повторил:

— Никогда напрасно сердце не вздыхает, Юстик. — И она сама не знала, печалиться ей, или нет. Во рту стояла горечь — как смертная слюна.

Двадцать минут целых идти с ним вместе, к этому саду, — на задворках под названьем Runde[1]. Он ей предложит руку. Но ведь на каждом шагу соседи и знакомые станут приставать: “Ах, фрайхерр, никак вы из Йены воротились”. — “Да, из Йены”. — “Ах, мы так рады вас видеть в добром здравии, так рады, что вы из Йены воротились”. А сами, как поутру встают в Тенштедте, так ввечеру, небось, там же ложатся спать — примерно восемнадцать тысяч раз подряд.

— А теплынь-то, теплынь, — неслось со всех сторон. — В этакую погодку, все бы жить и жить.

Участок Юстов был невелик и без деревьев, но они его купили уже возделанный, засаженный: овощи, жимолость, мах-

1. Круг (*нем.*).

ровые розы. Сам флигель был построен так, как должны строиться флигели, заказанные одному из двух мастеров-плотников Тенншедта, и живописно обшит резными и позолоченными досками. Название не поражало скромностью: Der Garten Eden[1].

Юсты сидели в дымном облаке крайзамтманновой трубки, рядышком, на новенькой скамье, у новенького входа. Больше на скамье никто б не уместился. Тоже — общий замысел местных садовых флигелей. Оба смотрели блаженным взглядом в сторону Runde в удушливом, слоистом запахе: жимолость, хмель, табак.

— Привет вам, благословенная чета! — Фриц крикнул издали.

Юст и сам не мог бы отрицать: в последнее время он просто помешался на подробностях постройки. Он возил Фрица в Артерн — ради ученичества, чтобы слушал все внимательно, вникал в противоречья солеваров. Но хотя велел Фрицу вести дотошнейшие записи, домой вернулся он все с той же нетерпеливой, жадной мыслью о точном размещении Vorbau, портика для своего флигеля. Под каким углом будет туда заглядывать утреннее солнце? Солнца закатного, каждому известно, лучше избегать.

Даже теперь, пока Рахель расспрашивала о своих йенских приятельницах (без прежней легкой колкости, заметил Фриц), крайзамтманн опять свернул на свой Vorbau. Селестин Юст, всегда казалось Фрицу, знал, что такое довольство, но никак не страсть, — и потому мог быть сочтен счастливым человеком. Теперь Фриц понял, как он ошибался. Самое недовольство — вот что делало Юста поистине счастливым. Хотя, кроме как разрушив и снова перестроив весь флигель, с Vorbau уже решительно ничего нельзя было поделать, Юст не мог угомониться, он без конца достраивал и перестраивал его у себя в уме. Вселенная, что ни говори, внутри нас.

35. *Софи холодна, холодна, как лед*

Софи к Фрицу: ...У меня кашель и насморк, но мне, кажется, легче, когда я думаю о вас. Ваша Софи.

Осенью 1795 года Фриц кое-как добрался до Грюнингена и нашел там беззаботную Софи. Она играла с Гюнтером, чей

1. Эдем (*нем.*).

жизненный опыт был до сих пор, очевидно, вполне положительный, ибо он улыбался всему, очертаньями напоминающему человека.

— Он гораздо крепче нашего Кристофа, — проговорил Фриц с легким уколом сожаленья. Гюнтер ничего не делал вполовину. Подхватив от домашних кашель, он его приберегал до ночи, чтобы тогда, как большого лающего пса, эхом пустить по всем коридорам дома.

— Да, он кашляет и улыбается всем без разбору, — сказал Фриц, — но все же я чувствую себя польщенным, когда очередь доходит до меня. Обманываться так приятно.

— Харденберх, а почему вы мне не писали? — Софи спросила.

— Милая, милая Софи, я вам писал, я каждый день писал на той неделе. В понедельник я вам объяснял в письме, что, хоть его и создал Бог, мир только тогда и существует, когда мы его воспринимаем.

— И вся эта дрянь, значит, наших собственных рук дело! — вскинулась Мандельсло. — Говорить такое юной девочке!

— Все, что до тела касается, не наших рук дело, — сказала Софи. — Вот у меня левый бок болит, не сама же я так устроила.

— Ну, хорошо, давайте друг дружке жаловаться, — сказал Фриц, но Мандельсло объявила, что она совершенно здорова, всегда здорова.

— А вы не знали? Все знают, что я родилась на свет для того, чтобы быть всегда здоровой. Мой муж в этом уверен, уверены все в этом доме.

— Почему вы раньше не приехали, а, Харденберх? — спросила Софи.

— Мне теперь много приходится работать, — он ответил. — Если приведется нам венчаться, мне нужно много, много работать. Я ночами сижу над книгами.

— А зачем вам так много читать? Вы теперь уж не студент.

— Был бы студент, не читал бы много, — сказала Мандельсло. — Студенты не читают. Они пьют, студенты.

— А почему они пьют? — спросила Софи.

— Потому что хотят познать всю истину, — сказал Фриц, — и это приводит их в отчаяние.

Гюнтер было задремал, но теперь проснулся и что-то проворчал в знак своего несогласия с Фрицем.

— Ну и чего бы им стоило, — Софи спросила, — познать всю истину?

— Вот этого как раз они не могут подсчитать, — ответил Фриц, — зато прекрасно знают, что надраться можно за три гро́ша.

Ей теперь тринадцать лет, будет четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Проходит время, время. Господь, можно сказать, остановил часы.

Но она холодна и холодна, вся холодна насквозь.

36. *Доктор Хоффрат Эбхарт*

В Грюнингене, не успел Фриц уйти, Мандельсло спросила у Софи, зачем та помянула свою боль в боку:

— Сама же говорила — мы ничего ему не скажем.

— Он ничего не должен знать, — подтвердила Софи важно.

— Так зачем же ты сказала?

— Ну, хотела просто поговорить про это, пока он здесь. Он ничего не заметил, знаешь, Фрике, я смеялась, и он ничего не заметил.

К началу ноября боль не унялась. Это была первая серьезная болезнь Софи, собственно, вообще первая ее болезнь. Сначала думали не ставить в известность Фрица, но 14 ноября, в полдень, когда он вернулся в дом Юстов, горничная, девушка Кристель, внося ему кофий, сообщила, что его дожидается посыльный. Посыльный был из Грюнингена. Чувства у Кристель были смешанные: она хотела во что бы то ни стало удержать молодого фрайхерра в доме. Заявился, наконец, а стало быть, думала Кристель, он наш, он барышнин.

“Сначала я не очень испугался, — писал Фриц Карлу, — но узнавши, что она больна, — моя Философия больна, — я известил Юста (мы только-только начали с ним поверять счета) и без дальнейших объяснений отбыл в Грюнинген”.

— Что ж я теперь фройлейн Каролине-то скажу, — разволновалась Кристель. — Оне вон на базар пошли.

— Скажешь точно то же, что мне сказала, она к этому точно так же отнесется, — был его ответ.

Боль у Софи в боку была первым признаком опухоли, сопряженной с чахоткой. Эти боли, считается, иногда проходят сами собой. Хофрат Фридрих Эбхарт надеялся на такой исход, он полагался на свой опыт. О браунизме он ничего не знал.

В своих “Elementae Medicinae”[1] Браун приводит таблицу возбудимости при всех видах расстройств, в которой идеальное соотношение означено цифрою 40. Фтизис, начальная стадия чахотки, в этой таблице далеко не достигает 40. Бра-

1. “Основы медицины” (*лат.*).

ун, следственно, в случаях фтизиса предписывал для поддержанья в пациенте желанья жить — разряды электричества, алкоголь, камфару, наваристые супы.

Ни одно из этих средств доктору Эбхарту на ум не приходило, меж тем диагноз он поставил верно. Оно неудивительно: каждый четвертый пациент доктора Эбхарта умирал чахоткой. Фройлейн фон Кюн молода, конечно, но молодость в таких случаях — не сильная подмога пациенту. У доктора Эбхарта не было случая послушать начало "Голубого цветка", но приведись ему такое, он бы мигом распознал, что́ сей цветок обозначает.

37. Что *такое боль?*

Кашель Софхен вскоре оттеснил Гюнтеров кашель в тень. При кашле этом ее так же распирало, как от смеха, и ей приходилось, бедной, не только боль терпеть, но и не хохотать.

А что, если бы боли вовсе не существовало? Когда они были все маленькие в Грюнингене, Фридерике, тогда еще не Мандельсло, но уже всегда при деле, соберет их, бывало, всех вместе после вечерни и рассказывает воскресную историю.

"Жил-был один честный купец, — она рассказывала, — и у купца у этого никогда не болело ничего, не то, что у нас с вами. От роду у него не болело ничего, и так дожил он до сорока пяти, и, когда заболел, совсем не догадался, звать доктора и не подумал, и вот однажды ночью слышит он: отворяется дверь, — сел купец на постели и видит в ярком лунном свете кто-то незнакомый входит в комнату, а это — Смерть".

Софи не могла понять, в чем суть истории.

— Вот повезло ему, да, Фрике?

— Ничуть не повезло. Боль для него могла бы стать остереженьем, он понял бы, что болен, а так — остереженья никакого не было.

— Не надо нам остережений, — галдели дети, — без них хватает непонятного.

— Но у того купца не осталось времени обдумать свою жизнь, покаяться.

— Каются одни старухи да говнюки! — орал Георг.

— Ты, Георг, несносен, — сказала Фридерике. — Тебя пороть бы надо в школе.

— Меня порют в школе, — сказал Георг.

Хофрат прописал: прикладывать к больному боку Софи припарки на льняном семени, и они были такие горячие, так

жгли, эти припарки, что на коже оставался невытравимый след. Льняное семя пахло сквозным лесом, грузными мебелями, тяжелыми смазными сапогами ночного сторожа, — их бесперебойно поставляет муниципалитет, ведь сторож обходит улицы во всякую погоду, — еловой свежестью, сосной. Так ли, иначе ли, Софи понемногу полегчало.

"Liebster bester Freund[1], — писал Фрицу Рокентин, — каково поживаешь? Здесь у нас все идет опять по-старому. Софхен пляшет, скачет и поет, требует, чтобы ее везли на ярмарку в Гройсен, ест за обе щеки, спит, как сурок, держится прямо, как сосна, забросила отвары и лекарства, принимает ванну дважды в день здоровья ради и чувствует себя, как рыба в воде".

"Порой хотелось бы мне быть таким вот хаузхерром, — писал Фриц Карлу из Тенштедта, — всё ему трын-трава, однако ж то, что на сей раз он сообщает, есть истинная правда. Моя милая, моя бесценная Философия не спала ночей, горела в лихорадке, два раза у ней шла горлом кровь, она шелохнуться не могла от слабости. И этот хофрат — возможно, кстати, он дурак — подозревал воспаленье печени. А теперь — с двадцатого ноября — нам сообщают, да мы и собственными глазами можем убедиться, что всякая опасность миновала".

Он просил Карла прислать с надежным человеком две сотни устерсов — этих прямо в Грюнинген, для ублажения болящей, — а в Тенштедт, самому Фрицу, зимние штаны, его шерстяные чулки, его santés (теплые шарфы под камзол), материю для зеленой куртки, белый кашемир на камзол и штаны, и шляпу, и не одолжит ли его Карл своими золотыми эполетами. Он объяснит потом, зачем ему все это занадобилось, и он приедет в Вайсенфельс и там пробудет, пока der Alte[2] гуляет со старыми друзьями в Дрездене на ярмарке, как водится у них раз в году.

38. К*аролина в* Г*рюнингене*

Странно — в Тенштедте была своя ярмарка, и даже, как водится, со своею особинкой — Kesselfleisch[3]: свиные уши, пятачки, обрезки сала со свиной шеи варятся в шнапсе, приправленнном перечною мятой. Над большими железными

1. "Самый дорогой, самый лучший друг" (*нем.*).
2. Старик (*нем.*).
3. Мясо в котле (*нем.*).

котлами витает дух хлева, дух перечной мяты. Есть и музыка, с позволения сказать, и торговцы из окружных деревень выходят из рядов, и в пляс — ради сугрева. Каролина давно привыкла ходить на эту ярмарку, сначала ходила с дядей, потом уж с дядей и его женой, и на этот год опять туда отправилась.

— Эх, молодая еще, и всем взяла, да жаль суженого нет, свиным пятачком ее попотчевать!

Дядюшка сказал:

— Тебе бы не мешало, кстати, в замок Грюнинген понаведаться, поздравить их с выздоровленьем дочери. И почему ты на той неделе со мною не поехала, когда мне пришлось по делу быть у Рокентина?

Каролина никогда не спрашивала и сейчас не спросила, что думает дядя о Харденберговой помолвке — ведь он о ней, давно, конечно, знал, — и как он относится к тому, что фрайхерра держат в неведенье так долго. Ему и самому, она не сомневалась, неприятно таиться от старого приятеля, тем более фрайхерр ему доверился, поручил пригляд за старшим сыном. Но она не сомневалась и в том, что дядюшка, как большинство мужчин, считал лишь то, что облечено в слова — и лучше в слова написанные, — достойным своего вниманья.

Для посещенья Рокентинов крайзамтманн нанял коня, рессорную двуколку. Остановились в Гебезее, где господский дом принадлежал семейству Олдерхаузен — семейству, то есть давно почившей первой супруги фрайхерра. “Теперь имение в упадке. Н-да, не повезло”.

В “Черном парне” спросил он шнапсу и внимательно оглядел племянницу, за несколько месяцев впервые, поскольку, любя ее, как прежде, благополучие и здоровье Каролины всецело поручил Рахели. Крайзамтманн чувствовал, что он как будто в чем-то виноват.

— Тебе, поди, надоело слушать про этот дом и сад, душа моя?

Она улыбнулась. Не в том, стало быть, ее печаль, — про себя отметил Юст. Надо иначе приступиться. У женщин — у них в разном возрасте разные печали, но что-то их уж вечно точит.

— Да, я вот все забываю тебе сказать, я в Треффурте, тому несколько недель, знаешь, видел твоего кузена Карла Августа.

Та же улыбка.

— И мою сестру, твою тетку Луизу, и я...

— И вы подумали, что из нас бы вышла неплохая парочка. Но я уж сколько лет не видала Карла Августа, и он меня моложе.

— А ни за что не скажешь, Каролинхен. Ты немного бледненькая всегда, но...

Каролина положила кусок сахару, налила немного воды себе в стакан.

— И не надо вам с тетей Луизой хлопотать о моей будущности, дядюшка. Уж подождите, пока все надежды минут и позади останется берег юности, печали.

— Это из поэмы из какой-то, что ли? — спросил Юст с подозрением.

— Да, из поэмы из какой-то, что ли. Сказать вам по правде, мне мой кузен совсем не нравится.

— Милая, сама же ты сказала, что уж сколько лет его не видела. Я, кажется, могу тебе в точности напомнить, сколько лет.

В верхнем внутреннем кармане зимнего сюртука Юст держал тесно исписанный дневник за последние пять лет, и он стал охлопывать карман, как бы в надежде, что дневник на это отзовется.

— Кузен был тогда противный, он и теперь противный, — продолжала Каролина. — И он вдобавок, я уверена, гордится своим постоянством.

— Уж чересчур ты неподступна, Каролина, — сказал дядюшка, морщась, как от боли, и она подумала, что он, кажется, разоткровенничался больше, чем хотел, и лучше бы не дать ему терзаться, а то ведь он, чего доброго, сейчас начнет терзаться из-за того, что оскорбил ее чувства. Но отвлечь его всегда нетрудно было.

— Меня, признаться, избаловал Харденберг, — она сказала. — Признаться, разговоры с поэтом мне голову вскружили.

Прибыв в замок Грюнинген, с облегчением она узнала, что Рокентин уже отбыл по делам. Крайзамтманн поспешил за ним следом. Каролина поздоровалась с безмятежной хозяйкой дома, повосхищалась Гюнтером, которому было доставлено колечко слоновой кости, для зубов, вместе с фарфоровой коробкой конфет для Софи, марципанами и пряниками для Мими и Руди и еще парочка кроликов — в хозяйство.

— Добрая, щедрая душа, — сказала фрау Рокентин. — Жилец ваш, Харденберг, здесь, знаете, и брат его Эразм, да, на сей раз Эразм. Он частенько с собой привозит кого-нибудь из братьев.

Сердце Каролины невпопад стукнуло и покатилось.

— Я думаю, Харденберг сегодня вернется с нами вместе в Тенштедт, — она сказала.

— Ах, да-да, а сейчас они в утренней комнате. Здесь всем рады, неважно, кто придет, — сказала фрау Рокентин, и для нее это было и впрямь неважно. — Только вот я не знаю, на что Харденберг этакую тьму устерсов прислал. Вы любите устерсов, милая? Они же портятся, в конце концов.

* * *

Утренняя комната. Харденберг, Эразм, Фридерике Мандельсло, Георг, в первый раз, как видно, мучающий флейту, несколько собачек, Софи в бледно-розовом платьице. Когда Каролина ее видела в последний раз, она ее не отличала от остальных детей. Она и сейчас показалась ей ребенком. Каждую ночь Каролина молилась Господу, чтобы ее избавил от собственных детей, пусть даже не совсем таких, как эта Софхен.

Харденберг уселся рядом со своею Философией, запрятав глубоко под стул ножища. Эразм тотчас шагнул навстречу Каролине, с радостным лицом: не ожидал, Софи привела в восторг, совершенно неподдельный, эта коробка конфет; она больше не будет жевать табак, да ну его, отныне — одни конфеты.

— У тебя от них рези будут, — сказала Мандельсло.

— Меня и так вечно распирает. Я уж Харденбергу говорю, пусть он меня зовет своей пищалкой.

Каролина повернулась к Эразму — как к единственному, выжившему после кораблекрушения вместе с нею. "Много ли мне надо, — она думала, — хоть минутку разделить с кем-то, кто чувствует то же, что и я". Эразм принял ее руку в свою горячую ладонь, что-то начал было говорить, но минутка прошла, и снова он повернулся к Софи с ласковой улыбкой, с бессмысленной улыбкой, как у пьяного.

И этот тоже, поняла Каролина, и этот влюблен в Софи фон Кюн.

39. *Ссора*

В стихотворенье на тринадцатый день рождения Софи Фриц писал: не верится, но было время, когда он не знал Софи, он тогда был "вчерашним человеком", беспечным, легкомысленным и прочее. Вчерашний человек отныне и вовеки ступил на верную стезю.

— Но он такой противный был, Фрике, — рассказывала Софи сестре, — и мы поссорились, и все, все кончено между нами.

Это было тем более несправедливо, что Софи сама только и нарывалась на ссору с Фрицем: подруга, Йетта Голдаккер, сказала, что им с Харденбергом непременно нужно поссориться. Милые должны браниться, Голдаккер пояснила, от этого крепчают узы. Из-за чего браниться? — Софи спросила. Из-за любой безделицы, и чем пустяшнее, тем лучше. Однако — они сидели-разговаривали с полчаса, а то и меньше — и

вдруг ее Харденберга взорвало, будто какую-то пружину в нем перекрутили, и пружина лопнула:

— Софи, вам тринадцать лет. И как проводили вы время до сих пор? В первый год, я полагаю, вы улыбались и сосали грудь, как теперь Гюнтер. Во второй год, ведь девочки скорее развиваются, чем мальчики, вы научились говорить. Первое слово ваше было — да, какое слово? — "дай!" В три года жадность ваша возросла, вы допивали сладкое вино из рюмок взрослых. В четыре вы научились хохотать, и вам это пришлось по вкусу, вы стали хохотать над всем и вся. В пять лет вас взялись воспитывать. К одиннадцати, ничему не научившись, вы обнаружили, что стали женщиной. Вы испугались, думаю, вы побежали к милой матушке, и та объяснила вам, что тревожиться не надо. Потом до вас дошло, что при вашей щедрой внешности — не темной и не светлой — вам нужды нет узнавать, и уж тем более говорить — ничего разумного. Ну а теперь вы плачете, конечно, чувствительность сама, посмотрим же, надолго ли вас хватит, моя Философия...

Он не умеет себя вести, — рыдала Софи. Так говорили ей, когда бывали ею недовольны, более сильного упрека она не знала. Фриц отвечал, что был в Лейпцигском, Йенском и Виттенбергском университетах, и уж там, верно, научился себя вести получше, чем какое-то тринадцатилетнее дитя.

— Тринадцатилетнее дитя, подумай, Фрике! Можешь ты такое вообразить, можешь ты такое объяснить?

— Но сам-то он как объяснил?

— Сказал, что я его измучила.

В последовавших письмах Фриц себя честил невоспитанным, неучтивым, невозможным, недостойным, несносным, наглым и бесчеловечным.

Мандельсло ему советовала это прекратить.

— В чем бы ни была причина ссоры, она ее забыла.

— Но не было причины, — сказал Фриц.

— Тем хуже, все равно она ее забыла.

Тогда же он обратился с ходатайством к принцу Фридриху Августу Третьему в Дрездене о соискании места инспектора соляных копей, на жалованье, у курфюрста Саксонского.

40. К*аково это управлять соляными копями*

У Фрица было одно дело — вести записи, молча отмечая все, что можно, на собраниях дирекции, которые проводились при соляных службах Вайсенфельса. Председательствовал

фрайхерр фон Харденберг, ему споспешествовали директор соляных копей берграт Хойн и инспектор соляных копей берграт Зенф[1]. Фамилия приводила в восторг Бернарда — инспектор соляных копей Зенф! — и только Бернард вслух поминал несчастный случай, который знали все: Зенф подделал роспись, протратив назначенные для казенной стройки суммы на возведение собственного дома, попался и был присужден к двум годам каторги, позже замененным на восемь недель тюрьмы.

— Вот жалость, — говорил Бернард, — а то бы можно с ним поболтать о том, каково сидеть на хлебе и воде.

— Сам можешь поставить этот опыт здесь, дома, когда вздумается, — отвечала Сидония.

Хойн был из совсем другого теста. Всего на несколько лет старше обоих своих коллег, он казался дряхлым и сам себя называл "Старым Хойном, живым архивом соляных копей". В длиннополом сюртуке грубой ткани, в которую будто изначально впряли пыль, он был как те подземные духи сумерек, которые редко, нехотя, показываются на белый свет — и не к добру, не к добру. Быть может, это из-за белесой кожи так казалось, из-за миганья, скрипа. "А ходящий-то архив, поди, страдает ревматизмом". Хойн, дай срок, мог ответить на любой вопрос. Сверясь с гроссбухами — затем разве, чтобы убедиться: они подтверждают все цифры и детали, какие он сам уже назвал. "Попробовали бы не подтвердить", — думал Фриц.

В Зенфе, напротив, дотлевала подавленная сила редкого ума, вследствие дурацкой незадачи обреченного не пользоваться впредь своей изобретательностью. Через определенные промежутки времени каждому, кто связан с копями и солеварнями, дозволялось представлять в письменном виде свой план усовершенствования работ. В тщательно продуманном труде, который некогда, он надеялся, будет увенчан его именем, Зенф предлагал: соль Тюрингии и Саксонии выпаривать отныне не в железных чанах над древесными кострами при температуре восемьдесят градусов по стоградусной шкале, но — пользуясь солнечным теплом. Потребуется куда меньше солеваров, и домов для них не надо строить. Когда же от проекта использования солнечной энергии грубо отмахнулись, Зенф предложил удвоить число колес на тачках, вывозящих рапу на поверхность. "Директор фрайхерр фон Харденберг рассмотрел этот план, — записал Фриц, — и отметил кратко: "Quad potest fieri per pauca non debet fieri per

1. В переводе с *нем.* — горчица.

plura"[1]. (Где можно обойтись меньшими средствами, ими ограничься.) Инспектор соляных копей Зенф с жаром возражал, что этак не сдвинешься вперед, мелочная экономия есть путь к застою. Так или иначе, в грядущем девятнадцатом столетии, когда, если верить Кантову пророчеству, человек научится, наконец, властвовать собой, и самим тачкам, надо полагать, не будет места. Директор соляных копей Хойн заметил, что, если так, не стоит и время тратить на усовершенствование их. Инспектор Зенф сказал, что решение директора для него закон, но он не станет прикидываться, будто им доволен.

— Я исполнял все, что вы мне поручали, — Фриц сказал отцу, — и впредь буду исполнять, буду даже еще больше стараться. Но вы не можете от меня ожидать, что за несколько месяцев я сделаюсь как старый Хойн.

— Не могу, к несчастью, да и не ожидаю, — отвечал фрайхерр, — даже если тебе суждена долгая жизнь, Вильгельму Хойну ты уподобишься едва ли.

Прежде, обходя округу, Фриц любовался древними вершинами. Теперь он жадно озирал предгорья, кряжи, взором старателя в них прозревая медь, серебро, лигнит. Как настоящий горный инженер, облачась в серую робу и штаны шахтера, он спускался в штольни.

— Твой сын готов поселиться под землей, — говорил Юст фрайхерру. — Он и на свет не хочет вылезать... Я остерег его, конечно, чтобы руки шахтерам отнюдь не пожимал, они это могут счесть дурной приметой. Он огорчился.

Фриц покрывал страницу за страницей схемами разведки новых залежей лигнита, описаниями способов, как усовершенствовать обжиг извести, метеорологическими сводками, которые могли помочь при очистке рапы, доводя ее до более высоких результатов, заметками о правовой стороне солеварения. Но он себя видел и геогностом, натуралистом, который, как сам он говорил, явился "на совсем новую землю, к темным звездам". Горное дело представлялось ему не наукой — искусством. Кто, как не поэт, художник, услышит разговор утеса со звездой? А эти кряжи и предгорья с их драгоценным грузом металлов, угля, соли — не суть ли они следы тех троп, какие проложили издревле, ступая по земле, звезды и планеты?

"Что было, то повторится вновь, — он писал, — но на каком витке истории они вернутся и будут бродить средь нас, как некогда бродили?"

1. "Там, где можно достигнуть многого малым, не следут употреблять большего" (*лат.*).

Каролина Юст мужественно выслушивала все, что он узнавал и чем ему не терпелось поделиться. Она сидела за шитьем, покуда Фриц продирался сквозь дебри "Продолжения отчета о приобретении угленосного участка земли под Мертендорфом".

— Когда эти данные подтвердятся, не может быть решительно никаких сомнений относительно будущих схем приобретения, и смело можно утверждать, что крестьяне непременно значительно поднимут цены в сравненье с...

— И ведь как пить дать, поднимут, — сказала Каролина. — Но когда вы делали этот отчет?

— Я его не делал, он уже был сделан. Мне следует учиться делать отчеты об отчетах. В этом, если угодно, меня наставлял ваш дядюшка.

— Вы были его лучший ученик. Едва ли он когда возьмется за другого.

— И тем не менее отец не принимает меня всерьез.

— Это вы сами его всерьез не принимаете.

— Не ему ли, отцу, следовало похлопотать о месте для меня, о месте с жалованьем? Я мог бы рассчитывать сначала хоть на 400 талеров.

Она молчала: вдевала новую нитку в иголку.

— Юстик, а ведь как часто вы подсчитывали, небось, сможете ли *вы с ним* вести хозяйство на такую сумму!

Ага, его воображенье, стало быть, обскакало ее собственное, и горькая разулука с Нежеланным вдруг обернулась денежным вопросом! У Нежеланного, выходит, нет оплачиваемого места, у него жалованья нет! Каролина возмутилась. Как бы она ни раскаивалась с первой же минуты в своей выдумке, но выдумка была — ее, и более ничья. Это она, она сама, пусть сдуру, создала Нежеланного, и ее коробило, что из него делают недотепу (ему же, как-никак, за тридцать!), неспособного содержать жену. Его уничижают. Нет, надо огорошить Харденберга.

Обыкновенно это легко ей давалось. И она ему сказала — вполне правдиво, — что хоть от всей души сочувствует ему в поисках места, но относительно профессии самой, она должна признаться, ее посещают известные сомненья. Эразм займется лесным хозяйством, если окончит курс в Хубертусберге. Карл и Антон будут солдаты, тут, положим, не ей судить, не ее ума это дело, но — извлечение солей и минералов из земли... ах, да видела она, не раз видела все эти солеварни в Халле и Артерне, видела, вдыхала этот удушливый желтотемный дым над взвесями под Фрайбургом и не может об этом думать иначе, как о насилии над Природой, которая никогда не стала бы творить подобного уродства.

— Мы ведь так часто, Харденберг, с вами говорили о Природе. Не далее как в среду вы говорили за столом, что, хотя культура человеческая и промышленность могут развиваться, Природа пребудет неизменной, и наш первейший долг уважать те требования, какие она к нам предьяляет, и... — не удержалась, перешла черту, какую сама же себе запретила преступать, — вы говорили, что Софи — сама Природа.

И — зажмурилась, чтобы не видеть его лица. А Фриц уже кричал:

— Ах, Юстик, и ничего-то вы не поняли! Горное дело не вымогает у Природы ее тайн, оно их высвобождает! Вообразите, что в недрах вы обнаруживаете плененных, древних сынов Матери-Земли, которых мы затаптываем в грязь! Да по мне, это как встреча с Королем металлов, который с надеждой вслушивается в стук кирки и ждет, когда старатель одолеет все препятствия, чтоб вывести его на свет! Его освободить, Юстик! Что чувствует Король металлов, впервые подставляя лицо солнечным лучам!

Тут бы ей сказать: “Прелюбопытные теории, а на собрании дирекции вы их, случаем, не излагали?”, но слова не шли с языка. Тот же самый голос читал ей первую главу “Голубого цветка”. Фриц меж тем уже тащил из папки новую страницу, исписанную острым ломким почерком — еще отчет об отчете, на сей раз итог, и схемы, схемы: точки кипения поваренной соли, соляные удобренья.

41. *Софи в четырнадцать лет*

За два дня до четырнадцатилетия Софи, 15 марта 1796 года, в годовщину своей помолвки — все не благословлённой, все даже не объявленной отцу — Фриц отправился к тенштедтским ювелирам, чтобы снова изменили его перстень. На перстне, он объяснял, должен быть крошечный портрет Софи, по той миниатюре, которая никому не нравилась — но делать нечего. Правда, это выражение лица, вспугнутое, ждущее, было на ней схвачено, да и смешенье это — темного со светлым. На обороте велел он выгравировать слова — *Sophie sey mein schuz geist* — Софи, будь моим ангелом-хранителем. В стихах на день рожденья он писал:

Что искал я, то нашел,
Что нашел, меня искало.

В июне 1796 Фриц наконец-то написал и отцу, и матери.

Любезный батюшка,

не без смущенья шлю я к Вам это письмо, на что так долго не решался. Давно уж было бы оно отослано, ежели бы несчастные обстоятельства мне в том не воспрепятствовали. Все надежды мои я полагаю на вашу дружественность и сочувствие. Нет ничего дурного в том, что лежит у меня на сердце, но часто в предмете этом родители и дети не достигают понимания взаимного. Вы, я знаю, всегда готовы быть покровителем и другом детей своих, но Вы — отец, а часто любовь отеческая противуречит устремленьям сына.

Я избрал девицу. Она небогата, и хотя знатного, но не старинного рода. Это фройлейн фон Кюн. Родители ее, из которых мать владеет собственностью, живут в Грюнингене. Я с нею познакомился во время делового визита своего в дом отчима. Я пользуюсь дружбой и доверенностью всего семейства. Но ответ самой Софи долго оставался неопределен.

Давно бы уж просил я согласия вашего и благословения, но в начале ноября Софи тяжело занемогла, да и теперь еще она лишь медленно выздоравливает. Вы один можете вернуть покой душе моей. Нижайше прошу согласия вашего и благословения моего выбора.

Остальное я изъясню при нашей встрече. От вас от одного зависит сделать дни эти счастливейшими в моей жизни. Правда, сфера деятельности моей сузится вследствие брака, но, заглядывая в собственную будущность, полагаюсь я на труд, веру, экономию, равно как и на разумность и расторопность Софи. Она не воспитана в роскоши, довольствуется малым, а мне не нужно ничего, кроме того, что нужно ей. Да благословит Господь сей важный, сей трудный час. Хорошо высказать все, что на душе, но осчастливить меня может только живой ваш голос, высказывающий отцовское согласие ваше.

Фриц.

Милая матушка,

я буду ждать Вас в девять часов ввечеру в среду через две недели, одну, в саду Вайсенфельса. Ни о чем более не прошу, зная ваше нежное сердце.

Фриц.

Хофрат Эбхарт, правда, не очень знал, что делать дальше, но к такому обороту он привык. Он замечал, что для пациентки его в замке Грюнинген слишком большое общество, слишком много шума, слишком много собачек, птичек, слишком много посещений Харденберга с его дикими речами. На не-

сколько дней он упрятал ее в санаторию, в которой сам имел долю, при Вайсензее. Санатория, к сожалению, казалась сырой и душной в сравненье с замком Грюнинген. "Дом обезлюдел", — стонал Рокентин, затем что и Георга, едва стал малый похож на человека, отослали в Лейпциг, в школу. Не больше двадцати шести душ теперь за стол садятся. Свои заботы Рокентин убрал за край сознанья, как убирают на полку крысоловку, до времени хотя бы, раз стала не нужна.

— Ну, и что же он говорит, фрайхерр? — спросила Мандельсло.

— Я к нему послал письмо, — ответил Фриц, — и к матушке, я объяснил им...

— ...то, что они и так, конечно, знают. Сами же рассказывали, как тогда еще, когда ваш йенский друг, помощник хирурга Дитмалер, гостил у вас, папаша ваш его допытывал на сей предмет. Разве что имени Софхен он не знает, покуда письма не получил.

— Мне об одном нужно у вас спросить, — Фриц не отступал. — Будем друг с другом откровенны. Что, если вдруг отец откажет мне в благословении? Что, если он решит меня разлучить с моей Философией, с владычицей моего сердца? Живя здесь, в этом раю, вы и представить себе не можете, что такое неправедная власть.

— Я знаю, что такое разлука, — проговорила Мандельсло.

— Отец сам дважды был женат. Мне двадцать четыре года, никакой закон курфюрста Саксонского не может меня осудить, в случае, ежели вступлю в брак против его воли, как и мою Софи, когда ей исполнится четырнадцать. Последует она за мной, скажите, Фридерике, бросит ли вызов свету, откажется ли от него, чтобы быть со мной?

— На что вы жить-то будете?

— То немногое, что нам нужно, я заработаю солдатом, писарем, журналистом, ночным сторожем.

— Эти занятия для знати все запрещены.

— Под другим именем.

— ... и в другой стране, полагаю, если бумаги выправите, — не угодно ли на юг?

— Ах, Фрике, юг, вы знаете его?

— Откуда? — отвечала Мандельсло, — кто станет меня возить на юг? Разве мужний полк отправили бы в край лимонных рощ в цвету[1].

1. "Ты знаешь край лимонных рощ в цвету?" Песня Миньоны из романа Гёте "Ученические годы Вильгельма Мейстера". Перевод. Б. Пастернака.

— Да, да, но вы не ответили на мой вопрос.

— Вы хотите, чтобы она оставила дом, где с тех пор как себя помнит... Ради Бога...

— Вы полагаете, у ней не достанет храбрости?

— Храбрость, когда не понимаешь, во что ввязываешься, не лучше, чем невежество.

— Какие речи, Фрике! Храбрость — не просто стойкость, нет, это способность творить собственную жизнь, как бы ни препятствовали нам в этом Бог и человек, творить, чтоб ежедневно, еженощно она была такой, какою вы ее вообразили. Храбрость нас делает мечтателями, храбрость нас делает поэтами.

— Она не сделает из Софхен хорошую хозяйку, — сказала Мандельсло. Фриц это пропустил мимо ушей и повторил отчаянно:

— Последует она за мной? Снесет расставанье? — моя любовь ей облегчит его — последует она за мной?

— Господи, прости меня, боюсь, что да.

— Чего же тут бояться?

— Я вам запрещаю к ней подступаться с этим.

— Вы мне запрещаете...

— ...не я, так найдется кому запретить.

— Вы это про кого?

— А то вы не знаете?

42 Ф*райфрау в саду*

Фрайхерр фон Харденберг писал крайзамтману Юсту:

Кто таков был этот фон Кюн, природный отец этой Софи? Мне говорят, что это сын Вильгельма Кюна, который в 1743 году, скажем, тому полвека, приобрел именье в Грюнингене и в Нидер-Топфштедте, после чего как-то исхитрился получить дворянство. В свое время сын его, отец Софи, обосновался в Грюнингене. Первая жена его носит фамилию Шмидт; она умирает. Вторая его жена зовется Шаллер, и на сей раз умирает он. Жена его спутывается с неким капитаном Рокентином, и он, таким манером, теперь хозяин Грюнингена и Нидер-Топфштедта. Не думаю, чтобы и у Рокентина у самого хватило наглости ходатайствовать о дворянстве.

Крайзамтманн Юст отвечал фрайхерру фон Харденбергу:

Могу только повторить то, что уж и прежде говорил, что я знакомил твоего сына со вседневными правилами, какие понадобятся

ему в его карьере, и, разговаривая с ним, я сам прозревал иные горизонты.

Фрайхерр фон Харденберг — крайзамтманну Юсту:

Да прозревай ты какие хочешь горизонты, но зачем, ради всего святого, было тащить его к этим Рокентинам?

Взяв Фрицево письмо с собою в Лейпциг, он долго там просиживал с друзьями в отведенном для знати клубе, в летней духоте, поскольку отворять глядевшие на улицу запаренные окна члены клуба воспрещали. Он совещался со старыми друзьями о том, как бы решительней ответить старшему сыну. Он душил своими пенями в углу дряхлого графа Юлиуса фон Швайница и графа фон Лебена, чуть помоложе, он домогался у них ответа: как бы они сами поступили, буде старший сын решил, вынь да положь, взять в жены дочку лавочника. Возможно, у него начал несколько сдавать рассудок.

Фриц попросил мать с ним встретиться в саду, просто чтобы отец их не увидел вместе, — о том, какое трудное будет это предприятие для нее самой, он не подумал. Августа теперь редко выходила, и никогда одна, никогда на ночь глядя, никогда без благосклонного соизволения фрайхерра. Когда она велела горничной подать ей черную шаль, затем что ей надобно выйти в сад, одной, старушка начала читать про себя молитвы. Однако, когда фрайфрау добралась по непривычному черному ходу до нижней ступеньки, всю челядь на кухне и в саду уже подняли по тревоге. Внизу ее подстерегал старший садовник, со свечой в руке, чтоб в сумерках открыть калитку. И очень кстати, ибо сама фрайфрау, не имея ключа, о запертой калитке совсем забыла.

Она бы извинилась, она бы объяснилась — всегда, но не теперь. Не столько тревога о Фрице ее переполняла, сколько благодарность за то, что оказалась ему нужна, что ей назначил эту встречу в саду.

Она стояла у калитки и слушала тот шелест, шорох, постук, которые всю ночь сопровождают тонкий птичий сон. Они облюбовали под жилье большую вишню, хорошим летом дававшую до двухсот фунтов ягод, и с первым светом принимались лакомиться, покуда не нагрянет внук садовника. Вишни были почти черные, но отличимы от листвы, нежно качавшейся всей массой, хотя ветра, кажется, и не было.

Фриц, уже тут как тут, шел по тропе из нижнего сада ей навстречу.

— Матушка, сами знаете, я не хотел заставлять вас ждать.

Несчетных тех разов, когда ей приходилось его дожидаться, как не бывало.

— Фриц, друг мой, ты говорил с отцом?

— Нет еще.

Они уселись на двух старых деревянных стульях, круглое лето простаивавших под этой вишней. Когда Фриц уродился хилый, глупый, все она, она одна оказалась виновата. Когда, несколько месяцев провалявшись в небольшом жару, он вымахал вдруг долговязый, тонкий и, все говорили, гений, — ее заслуги в этом не усматривали, да она и не ждала признанья. Он спросил, зачем она в этой зимней шали.

Тут только Августа опомнилась — шаль была нелепа.

— Теперь июнь, матушка. Не то я нипочем не стал бы у вас просить свидания в саду.

— Но Фриц, мне в ней покойней.

Он только усмехнулся, он мог и не говорить: “Но вы же со мною, матушка”.

И странная фантазия нахлынула на фрайфрау Августу: в этот душистый миг в прозрачной тьме, почти священный миг — поговорить со старшим сыном о себе, о себе самой. Можно коротко, можно чуть ли не в двух словах: ей сорок пять, она не знает, как ей влачить остаток дней. Но тут Фриц резко к ней наклонился, сказал:

— Вы сами знаете, у меня только один вопрос. Он читал мое письмо?

И сразу отхлынула фантазия.

— Фриц, он читал наверное, но я не знаю. Он никогда мне не показывает своих писем, но, Господи прости, и я же ему твоего письма не показала. Но завтра вечером назначено: все сходятся на общие молитвы и вместе обсуждают важный семейственный вопрос.

— Но матушка, вы на моей стороне, да, ну скажите, да? Вы ведь одобряете то, что я сделал, что собираюсь сделать. Я повинуюсь собственному сердцу, собственной душе, не можете вы быть против меня.

Она вскрикнула:

— Нет! Нет! — Но когда он продолжал:

— Так отчего же тогда не высказать чувств ваших моему отцу?

Она ответила:

— Но я должна ему повиноваться, так уж назначено природой.

— Чушь, в мире природы женская особь часто сильней мужской и властвует, и правит.

— Ты это про пташек, насекомых, да что с них возьмешь.

Не замечая ничего, только ее слепую нежность, он продолжал:

— Вы должны сказать отцу, что ему мало согласиться на мою помолвку. Нам нужно где-то жить, мне и Софи, где-то быть — одним и вместе. Вы понимаете меня, уж не так вы постарели, чтоб не помнить.

Августа себе разрешила вспомнить, что она чувствовала тогда, когда впервые они с фрайхерром были одни и вместе. Но все неважно было, был только сын, этой давящей летней ночью вдруг ей показавшийся почти чужим.

— Да-да, конечно, Фриц.

В порхающей тьме он разглядел, как она возится с пакетиком, упрятанным в кармане нижней юбки.

— Фриц, душа моя, вот тут мой золотой браслет. У меня и другие есть браслеты, но этот совсем мой, он у меня не от твоего отца, мне его крестная подарила, когда мне было двенадцать лет, на конфирмацию. С тех пор его расширяли, но не очень, а теперь ты его переделай, пусть тебе из него изготовят обручальные кольца.

— Обручальные кольца уж изготовлены, матушка, вот смотрите!

Sofié sey mein schuz geist.

— Нет, правда, матушка, я не возьму вашего браслета, он мне не нужен, спрячьте-ка его, о себе подумайте, или уж для Сидонии приберегите.

Заботливость порою ранит сильнее небреженья. У фрайфрау, правда, было мало случаев в этом убедиться.

Вернувшись к себе, на верхотуру, по-прежнему на верхотуру, она раздумалась о том, что, будь Фриц всегда у ней под боком, пусть даже с молодой женой, не надо ей другого земного счастья. Но тотчас она стала молиться о прощении: совсем забыла, пусть на минутку, о благополучии Бернарда.

Зато сам Бернард о нем думал неустанно.

— Что с нами будет, Сидония? — он жалостно взывал. — И за кого ты сама-то выйдешь? С таким характером. Нос воротила от молодого медика, который к нам пожаловал в день стирки, а он от тебя глаз не мог отвесть. Как бы тебе вековухой не остаться. Карл с Антоном пристроены, я знаю, Асмус якобы выдержал первый экзамен на лесничего...

— Я его в самом деле выдержал, — сказал Асмус. — Директор меня поздравил, и отец, и Фриц. Он и "Робинзона Крузо" мне прислал.

— Ой, дай почитать.

— Книга английская. Ты не читаешь по-английски.

— Верно, — и Бернард глубоко вздохнул. — Слова как темный лес, я не могу продраться.

— Так или иначе, — сказал Антон, — не следует давать на подержание ни женщину, ни книгу. Не считается зазорным их не возвращать.

— Антон, ты Карлу подражаешь, — осадила его Сидония. — И тебе это вовсе не к лицу.

— Просто я чувствую, что близок час, когда решат и мою судьбу, — гнул свое Бернард, стоя среди них, как мальчик Христос среди учителей[1] с олеографии на стене спальни.

— Ты же знаешь, что будешь пажом, — сказал Антон. — Дворы Саксонии и Тюрингии еще не подозревают о том, что им уготовано.

— Я к вам ко всем взываю, — кричал Бернард, — ну какой из меня паж, кто, будучи в здравом уме, может это себе представить? Ничего такого, что должен делать паж, делать я не стану!

Слезы текли у него по щекам, и, однако, Харденберги сейчас чувствовали себя совсем недурно. Фриц, поговорив с матерью, даже не остался ночевать. Фрайхерр на несколько дней отбыл, взяв с собою преданного слугу, верного Готфрида. По всему дому что-то слегка, но все-таки заметно изменилось, сместилось — так в музыке меняется не тема, но тональность: чуть меньше сосредоточенность души, чуть больше вниманья к телу. Была уже половина девятого, а они не расходились после завтрака. Фрайфрау к столу не вышла. Эразм с Антоном развалились в креслах. Окна были открыты, ветер нес густой запах вишен и даже амарели, хотя, выращиваемая только ради кирша[2], она до осени не поспевает, а издалёка, из-за Вайсенфельса — дух первого покоса. Все они, в том числе и Бернард, знали, что им совсем недурно вчетвером, правда, ума хватало не признаваться в этом и самим себе.

Фрайхерр отправился к братьям в Нойдитендорф, просить у Предигера совета. Заговорил о своих семейственных владеньях — хоть это бренность, суета, — о разоренном Обервидерштедте, о четырех загубленных именьях, отданных в чужие руки, о Шлёбене, любимом Шлёбене под Йеной, где тополя, где мельничный ручей, где он мечтал когда-нибудь,

1. "Христос среди учителей" — картина Альбрехта Дюрера (1471–1528), написанная в 1506 г. на евангельский сюжет.
2. Вишневая настойка.

после отставки, коротать свой век и призирать иных из престарелых братьев.

— Меж тем мой старший сын и знать не хочет о моих желаньях. Ежели бы Обервидерштедт и Шлёбен пришлось отписать ему, не знаю даже, что бы он стал с ними делать. А куда бы как приличней было: пригляди себе жену из хорошего рода, найди девицу со средствами. И не говорите вы мне, что, мол, я вечно думаю о деньгах, напротив, по мне, так хорошо бы иметь возможность вовсе о них не думать. Но после недавних событий во Франции мир переворотился вверх тормашками, нужды отцов для сыновей теперь лишь звук пустой.

Предигер кивал, потом сказал, что даст совет, ежели Харденберг возьмет на себя труд ему последовать. Фрайхерр обещался. Назавтра он во весь опор скакал с Готфридом обратно в Вайсенфельс. Ни на один постоялый двор они не завернули, они не обменялись почти ни словом. Молчание их больше говорило.

Leipziger Zeitung. Июля 14 дня 1796 года
Христиана Вильгельмина Софи фон Кюн
Георг Филипп Фридрих фон Харденберг
обручены

Грюнинген *Вайсенфельс*

43. В*ечер по случаю помолвки*

Слуги высыпали за ворота дома на Клостергассе. Фортепьяно привезли, фортепьяно, фрайхерр выписал, из Лейпцига.

Передвигать рояль умеет всякий, а уж подавать советы о том, как следует его передвигать, и подавно. Да не сюда, балда! Чуть поправей бери! А ножки-то, ножки свинтить, оно б сподручней было!

Когда рояль наконец-то упокоился в салоне, выпростанный из-под мешковины и соломы, стало видно какая это красота — редкая в суровой обстановке Харденбергов. С роялем этим, правда, пришлось-таки заранее намаяться: фрайхерр, давно обрекший на замену клавесин, никак не мог решить по части самого рояля, то ли от Готтлиба Зильбермана его выписывать, то ли от Андреаса Штайна[1]. “Инструменты Зиль-

1. Знаменитые фортепианные мастера XVIII в.

бермановы звучней, — наставлял его в письме брат Вильгельм, — но туше у них тяжеле, чем у Штайновых. Зато за Штайновыми, поди, надобно в Вену спосылать".

— Вильгельм будет меня учить, — бушевал фрайхерр, — да он одну ноту от другой не отличит. Лошади на конюшне у него, и те вернее подпоют мелодии, чем их хозяин.

И — продолжал выслушивать и отвергать советы.

— Французские мастера всех лучше, — уверял старый Хойн. — Сбежав от неприятностей в Париже, все они подались в Лондон и поселились в Британском музее. Там про них и разузнаете.

Спросили бы у фрайфрау, она бы сказала, что рояля вообще она не любит, что звук его считает скучным в сравненье с искристым звоном клавесина, всегда ей певшим о девичьей поре. Клавесин, ныне выселяемый из дому, был тот самый, который она перевезла с собою в Обервидерштедт сразу после свадьбы. Он был французский, под крышкою картинка: руины храма в лунном свете. Но от беспощадной здешней сырости, — Саале сама, в любой сезон, тайком, тишком, капризно выбирает время, когда разлиться, выйти из берегов, — он весь заплесневел. Картинка замутилась, клавиши стали похожи на старческий, щербатый рот. Что ни вечер, приходилось клавесин настраивать, а поутру все шло насмарку. И кто-то, кажется, от него поотвинтил отдельные детали.

— Конечно, всё свалят на меня, — говорил Бернард.

Карл в самом деле возмущался, что стоит ему уехать в полк, Ангелу разрешают творить Pfuscherei[1] на клавесине.

— Все равно ты не можешь играть так, как Антон, — возражал Бернард. — И все равно всё это пустят на дрова.

В конце концов фрайхерр приобрел инструмент у Иоханнеса Цумпе, одного из Зильбермановых учеников — прочитал о нем в "Zeitung". Без братниных советов обошелся, и на том спасибо.

Призвали Антона. Антон, только тем, считалось, и озабоченный, чтобы подражать Карлу, оказался вдруг незаменимым, главным. Играть умели все в семействе — Эразм мог что угодно подобрать по слуху, очень музыкальна была Сидония, но никто не умел играть так, как Антон.

У рояля Цумпе была третья педаль[2], она позволяла длить звук нижних трех октав, на самые же верхи, как и на все остальные ноты, воздействовали правая и левая педали, каж-

1. Халтура, безобразие (*нем.*).
2. Педали были тогда нововведением, только что изобретены (в 1783 г.).

дая по-своему. Антон, отринув всякую помощь, засел один в салоне. Хоть при покупке дома в требования фрайхерра такое не входило, салон у Харденбергов изначально был построен как музыкальная комната, где легкий воздух преданно приподнимает ноту и нехотя роняет, нежно обласкав.

Фрайхерр велел жене позвать достойных гостей из Вайсенфельса и округи на soirée[1].

— Он слишком добрый, Сидония, не успокоится, покуда с другими не разделит радость от прекрасной новой музыки.

Харденберг, так мало выезжая, кроме как на общие молитвы гернгуттеров, да по соляным делам, совсем упустил из виду, что рояли в Вайсенфельсе — давно не новость. У главного судьи фон Ладенау был даже Бродвуд[2], присланный из Англии по особому заказу.

— Сердечную радость батюшки по случаю помолвки Фрица — вот что мы все разделяем, — сказала Сидония.

— Да-да, душенька.

— Гости из Грюнингена, а мы даже не знаем, сколько их объявится, не могут, конечно, воротиться в тот же вечер. Они, понятно, здесь переночуют все, и вам придется поразмыслить насчет комнат.

— Как, кстати, мы урыльников-то прикупили!

В Вайсенфельсе не то чтоб жадно ждали приглашений Харденбергов, но были они так редки (что не приписывалось скаредности, нет, все знали о щедрых благостынях Харденбергов) и так церемонно-сухи — не праздники, отсчет медлительного срока, как поступь смертности самой. Большинство гостей — городские чины, между собой знакомы. Но кто знает этих Рокентинов? Разве Юсты. А Юстам добираться дольше всех, хоть сами-то они у старого Хойна переночуют, он приходится дядюшкой Рахели.

Лука стоял в дверях, Готфрид распоряжался в Vorzimmer[3], ведущей в большую нижнюю приемную. После недавнего путешествия с фрайхерром в Нойдитендорф в нем проступила мягкая, почти ласковая властность, какой прежде за ним не замечалось. Эразм допускал, что Готфрид попивает.

— Скажешь тоже, — возмутилась Сидония. — Ты слишком долго не был дома.

1. Вечер (*франц*).
2. "Бродвуд и сыновья" — английская фортепианная фабрика, основанная в 1728 г.
3. Прихожая (*нем.*).

Зеваки, кто парами, кто по трое, кто вчетвером, а кто поврозь, слонялись по Клостергассе, чтоб поглазеть на прибывающих гостей, особенно на знать, какую здесь не часто встретишь. Старого графа Юлиуса фон Швайница унд Крайна доставило торжественное, как катафалк, ландо.

— Отведи меня, любезный, где потише.

Готфрид подставил ему плечо, отвел в кабинет.

По приемной медленно расхаживали слуги, всех обнося араком. Фриц высматривал тех, кого числил в своих собственных друзьях, и тех, кто понимал поэзию, как Фридрих Брахманн, к примеру, адвокат, который с ним учился в Лейпциге. Брахманн был хромой от рожденья и ходил так осторожно, чтоб ни одна душа об этом не проведала (каждая собака в Вайсенфельсе об этом знала). Брахманн надеялся поступить в налоговую службу. Там никому не будет дела до его увечья, а до эстетических его понятий тем более. Фриц поддел его под локоть, другой рукой приобнял Фредерика Северина.

— А, дружище, поздравляю, — сказал Северин. — А что ваш братишка, который любит воду?

— Ему, кажется, не положено быть внизу, — ответил Фриц. — Но я уверен, что он где-то здесь.

Луиза, сестра Брахманна, была закадычная подруга Сидонии, и та к ней ринулась, едва Готфрид возвестил ее имя. Луизе было двадцать девять, она была поэт.

Девицы были в белом обе, и от одной портнихи, но Сидония летала в белом облаке, плыла в белых волнах, тоненькая, легкая, странная на вайсенфельский вкус, тогда как Луизе оставалось только уповать на то, что она хотя бы нынче не услышит того сображенья, что уж пора, пора Луизе Брахманн белого отнюдь не надевать.

— Ах, да, Луиза, я же с Фрицем переговорила, он пошлет твои стихи Фридриху Шиллеру, только ты их перепиши, а то эти великие люди, знаешь, часто теряют то, что им пришлют.

Глаза Сидонии сияли от счастья, что можно угодить подруге.

Луиза не ответила.

— Ты ведь этого хотела, Лу?

— Но твой-то брат сам не будет их читать?

Сидония запнулась.

— Я уверена, он уже их прочел.

— И что же он сказал? — и, спустя мгновенье: — Ах, какая разница, это ведь всего-навсего слова, женские увечные слова.

Скорей бы уж из Грюнингена заявились, ими бы заняться, думала Сидония, а там, глядишь, рояль всех соединит. Она

знала: Рокентины выехали, Мандельсло догадалась послать мальчишку-конюха (нового мальчишку-конюха) гонцом, едва они пустились в путь. Конюх этот, плотно одетый темной пылью, уже прибыл, его уже обласкивали на кухне. Меж тем явились Юсты, Селестин, великолепный в парадном темно-зеленом мундире, ему положенном по чину. Хойну, прибывшему с Юстами вместе, мундир тоже был положен, но, очевидно, не тот, какого бы ему хотелось. Каролина, редко прикасавшаяся к спиртному, хлебнула полрюмочки арака и подошла к Фрицу, Эразму, Северину и Брахманну.

— А где Сидония? — она спросила.

— С Луизой, с бедняжкой Луизой, — сказал Эразм. — Но, главное, вы приехали, Каролина. Вы наш лучший друг, самый лучший друг. Вы миротворица. Даже Сидонии до вас далеко.

— Верно, — сказал Фриц. — Где Юстик, там можно быть покойным.

— И я надеюсь, мадемуазель, вы окажете мне честь пожаловать в мою книжную лавку, — сказал Северин.

— Непременно! — крикнул Фриц. — Она в книгах разбирается не хуже моего, а в музыке гораздо лучше!

— В музыке и разбираться нечего, — Каролина улыбнулась.

— Вы попозже нам сыграете.

— И в мыслях не имела.

Фриц поклонился, удалился: хозяин дома, куча дел. Каролина медленным взглядом обвела гостей, запретив себе смотреть ему вслед. Гости мелькали смутно-серыми, белыми, темными мазками, мундирные (эти разговаривали всё больше друг с дружкой) сверкали брызгами и угасали по мере угасанья дня. Сумерки, слава Тебе Господи, потворствуют всем нам. Белые платья, теперь особенно кидаясь в глаза, мелькали тут и там, да, но где ж Сидония? Ах, да, устремилась на выручку к Зенфу: он стоял совсем одни и, в знак того, что помнит о былом своем позоре (имея кучу нового платья), в латаном-перелатаном фраке. Сидония качает головой, хохочет. Странно, очень странно, Зенф, кажется, никогда не говорит смешного. А у самого у него — удивленный, почти оторопелый вид.

Но вот и Фриц с Луизой, склонясь над нею — неуклюже, но явно в порыве доброты. А эта тянется к нему лицом и разевает рот, как рыба.

Брахманн увлек Эразма в сторону, к окну.

— Вы знаете, я прежде не встречал фройлейн Юст. Она уже не первой молодости, но, знаете, — такое достоинство,

спокойствие. — Он помолчал. — Как вы полагаете, сочтет она возможным выйти за калеку?

Эразм было дрогнул, но нашел в себе силы ответить.

— О, сердце ее уже занято. Не знаю, кто он такой и откуда, но сердце ее занято.

Вот назойливые, что братец, что сестрица, он думал, два сапога пара. А как бы славно, если бы им можно было друг на дружке пожениться.

— Вот вы спрашивали про Бернарда, — сказала Каролина, оставшись одна с Северином. — Я знаю, Харденберг искренне привязан к меньшому брату. Он вообще любит детей.

— Очень возможно, — отвечал Северин. — Что же до Бернарда, вам не мешает помнить, фройлейн Юст, что не все дети похожи на детей.

44. Н*ареченная*

Другого такого вечера, как не бывало, так, верно, никогда больше не будет в Вайсенфельсе. Гости ждали, хотя не имели к этому привычки; даже в этой проветренной, просторной зале лица приятно, фруктово закраснелись, но здесь неуместно было бы заняться привычным осмотром туалетов, советуя, переча, щурясь, то приближась, то отступя, или побаловаться свежей сплетней, а после перейти к гусиным ножкам, ветчине, наливкам, сладким пирожкам, потом все это снова спрыснувши спиртным, и разбрестись, беседуя приятно, по домам, а там уж кое-как добраться до постели. Ни на что такое сегодня расчета не было. Нетерпенье ознобом продирало гостей, не щадя и самых стойких.

А Рокентинов нет как нет, и суженой. На кухне повар принудил-таки безвинно-виноватого, брыкавшегося гонца встать на колени и молиться о благополучном прибытии хозяев.

— Да прибудут они, — он лепетал, — только фройлейн Софи тормошить нельзя, болела она недавно.

Один фрайхерр был безмятежен: дав согласие на помолвку, он сразу сделал кое-какие распоряжения, ему и в ум не приходило что-то в них менять. Через пятнадцать минут все двинутся наверх, слушать фортепьяно, потом — ужин, и сам он не сядет во главе стола, будет ходить между гостей и останавливаться то возле одного, то возле другого стула, а Фриц со своею нареченной будут сидеть рядком, и снова будет музыка и, если здоровье Софи позволит, танцы. На те шесть с половиною минут, пока длится перемещенье в музыкальную

комнату, можно себе позволить проведать старого друга Штайница унд Крайна, который клюет носом там, где оставил его Готфрид.

— Харденберг, что это я тут пью такое? Это и есть то, что у них зовется пуншем?

— Да, и, говорят, Фриц сам все это намешал.

— Так это еще и мешают?

— Да, как будто.

— Пустая трата времени, Харденберг.

— Велю подать тебе чего-нибудь другого.

— Харденберг, а кто такие эти Рокентины?

Фрайхерр только головою покачал.

— Увы, мой старый друг! — вздохнул граф.

Большая лестница всех вознесла наверх, все расселись на выцветших, потрепанных, из дальних углов и закоулков извлеченных стульях. Лишние свечи загасили. Антон, четырнадцатилетний мальчик, выказывая красные цевки из-под рукавов первого кадетского мундирчика, уселся к Цумпе, где было посветлей.

— Я начну с Иоганна Фридриха Райхардта, — отважно объявил Антон. — Я сыграю одну его революционную песню.

— Что такое, мой мальчик? — громко спросил фрайхерр.

— Начал бы ты, Антон, с какой-нибудь религиозной музыки, — вскрикнула мать с решимостью отчаяния. — Сыграй нам лучше "Wie sie so sanft ruhn"[1].

Антон повернулся к ней, кивнул. И вот рояль сам подал голос, мирный, ясный.

Звуки отрезали их от шума Клостергассе. Но вдруг двери музыкальной комнаты распахнулись, хлынул свет из коридора. Готфрид, явно едва обарывая растерянность, но — делать нечего, — честь честью доложил о Рокентинах, и явились: фрау фон Рокентин, прекрасная, но сонная как будто, в бледно лиловом платье, хаузхерр, укрощенный Георг. Но где она?

— Вот, приказали мне выступить в авангарде, — гремел Рокентин. — Падчерица отдохнет минуточку-другую у вашей лестницы.

И — двинулся на хозяев, громадный, грубый, хлопая в ладоши.

— Воронье пугало, — прошелестела Луиза Брахманн. — Господи, спаси, как на ярмарку явились, в работники наниматься.

1. "Они (святые) покоятся так тихо" (*нем.*). Сочинение Фридриха Бухардта Бенекена (1760–1818), немецкого пастора и композитора, переложившего на музыку множество псалмов и других религиозных текстов.

Фрайхерр приветствовал гостей с безукоризненной любезностью, подал знак Готфриду, тот взялся зажигать погашенные свечи. Антон посреди фразы прервал игру, сложил руки.

Где нареченная? — с жалостью и любопытством шептались пожилые гости. — Небось, расслабленная, на руках внесут.

Но Софи — в сопровожденье преспокойной Мандельсло — чуть не вбежала в залу, нетерпение само, бледна, да, правда, но зато жива, бодра, порывиста и, сразу видно, что готова веселиться. И вся в шелках — китайских, что ли, — откуда еще их ввозят, такие узорные шелка? И волосы все забраны под белую шапочку, нареченной как раз подстать. В руке — белая, одна-единственная роза.

— Харденберх?

Да здесь он, здесь.

— А они говорили, чтобы я не ехала.

На том и кончиться бы выступлению Антона, но Мандельсло, едва ступивши за порог, сообразила что к чему, высмотрела фрайфрау, подсела к ней и ее уговорила, что всем необходимо дослушать музыку до самого конца. С переднего ряда вставали, освобождали места для вновь прибывших. Антон кивал, потом исполнил кое-какие гимны братьев из Цинцендорфа, потом потешил публику ариями из Singspiele[1], а потом... что это он сыграл потом?.. такая пиеска дивная, я ее и не знала, неужто Антон сам сочинил на случай?

Никто ее не знал, все прикрывали глаза блаженно.

В заключение Антон сыграл “Каприччио на отъезд возлюбленного брата”, сочинение Иоганна Себастьяна Баха. Все вздыхали из глубины души.

Но кое-кто с нетерпением ждал ужина, предвкушая обмен кольцами, после чего папаша будущего жениха объявит, что́ собрался отдать за сыном по части мебелей, перин, и прочая, и прочая и, может быть, укажет все по списку. Но не таков был обычай Харденбергов. Фрайхерр только встал, на несколько мгновений отсрочивая неизбежное жеванье и питье, сказал, что счастлив сам и счастлива жена их всех приветствовать, и попросил вместе с ним вознести короткую молитву.

Еще предполагалось, что танцев после ужина, по причине недавней болезни фройлейн Софи, не будет. Но Софи молила, чтобы играли музыканты.

Мандельсло ей напомнила, что доктор Эбхард, довольный, кажется, что может наконец сказать хоть что-то определенное, запретил танцы наотрез.

1. Комическая опера (*нем.*).

— Жалко, его здесь нет, — крикнула Софи. — Уж я бы его закружила в вальсе, да у него бы все мозги вскипели.

Она сидела между своею матерью и фрайфрау, матерью Харденберга. Фрау Рокентин, как почти всегда, улыбалась. Ах, хорошо бы Антон еще сыграл, повторил бы ту пиеску, которую исполнил под конец, ведь помнила, ведь знала, и жаль, что малыша с собою не взяли. А мужний громкий голос — что ж, и первый муж был невозможно шумный, на это вниманье обращать, — что на шум ветра в поле.

Фрайфрау меж тем одна боролась с демоном робости. Единственная рюмочка арака мало ей помогла. В глубине души — но это, кажется, грех в помыслах — внешность будушей невестки сильно ее разочаровала. Софи, конечно, не лишена милой, веселой живости, но это живость ребенка. Не потому ли, что сама всегда была невзрачна, но фрайфрау придавала особенное значенье рослости, вальяжности, царственной красе. Может, девочке бы лучше выпустить волоса из-под шапчонки этой. Фриц говорил, они у нее темные.

Поскольку его суженой запретили танцевать, Фриц по очереди выводил знатных лиц Вайсенфельса, чтобы ей представить, в их числе кое-кого и помоложе, собственных друзей. “Счастлив представить вас фройлейн фон Кюн, которая мне оказала честь... Это Софи, моя истинная Философия... Это Софи, мой ангел-хранитель на всех путях моих...”

— Ах, да не слушайте вы его, — отвечала она на поздравленья. И удерживалась, как бы не притопнуть ножкой. Музыка входила в душу, все тело проницала: Софи себя чувствовала, как бутылка содовой. Наконец-то щеки у нее чуть-чуть порозовели.

— Не слушайте вы его... когда он говорит такое, я хохочу.

И принималась хохотать.

В целом, Софи произвела хорошее впечатление. Конечно, вовсе не такой жены можно бы ожидать для Харденберга. Но она была безыскусственная, и это нравилось. Природа всегда нравится.

“Интересно, а сколько денег за ней дают?” — спрашивали друг у друга.

Георг, задыхаясь в первом своем высоком воротнике и брыжах, намеревался присоединиться к танцующим, как только можно будет, но решил, что недостаточно подкрепился для этого за ужином. Внизу, в сумраке столовой, где еще не убрали, он наткнулся на мальчика, года на два его моложе, с видом (противным, по мнению Георга) истинного ангела. Георг молча лакомился пирогом с голубятиной, сжимая левый кулак в кармане, готовясь, если дело дойдет до “кто кого”, как следует ангела вздуть. Вслух он сказал:

— Ты как считаешь, моя сестра Софи хорошенькая?

— Так ты Георг фон Кюн? — спросил ангел.

— А тебе что за дело.

— Ты не наелся?

— Да у нас дома каждый день больше еды, чем... но я тебя спрашиваю, считаешь ты мою сестру Софи, которая выходит за твоего брата Фрица, хорошенькой?

— На этот вопрос я не могу тебе ответить. Не знаю я, хорошенькая она или нет. Не дорос еще до того, чтобы судить о таких вещах. Но она, по-моему, больная.

Георг, жадно уплетавший тесто, растерялся.

— Ах, да в доме вечно кто-нибудь болеет.

Бернард спросил:

— А мой брат Антон, по-твоему, хорошо играл на рояле?

— Гимны?

— Там не только гимны были.

— Да, он хорошо играл, — снизошел Георг. — А ты куда теперь?

— Пойду, погуляю в темноте по-над рекой. Такое влияние на меня оказывает музыка.

Георг выпил рюмку бренди, с возможной точностью воспроизводя повадку отчима, и, пошатываясь, отправился наверх, танцевать.

Мандельсло, как ни трудно это себе представить, прекрасно танцевала, лучше всех в этой зале. Но мужа с нею не было, сестра больна, и она решила нынче не танцевать, ни даже с Георгом, которого с год тому назад с великим трудом обучила кое-каким па.

— И не просите! — сказала она подступавшемуся к ней доверчиво Эразму.

— Я не прошу вас со мною танцевать, знаю, я недостоин этой чести. Я хочу просить вас о помощи.

— Чего же вам угодно?

Эразм сказал:

— Прядку волос Софи.

Мандельсло медленно к нему повернула голову, в него вгляделась.

— И вы тоже?

— Совсем немножечко волос, я положу их в свой бумажник, буду носить у сердца... Знаете, я сперва ее не понимал, но вдруг так ясно стало, отчего брат велел выгравировать эти слова “Софи, будь моим ангелом-хранителем” внутри своего перстня...

— И вы тоже? — повторила Мандельсло.

— Прядку, на память, не так уж это много, не бог знает какая просьба... Я сперва хотел просить Каролину Юст, чтобы переговорила с Софи, но вы, конечно, больше подходите для этой цели. Вы перед ней замолвите словечко?

— Нет, — сказала Мандельсло. — Вам нужно, сами у ней и просите.

Эразм осторожно выбрал время. Не выбирает ли за нас всегда кто-то наше время? Скрипки в музыкальной комнате грянули Schottische[1], а он не понимал уже, что это такое, что играют — удивительное чувство. Сам он сейчас принадлежал как будто сразу двум мирам, и один был для него совсем неважен.

Он подошел очень близко к ее стулу, к ее маленькому телу, и на него повеяло болезнью. Она подняла к нему блестящий взгляд.

— Вы со мною во весь вечер двумя словечками не обмолвились, Эразм.

— Я все решаюсь, как бы сказать то, что я хочу, — он запинался, он еле выговаривал слова — конечно, он просит всего лишь прядку, маленькую прядку, не локон, который Фриц ему показывал весной, который заплетут и спрячут в фермуаре, ну, или в корпусе часов... — в корпусе часов, — он повторил, — нет-нет, конечно, то совсем другое дело...

Софи расхохоталась. Она чуть не целый вечер хохотала, правда, но все не с таким восторгом, как сейчас.

Эразм, убитый, пятясь, наткнулся на Мандельсло.

— Боже правый, но вы же у нее не попросили, нет!

— Я вас не понял, — еле выговорил Эразм. — Вы сказали... я вас считал открытой и прямой...

— И вы думали, она сейчас шапчонку с себя сдернет?

Об этом он решительно не думал.

— Так, понемножку, все и вылезли, — рассказывала Мандельсло, — из-за болезни. Теперь уж два месяца, как она лысая совсем...

Она на него смотрела очень прямо и — без тени снисхождения.

— У вас, у Харденбергов, глаза на мокром месте. Я уже не раз имела случай в этом убедиться.

— Но почему она хохотала? — недоумевал несчастный Эразм.

1. Шотландский танец (*нем.*).

45. Н*адо везти ее в Йену*

Фриц знал, что Софи – лысая, но верил, что темные ее волосы снова отрастут. Он знал, что Софи не может умереть.

– Что человек решил, все он сможет сделать, – говорил он Селестину Юсту, – а женщина тем паче.

Только бы не упустить время. Софи нуждается в лечении получше, нуждается в самом лучшем лечении. Придется ехать в Йену.

– Они едут советоваться со Штарком. Но у кого им поселиться? – спрашивал Фридрих Шлегель. – У Харденберга в Йене была тетушка, да тетушка-то умерла, с год, что ли, тому. И эта его Философия, кажется, на попечении сестрицы, офицерши.

– Ну, и отец Харденберга, der Alte, тоже, полагаю, будет наведываться, – сказала Каролина Шлегель. – Проверять нашу веру и нравственность. Горе свободным, горе не присно поминаемым в молитвах!

Йенский кружок, хотя немилосердный, был гостеприимен. Но кончился учебный год, наступала в городе жара, желтая, глинистая почва рассыхалась, шпиль Staatkirche[1] плавился и мрел на зное. Все готовились разъехаться на летние вакации. Один бедный Риттер забился на свой чердак, только его и видели.

Софи и Мандельсло меж тем уже устроились в квартире на Шауфельгассе. Комнатенки были тесные, и приходилось карабкаться на три лестничных марша, но жилье им присоветовали из-за хозяйки, фрау Винклер, привычной к больным девицам. Собственно, в самой натуре фрау Винклер скоро обнаружилось прямо-таки пристрастие к болезни и ко всему, что с ней сопряжено. Это бесило, но зато значило, что кружку с горячею водою уж непременно она притащит наверх – в любое время дня и ночи.

– Это входит в число услуг, моя милая барышня, – объясняла фрау Винклер.

По крайней мере, уговаривала себя Мандельсло, здесь без церемоний – в Грюнингене их тоже было не слишком много – и Софи, бедняжка, здесь может чувствовать себя, совсем как в собственном кукольном домике, где те же узорные фаянсовые кружки смиренно ждут своего часа, столпившись на кухонной полке. Однако, по правде сказать, она сомневалась в собственном выборе, и ей пришлось при-

1. Главный собор (*нем.*).

звать на помощь все свое мужество, прежде чем сломить печать первого письма фрайхерра. Не могла же она знать, что дядюшка Вильгельм, нагрянувший незванно в Вайсенфельс давать советы, объявил, что в Йене нет жилья (кроме разве бывшего дворца, где имеет обычай останавливаться Гёте), хоть мало-мальски достойного нареченной старшего племянника.

— Комнаты, сдаваемые жильцам, все на верхотуре, под самой крышей, там только голубей кормить. Я знаю Йену, вам не в пример, как свои пять пальцев. А эта старшая сестра, поверьте моему слову, и на чердаке готова поселиться. Женщины всегда довольствуются малым.

Фрайхерр тотчас написал к фрау лейтенантше Мандельсло, что намеревается приехать, дабы повидаться с нею, едва представится возможность, но что меж тем он всецело полагается на ее выбор.

46. П*осетители*

Дневник Фридерике, июль 1796

Софхен взялась было вести дневник, но писать ей трудно и больше незачем мучиться понапрасну. Летописцем буду я.

Мы живем неплохо в наших комнатенках. Чем просто-напросто послать за обедом для Софи в "Розу", я сама его стряпаю, дабы не оскорбить чувств нашей хозяйки. Но воздух Йены вреден для меня, он и для всех, пожалуй, вреден: не оттого ли все эти профессоры и литераторы вечно друг на друга дуются. Стоит жара. Все понемногу разъезжаются — на загородные прогулки, на вакации. Улицы, где их жилье, пустынны.

Друг Харденберга, Фридрих Шлегель (кажется, покуда еще не профессор), посетил нас вчера вечером. Тоже вот-вот пустится в какое-нибудь путешествие. Я принимала его одна. Софи отправилась с фрау Винклер смотреть на военный парад. Я, слава тебе Господи, ими сыта по горло. Но моей милой сестричке, чуть только боль отпустит, все кажется забавно. И она становится почти такой же, какой была всегда.

Ну так вот, Фридрих Шлегель. Он философ и историк. Я и бровью не повела под его тоскливым, но острым взглядом. Он мне сказал:

— Фрау лейтенант, ваша сестра фройлейн фон Кюн тщится заставить свой ум работать так, как работает ум Харденберга, как если бы кто тщился выучить полуручную птицу петь человечьим голосом. Попытки ее обречены, а прежние

ее идеи, уж какие-никакие, отныне пришли в растройство, и она сама не знает, чем их заместить.

Я его спросила:

— Вы хоть знакомы с моей сестрою, герр Шлегель?

Он ответил:

— Покуда нет еще, но я уверен, что она — пример известного, легко опознаваемого типа.

На это я ответила:

— Она моя сестра.

Потом Софи вернулась в сопровожденье фрау Винклер, и та сообщила, слегка разочарованная:

— Я думала, барышня без памяти упадет, а она вот не упала.

Хоть Фриц вступил наконец в первую свою должность — помощником инспектора соляных копей, — и ему разрешалось лишь ненадолго отлучаться, Рокентины предоставили лечение Софи безраздельно его заботам.

— Нет системы надежней Брауновой, — Фриц внушал Каролине Юст, не в первый раз внушал. — В известной степени браунизм опирается на идеи о нервной системе Джона Локка.

— В кого-то надо верить, — отвечала Каролина, — в другого кого-то, кроме себя, иначе жизнь покажется убогой.

— Я говорил про точные науки, Юстик.

Фриц, чем свет, пустился из Тенштедта в путь. Однако в Йене произошла заминка, со Штарком встретиться не удалось, тот отбыл в Дрезден, на конференцию. Фрицу однако объявили, что он может видеть второго помощника профессора — Якоба Дитмалера.

— Ты! Как счастливо, — вскричал Фриц. — Порой мне кажется, что на всех поворотах моей судьбы...

— Но и в моей судьбе бывают повороты, — перебил Дитмалер тихо.

Фриц спохватился:

— Любовь превратила меня в чудовище.

— Да полно, Харденберг. Я рад, что хоть эту должность получил, пусть второй помощник, я смирился с тем, что еще долго придется брести к своей цели.

— Ты уж прости мне...

— Не будем попусту тратить время. Что тебя привело сюда?

— Дитмалер, знаешь, доктор Эбхардт все сам объяснит в письме к профессору. Моя Софи больна...

— И тяжко больна, надо полагать. Конечно, никаких своих мнений я тебе высказывать не стану, покуда профессор

Штарк не вернется, но Эбхард упоминает цвет ее лица, который нас снабжает важным указанием на то...

— Оно как роза.

— Цвет желтоватый, написано в письме.

Софи, однако, хотелось поразвлечься. В непритворной любви к удовольствиям она выказывала безупречное упорство. В Грюнингене — там такая была тоска. И серенад никто не пел. А тут Дитмалер, по крайней мере, под рукой, и может оказать незамедлительную помощь. Многие медицинские студенты оставались в Йене без гроша и работали во время каникул в расчете либо чуть пораньше получить диплом, либо в полк вступить — санитаром, недоучкой-костоправом. А умеют они петь, играть? Еще бы — а как еще бедолагам убивать незанятое время, если не с помощью музыки? Под окнами, в текучих теплых сумерках на Шауфельгассе, начиналось с арий, потом шли в ход народные песни, потом трио. Мандельсло спустилась на три марша с кошельком в руке и на вопрос "Для кого стараетесь?" получила ответ: "Для Философии".

Дневник Фридерике

И вот великий человек, кажется, собрался-таки нас посетить, Гёте, в самом деле, будет среди нас. И мы это не от Харденберга узнаём, но снова от Эразма, который так и не уехал в Циллбах, а поселился в студенческом трактире, где, он говорит, спит на соломе. Это, безусловно, его дело, не мое. А еще Гёте, Эразм мне сообщил, не выносит, и это хорошо известно, когда на ком-нибудь очки. "Что толку мне от человека, — Гёте говорит, — если я, с ним беседуя, не вижу глаз его, и зеркало души укрыто за стеклом, которое меня слепит? Едва ко мне приблизится некто с очками на носу, я делаюсь сам не свой". Я-то прежде очков не нашивала, но вот стала их вздевать, для тонкого шитья, для чтенья, а с тех пор как мы в Йене, их почти не снимаю. Иной раз, впрочем, приходится и пренебречь капризами великих.

Июля 7-го дня, утром

Сперва мы уберем нашу гостиную. При таком убожестве особенно не развернешься: она рассчитана на младших преподавателей университета, которые благодарны и на том. Пузырьки с лекарствами, притирки, шприцы, столь любезные сердцу фрау Винклер, отправляются в спальню, шитье, газеты — под кушетку. В такой день, ветреный и серый, окна луч-

ше закрывать, но они у нас щелястые. У нас сквозняки, мы сами знаем, но я подхожу поближе, проверки ради, и меня будто дырявят шпагой. А ну как великий муж литературы воспаленье легких тут схватит, нас же вечно будут виноватить.

Софхен совсем забыла, что она страдает, что вообще она больна, и углубилась в разговор о сквозняках. "Весь секрет, — как объяснила фрау Винклер, — в том, чтобы широко открыть окна, ненадолго. Если воздух в комнате сравняется температурой с уличным, никакого сквозняка вы не почувствуете". Но (это я ей говорю) в комнате тогда будет донельзя неуютно.

"Неважно! — кричит Софи, — мы все плотно закроем, когда он подойдет поближе к дому!" И она собирает все свои остатние силенки и, не успеваю я опомниться, широко распахивает окна. И тотчас же заходится в кашле.

"Лучше бы ты предоставила это мне. А теперь твой кашель меня пронзает, как гвозди на кресте. Похлеще любого сквозняка".

И моя Софи хохочет.

Гёте идет по Шауфельгассе. Все к окнам! Он идет, он в синем сюртуке, в летящем летнем плаще поверх, и благородная одежда чуть ли не метет улицу, у самых щиколоток охлопывая великолепнейшие сапоги. Кажется, слуги никакого нет при нем — частный визит.

Я сдергиваю с себя очки и спешу вниз, Софи за мной увязывается. Она вся подобралась: будто бы ни капельки не боится. Гёте нам представляется, со всею простотой нам пожимает руки, справляется, можно ли пристроить на кухне его слугу: он привел-таки с собою человека, но тот, кажется, всегда ходит в нескольких шагах от него, следом, повторяя почтенья ради все действия и жесты Гёте. От него бы, конечно, куда больше было проку, иди он впереди хозяина, чтобы помочь тому не ошибиться домом.

Поднявшись к нам наверх, Гёте выбирает самый жесткий стул и говорит с очаровательной улыбкой, что поэтам полезны неудобства. Однако в следующий миг он уже мерит шагами нашу комнатенку.

Колокольца нет, но мы уговорились с фрау Винклер, что я подам ей знак, топнув по расшатанной доске, когда придет время вносить угощенье. Гёте сам ловко нарезает пирог, откупоривает бутылку. Он предлагает послать стакан вина вниз, его слуге, я соглашаюсь, хоть и не вижу, что уж тот свершил такого, чтоб это заслужить. Тем временем Гёте немного говорит о здоровье и болезни. Некоторые болезни, он говорит, есть не что иное, как застой, выпей один-другой стакан

минеральной воды, и все пройдет, главное, не дать болезни разыграться: здесь следует сразу переходить в атаку, как и во всем другом.

Он бы мог заметить, что с нашей маленькой бедняжкой дело обстоит совсем иначе. Он просто хотел ее ободрить, это ясно. К сожалению, он покуда не знает Харденберговых стихов, ну, разве немногие, но ведь и ничего почти, мне кажется, до сей поры не печаталось. Софи, для которой этот визит был, пожалуй, чересчур высокой честью, не могла придумать, что бы такое ему сказать. Наконец догадалась: Йена — город больше Грюнингена. Гёте, с легким поклоном, отвечал, что и Веймар — город больше Грюнингена.

Софи не помянула про роман Харденберга "Голубой цветок". И Гёте, по крайней мере, ни слова не сказал о сквозняке.

Вызнав в точности предполагаемое время визита, Эразм ждал, верней, торчал на углу Шауфельгассе.

— Ваше Превосходительство! Позвольте — на два слова! Я младший брат Харденберга, то есть я один из его младших братьев. Я учусь лесоводству — то есть не здесь...

— Я и не думал, что здесь, — сказал Гёте. — Лесоводству в Йенском университете не обучают.

— Я учился в Хубертусберге. То есть я оставил Хубертусберг. Можно мне с вами вместе немножечко пройти?

Гёте улыбнулся и ответил, что это не воспрещено законом.

— Вы посетили фройлейн фон Кюн с сестрой, — упорствовал Эразм, — со старшей сестрой, с фрау лейтенант Мандельсло.

— А-а, так это старшая сестра ее была, вот как? Крепкая женщина, а в родстве я не разобрался. — Эразм, кашляя, семенивший рядом, сразу не нашелся, что прибавить, и Гёте продолжал: — Я догадываюсь, кажется, о чем хотели вы меня спросить. Вы тревожитесь о том, будет ли фройлейн фон Кюн, когда восстановит свои силы, подлинным источником счастия для вашего брата. Вы, надо полагать, чувствуете их неравенство по разуму. Но будьте покойны, совсем не разум любим мы в юной девушке. Мы любим красоту, невинность, веру в нас, походку и повадку, Бог знает, что мы еще в ней любим, но только уж не разум — как, я уверен, и Харденберг. Он будет счастлив, по крайней мере, сколько-то лет он будет счастлив тем, что может она ему предложить, ну, а затем и дети пойдут, несравненное благословение, тогда как стихи его...

Не дослушав, Эразм схватил великого человека за рукав, дернул, как чурку из прибоя:

— Я не о том вас хотел спросить!

Гёте остановился, глянул вниз, на Эразма. (Слуга, за ними в двадцати шагах, замер и уставился в окно цирюльни.)

— Стало быть, я ошибся. Вас не заботит счастье брата?

— Не его счастье, — кричал Эразм. — Ее, Софи, ее счастье!

47. *Операция профессора* Штарка

Воротясь в Йену, профессор Штарк произвел осмотр больной и посчитал неизбежной операцию. Он вставит дренажные трубки, выведет яд. Нет иного средства избавить от опухоли милую фройлейн. Требуется согласие отчима из Грюнингена. И через двадцать четыре часа оно пришло.

— А жалко, если мы пропустим фейерверк в день рождения курфюрста, — вот единственное возражение Софи.

— Отчим с матушкой все мне оставили расхлебывать, все подробности, — сказала Мандельсло Дитмалеру, которого одной из пренеприятнейших забот были беседы с родственниками пациентов. — И следовало бы послать за ее нареченным. Он уехал в Тенштедт. Но вы, конечно, хорошо его знаете...

— Нет, не то чтобы хорошо, но я его знаю, кажется, давно, — отвечал Дитмалер. — Кажется, его брат Эразм, еще в Йене.

— Нет, вчера уехал, я присоветовала. Зачем ему здесь торчать, ни ему, ни нам никакого проку. Но Харденберг, конечно... Ну, хорошо, назовите мне день и час, когда профессор намерен оперировать. И запишите. Естественно, и так я не забуду, но запишите, вот сюда, ко мне в дневник.

Но метода профессора Штарка была иная. Он обыкновенно норовил выдать как можно меньше сведений об операции, тем более о часе. Чтобы сберечь нервы пациентов. Чтоб родственники не нагрянули задолго до того, как будет нужно. Дитмалер, разумеется, все это знал, но был не вправе разглашать. И поневоле собирался лишний раз тащиться на Шаумельгассе с разъяснениями.

— Комната, отведенная для этой цели, в любое время должна быть готова, — он продолжал упрямо, — и припасите побольше старых чистых простынь и еще — старое чистое исподнее тончайшего полотна.

— Готова в любое время, а мы не знаем даже, когда понадобится! — вскинулась Мандельсло. — У нас две комнаты, и только две. Это вот гостиная, а в спальне сейчас спит моя сестра. Можете мне поверить.

Дитмалер замялся:

— А остальное?

— Вы полагаете, мы навезли сюда тюками старое чистое исподнее тончайшего полотна? Не махнуть ли нам обратно в Грюнинген?

— Нет, пациентке нельзя ездить.

— Скажите лучше, вашему профессору не хочется.

— Я этого не говорил. Велика ли спальня?

— Да такая же, как эта комната. Не повернешься. Скажите ему, пусть с собою никого, кроме вас, не приводит.

— Пожалуй, это я могу вам обещать. А хозяйка ваша? Готова ли помочь?

— И еще как готова.

— Фрау лейтенант, мне бы не хотелось с вами ссориться. Быть может, стоит взглянуть на все иначе? Я вас могу заверить в самом глубоком участии профессора. Он даже мне сказал, что намеревается сам делать перевязки.

Она пожала ему руку: краткое перемирие, не более.

Фрау Винкель обсуждала предстоящий визит профессора по всей округе, с кем только могла, “чтоб недоразумения не вышло, когда крики-стоны пойдут. Еще решат, что распря тут какая”.

— Ну да, жилица хозяйку душит, — поддержала Мандельсло.

Фрау Винкель, ей подчинявшаяся, как рабыня, смогла (поскольку кончилась большая стирка) ссудить их старыми чистыми простынями. Строго говоря, в Саксонии такого понятия, как простыни, пришедшие в негодность, не водилось, но иные были лет на тридцать-сорок старее прочих. Держа их на ярком солнечном свету, фрау Винкель показывала, до какой изящной тонкости они сносились.

— Ах, да спрячьте вы эти простыни, и довольно о них, принесите мне недельный счет и кофию, — оборвала ее Мандельсло.

Софи дома не было — поехала кататься по полям с супругой пастора, чьи проповеди слушали они по воскресеньям. Выехали пораньше, чтобы не жариться на солнце, ехали дорогами под сенью тополей.

— Благодарю вас, фрау пастор, вы были так добры, вы так добры, и вы, конечно, будете добры ко мне и меня простите, что я так скоро устаю.

— Мне, может быть, позволят навестить фройлейн Софи на той неделе? — спросила пасторша, но тут учтиво вмешалась Мандельсло, сказав, что, к сожалению, они еще не знают, чем им придется заниматься на той неделе.

— Хорошо бы Георг был здесь, — сказала Софи.

— Георг?

— Не знаю отчего, мы вовсе о нем не поминали, но мне хотелось бы, чтоб он был здесь.

Харденберг до сих пор ничего не знал об операции. Он, чего доброго, не знал, что они все еще в Йене. Сам-то, небось, думала Мандельсло, над сыроварнями своими колдует в Дюрренберге. Но указания профессора, которым, при всех колкостях своих, она повиновалась, как военному приказу, оставались в силе: "Я извещу вас за день. Так будет лучше. А уж потом — вызывайте, кого хотите".

И опять не кто-нибудь, опять Дитмалер принес известие, 11 июня, утром, явясь в сопровожденье больничного служителя.

— Операция будет иметь место в одиннадцать часов. Я объясню, что следует делать.

Двуспальную кровать выволокли на середину комнаты, застлали старыми простынями, кушетку в гостиной завалили бинтами, корпией, губками, которые принес служитель. Софи, кажется, не волновалась.

Фрау Винклер доложила — человек пришел. Оказалось — посыльный, с запиской: профессор должен отложить операцию, до двух часов дня.

— Все это для того, чтоб нам напомнить, какая он важная персона, — усмехнулась Мандельсло.

— Фрау лейтенант, вы несправедливы, — сказал Дитмалер.

Служителя он отослал в харчевню, а сам до начала второго часа топтал улицы Йены. Когда вернулся, Софи была в старом халатике, потрепанном и пожелтелом — почти того же цвета, что ее лицо. Она как будто стала меньше, съежилась. Мандельсло думала: "Что делаю я с тем, что мне поручено?"

Две кареты, крытые, несмотря на жаркий летний день, свернули в Шауфельгассе. Подъехали, дверь отворилась.

— Вас четверо! — Мандельсло с горьким упреком повернулась к Дитмалеру. — Вы же дали слово...

— Трое из них ученики, — оправдывался несчастный Дитмалер. — Учатся, наблюдают, как делаются такие вещи.

— Я сама наблюдаю, как делаются такие вещи, — вздохнула Мандельсло.

Было слышно, как внизу, на лестнице, кто-то оттеснял, по крайней мере удерживал, фрау Винклер. Профессор и студенты явились все, честь честью, в черном. На студентах смешно болтались сюртуки. Взятые, вне всякого сомненья, напрокат. Профессор поклонился дамам. Софи бледно улыбнулась.

— Теперь — сердечное.

То была смесь вина с настойкой опия, предписываемая доктором Брауном, Софи ее выпила безропотно. Затем — в

спальню, и там топтались, толклись вокруг передвинутой кровати. Студенты вжались в стены, чтоб не мешаться под ногами, хищно, воронятами, поглядывая, извлекали чернильницы, извлекали перья из-под воротников.

Софи помогли взобраться на заемные матрасы. Потом профессор спросил ее с важною учтивостью — бесспорно подобающей достойному ребенку — желает ли она прикрыть лицо куском тонкого муслина.

— Вы таким образом сможете кое-что видеть из того, что я делаю, но не совсем отчетливо... Ну вот, теперь вы не видите меня, нет?

— Вижу, поблескивает что-то, — она сказала. А что, если это, в конце концов, игра? Студенты зашуршали перьями.

Следуя медицинскому обычаю Йены, профессор увлек Дитмалера в сторону, спросил:

— Уважаемый коллега, следует ли сделать надрез? Вы мне советуете?

— Да, герр профессор, я вам советую.

— Вы сделали бы два надреза или только один?

— Два, герр профессор.

— Так?

— Так.

Фрау Винклер прямо истомилась под лестницей, где ничегошеньки не могла расслышать, но тут наконец ее терпение было вознаграждено.

48. В Ш*лёбен*

Меж Йены и Артерна, меж Йены и Лангензальцы, меж Йены и Дюрренберга метался Фриц по дорогам, в тучах летней пыли, среди толп беженцев и солдат. В тетради у себя он записал:

Я — как игрок, все поставивший на карту.
Раны этой я не должен видеть.

Софи перенесла вторую операцию по вытяжке гноя, 8 августа 1796 года. Третья — в конце августа — была решительно необходима за тем, что первые две не принесли успеха. Профессор Штарк говорил, что все идет так, как следовало ожидать. Силы больной не убывают, гной в количестве умеренном. Конечно, осень — да, осень всегда опасная пора, особенно для молодых.

Софи — Фрицу:

"Едва, милый Харденберг, могу я хоть строчку написать, но окажите мне любезность, не огорчайтесь. Об этом сердечно просит ваша Софи".

На обоих отцов эта третья операция оказала глубокое действие. Шумливость Рокентина, упрямое желанье все видеть в розовом свете, сомнительные шутки — все исчезло, и не постепенно — в одночасье, будто сжалась гигантская рука, разом выжав из него надежду. Фрайхерр, со своей стороны, впервые в жизни сомневался, нет, не в основах своей веры, но в вопросе о том, что делать дальше. До самого конца августа оттягивал он посещенье Йены. Но тут уж решился — ехать, взять с собою как можно больше членов семейства, и в Шлёбене заночевать. Отчасти это была еще попытка избавиться от братца, который загостился в Вайсенфельсе. "Я здесь останусь, брат, покуда не увижу, что мои советы не нужны более".

— Очень хорошо, — сказал фрайхерр, — ты, стало быть, не едешь в Шлёбен.

И велел приготовить только шесть или семь спален.

Для них самих и для недельных запасов съестного понадобились обе кареты и четверка многострадальных лошадей. Фриц уже приехал в Йену, Антон оставался в военном училище в Шульпфорте, зато Карл был дома: половину офицеров его полка уволили по отпускам, когда Саксония вышла из коалиции против французов, — и была еще Сидония, был еще Эразм. Бернарду не хотелось ехать, но того менее хотелось ему оставаться в Вайсенфельсе с младенчиком, слугами и дядей.

Фрайфрау, трясясь в карете рядышком с Эразмом, понимала, что неприлично, притом, как огорчается она из-за Софи, даже самой себе признаться хоть в минутном счастье, но сердце в ней зашлось, когда, свернув в знакомую долину, впервые за три года она завидела знакомые большие трубы Шлёбена и купы тополей. Она всегда любила это место. Быть может, оттого, что, плотно обступая дом, тополя эти ее будто защищают, ей здесь покойно, как нигде. И здесь Антон родился и эта девочка, Бенинья — не выжила, бедняжка. И муж, известно, говорил, хоть они теперь и редко здесь бывают, что ни под каким, мол, видом он не расстанется со Шлёбеном.

— Наши трубы! — завопила сидевшая на козлах рядом с кучером Сидония.

Вот старый дуб проехали, веревки от качелей еще висят, одна с высокой ветки, другая с той, что пониже. Направо гор-

батый мост, перескочив через ручей и тропку, ведет на ферму и к часовне.

Здание было темное, сырое и в таком упадке, что верхний марш парадной лестницы стал ненадежен, слугам приходилось лазить к себе в спальни по приставным. И Gutsverwalter[1] переселился в господский дом, ради какой-никакой крыши над головою: собственное жилье совсем уж развалилось. Но все это ничуть не отдавало гордой оброшенностью Обервидерштедта, нет, в туманах Шлёбена витал дух свободы от забот, и вечного прощенья — сюда ты возвращался наконец к себе, домой, исполнив все, что мог.

Карл, как все военные, сентиментальный, пустил слезу, увидав эти веревки от качелей, и санный спуск по косогору, и пруд, теперь до осени сухой. Вдобавок ему вспомнилось то время, месяцы, когда, решась было жениться на деньгах, он потерпел конфуз и скрывался здесь от ярящейся и оскорбленной дамы.

— А зимой мы солому набивали в башмаки, — вспомнила Сидония.

— И снимали их, когда входили в дом, — подхватил Карл. — Какие у тебя были беленькие ножки, Сидо, как рыбки, не то, что у нас. Ты бы хотела снова стать ребенком?

— Я хотел бы, чтобы мы все были детьми, — сказал Эразм. — И было бы у нас наше собственное царство.

— Что-то по своему личному опыту я такого не заметил, — сказал Бернард.

Когда был совсем маленький, Бернард считал, что разница в семь лет, его разделявшая с Сидонией, постепенно будет убывать, и вот, когда он сравняется с ней ростом, перерастет, они будут ровесники. Он перенес горькое разочарование.

По теплым сумеркам плыл запах лип, куриного помета.

— Ручей послушайте, — сказала Сидония. — Так он и будет ночь напролет бормотать нам в уши.

На это Бернард отвечал, что предпочитает жить подле реки.

Поклажу понемногу разгрузили, отворилась дверь, и гутсфервальтер Биллербек явился, в сопровожденье всполошенных кур, тоже, как видно, считавших этот дом своим. Все жили в тылу дома. Парадным ходом почти не пользовались. Сквозь переливчатую тьму, наполнившую холл, чуть пробивался далекий свет кухни в глубинах коридора.

1. Управляющий поместьем (*нем.*).

Фрайхерр был, можно сказать, короток с гутсфервальтером. Почти одного роста, они крепко обнялись.

— Мы много страдали, Биллербек, мы страдаем. Господь нас испытывает.

— Я о том известен, ваше сиятельство.

Четыре года тому, когда приезжали в Шлёбен, Бернарда, еще малыша, уложили на большущую кровать под балдахином с кем-то из братьев — с Эразмом, ну да, почти наверное с Эразмом, — в просторной комнате первого этажа. Но эту комнату, как и другие по северной стороне, не пощадил хлеставший в повыбитые окна дождь. Со дня на день, со дня на день, твердил Биллербек, начнем ремонт. И Бернарда между тем сунули в какой-то закуток второго этажа, на кроватку немногим больше люльки.

— Мои отец и мать лежат уже в постелях, спят, — сам себе говорил Бернард. — Ветра нет, но спальня вдруг озаряется, когда в нее заглядывает месяц. И где-то, ясное дело, часы отбивают время.

Так оно и было, правда, он не слышал. Высоко, на южном краю Шлёбена, огромный, старинный, золоченый циферблат указывал время, пусть и не очень точно, всем вокруг, и стрелки были толщиной со стены комнаты, где положили Бернарда.

— Я лежу без сна в постели, — он продолжал. — Другие тоже слушали его, но ни с кем не было того, что со мной.

Недавно до него дошло, что смысл этой вводной главы к Фрицевой истории не так уж трудно раскусить. Никто ему ее не читал, никто даже не показывал. Но уж если что заденет его любопытство, ни в каком закоулке Вайсенфельса от него не утаится.

Одно в особенности его поразило, сразу, — он даже не успел еще запихнуть эту историю обратно в портфель к Фрицу: чужестранца, рассказывавшего за столом про голубой цветок, из всех присутствовавших понял один человек, только один. Человек этот должен быть избран и отличён в семействе. Все дело в том, чтоб знать свою судьбу в лицо, и приветить, как знакомую, когда она объявится.

49. В “Р*озе*”

В Йену собрались чем свет, в пять часов. В утренней комнате им подали почти не удобоваримый кофий. Снаружи, на краю долины, висели длинные перистые облака и будто ждали, ко-

гда рассвет, растопив, сотрет их с неба. Сам Шлёбен еще лежал в тени, только взблескивал вдруг ручей.

— У меня такое чувство странное, вы не поверите! — сказал Карл. — Так бы и сидел, кажется, у этого окна и ждал, когда развиднеется.

— Нас тут как околдовали, — сказала Сидония. — Пока не тронемся отсюда, не поймем, до чего мы несчастны. Приехали навестить бедного Фрица, а сами никогда еще не были от него дальше. Мне стыдно даже, так у меня покойно на душе.

— Satt! — и Эразм громыхнул кофейной чашкой.

Выехали пораньше, в расчете тем же вечером вернуться в Шлёбен, дав восьмичасовый роздых лошадям. В Йене фрайхерр распорядился о большом отдельном помещении для них в "Розе". Несмотря на стесненные обстоятельства семейства, он всегда останавливался в гостиницах самых дорогих: других не знал.

— Фриц! — завопил Карл, который правил первой каретой и прежде других свернул во двор "Розы".

— Нет, это не мой брат! — вскрикнула Сидония. Спрыгнув первая, не дожидаясь, когда укрепят ступеньки, она к нему кинулась. — Фрицхен, я тебя едва узнала.

Всей гурьбою сразу нельзя было, конечно, нагрянуть к фрау Винклер. Фрайхерр пойдет первым, прочие потом.

— А я разве не с тобою, Генрих? — собрав последние остатки мужества, спросила фрайфрау.

Нет, они с Фрицем идут. Тотчас же. Остальные вошли в "Розу" и поднялись по лестнице в прекрасную фасадную комнату, глядевшую на площадь.

— Идут, — Карл приподнял край белой полотняной шторы. — И когда это мы видывали, чтобы они вот так вышагивали рядом?

Едва Фриц с отцом исчезли из виду, группа арестантов в кандалах явилась — мести площадь. Стоило зазеваться страже, они, отставя метлы, тянули руки за подаянием. Сидония им бросила свой кошелек.

— Теперь они горло друг дружке перережут, — сказал Карл.

— Нет, у них, конечно, есть свои правила дележки, — возразил Эразм.

— И младшему, конечно, всех меньше достается, — вставил Бернард.

— Кофий, кофий для досточтимых дам и господ! — взывал хозяин, сопроводивший их наверх. Служитель в полосатом фартуке справился, не угодно ли им вина.

— Рановато, — ответил ему Эразм.

— Вы бы легли, — сказала матери Сидония. — С виду кушетки неудобные, но все равно, вы бы легли.

Фрайфрау улеглась.

— Бедный Фриц, бедная больная Софхен. Хоть на Ангела на нашего порадуется. — Она подала Бернарду знак подойти, присесть с ней рядом. В комнате становилось жарко. Не шелохнувшись висели широкие шторы.

А вскорости подоспел Дитмалер, профессор Штарк отрядил его — взглянуть, не может ли он быть чем-нибудь полезен. Он мешкал на пороге, он переводил взгляд с одного лица на другое в затененной комнате. В "Розу" он вошел, наверх поднялся — без доклада. Но все увлеклись разговором, никто на него и не глянул, и Дитмалер неосторожно вверился белокурому отроку, который стоял с ним рядом, изучая устройство кофейника.

— Вы Бернард, не так ли? Я друг вашего брата Фридриха, я приезжал к вам в Вайсенфельс. Не знаю, помнит ли меня ваша сестра Сидония...

— Да едва ли она вас помнит, — сказал Бернард. — Зато я помню.

Сидония, вполуха слушавшая разговор, подошла, улыбаясь. Конечно, она все помнит... день стирки, радость от его приезда... и он, разумеется...

— Разумеется, — сказал Бернард.

— Теперь я имею честь быть младшим помощником профессора Штарка, — заторопился Дитмалер. — Ваш брат, вы, верно, слышали, меня упоминает в письмах в связи с лечением его нареченной. — И — вынул визитную карточку.

Тут уж она вспомнит его имя, тут уж как не вспомнить. Но те секунды, когда она не могла вспомнить, утвердили Дитмалера в том, что он знал давно: он — ничто. Что имеет для нас значение, то можем мы назвать. Иди на дно, тони, он говорил своей надежде со странным облегченьем, тони, как мертвое брошенное в воду тело. Меня отвергли не потому, что я не нужен, даже не потому, что я смешон, а просто я — ничто.

— Дитмалер! — крикнул Эразм. Тут только Сидония вспомнила, на миг прикрыла лицо руками. — Дитмалер, слава Богу, вы здесь, вы нам обо всем в точности расскажете. При такой недолгой практике вы еще не научились лгать.

— Не очень ты любезен, — заметил Карл.

— Больную все еще лихорадит, — сказал Дитмалер. — О долгих посещениях нет и речи, ну, с полчаса, не более того. Из-за кашля, к сожалению, никак не затянутся надрезы. Лопаются швы. Профессор теперь считает, что, буде он получит

разрешение на следующую операцию, мы можем надеяться на немедленное и полное исцеление.

— А вы сами как считаете? — спросил Эразм.

— Я не подвергаю сомнению прогнозов профессора.

Засим Дитмалер извинился. Ему приходится, он объяснил, думать и о других своих обязанностях.

— Да, идите-идите! — вздохнула Сидония. — Вы уж простите нас, но мы тревожимся. Нам как-то все не верится, что, кроме Софхен, у вас есть еще пациенты. В несчастье совсем не помнишь о других.

— Вот то же мне говорил и брат ваш.

— Значит, выказал более здравого смысла, чем обыкновенно.

Она старалась что-то искупить, замять, хотя сама не знала что. И он ушел, а они, не зная, чем бы еще заняться, глядели в окно, покуда и он тоже переходил брусчатой мостовой на теневую сторону.

Фрайфрау вздрагивала во сне. Опять хозяин справился, не послать ли за одной-другой бутылочкой вина.

— Пожалуй, если это вам доставит удовольствие, — согласился Карл.

— Прикажете местного подать, герр лейтенант?

— Боже упаси, мозельское несите.

Как только явился и ушел служитель, Эразма прорвало:

— Отец вот-вот вернется, ему дано только полчаса. Скверно мы распорядились. Что выйдет из его визита? Сами знаете, какое бы согласие и разрешение он там ни давал, все равно он этот брак считает несуразным...

— Он и есть несуразный, — вставил Бернард. — И нам бы следовало понимать всю его прелесть.

— А тебе и вовсе незачем было сюда приезжать, домашний ангел, — сердито сказал Эразм.

— Как, впрочем, и тебе, — последовал ответ.

Эразм повернулся к Карлу и продолжал:

— Зачем отца так сразу подпустили к Софхен, если положенье бедняжки до того подействовало на Фрица, что родная сестра его не узнала? Что должен он испытать? Отец и христианин, он, разумеется, ее пожалеет, но как ему не думать и о том вдобавок, что старший сын его свяжет себя навек с больной, которая не может родить ему детей. Он принужден будет отказаться от собственного разрешения. Нельзя от него и ждать иного. И придется бедному Фрицу, злосчастному Фрицу открыть ей суровую правду — сказать: так, мол, и так, моя возлюбленная Философия, весьма, мол, сожалею, но мой отец не считает вас достойной делить со мною ложе...

— Матушка просыпается, — сказала Сидония.

От тяжкой поступи на лестнице бросило в дрожь высокие новые окна в лучшей комнате “Розы”. Перед ними стоял фрайхерр, и слезы текли у него по лицу — они знали эти слезы, по общим молитвам знали эти слезы истинного покаяния, — но сейчас он рыдал, он захлебывался, он нелепо хватал воздух ртом, он икал, будто куском давился.

— Бедное дитя... ух!.. бедное дитя... такая больная... ух!.. и ничего за душой...

Он вжимался — виданное ли дело — в дверной косяк, он впился в дерево обеими руками.

— Я подарю ей Шлёбен!

50. *Сон*

Карл им растолковал, что ничего подобного отец не вправе предпринять. Шлёбен наследован фрайхерром от дяди, Фридриха Августа, в 1768 году, и как заповедное поместье закреплен за старшим сыном, Фрицем, который родился спустя четыре года. Хоть это ничуть не умаляет щедрости, одною жалостью внушенной жертвы, какую готов принесть фрайхерр. Бернард, правда, считал, что немножко умаляет.

Фрицу в те дни докучал во сне упрямый образ, маяча на краю сознания. Наконец Фриц посторонился и его впустил. Снова он был студент, и снова в Йене, и слушал Фихте, лекцию о природе “я”, как вдруг он понял, что никакого Фихте слушать ему не надо, и понапрасну он теряет время здесь, когда друг его Харденберг живет, оказывается, отсюда всего в двух часах конского хода, в Шлёбене. Конь его был ненадежен, добрался он до места, когда совсем стемнело. Он постучался в дверь, ее отворила девушка с темными волосами. Он решил, что это жена его друга Харденберга, но спрашивать не стал. Две недели жил он в Шлёбене желанным гостем. Когда же настала пора разлуки, хозяин выслушал его благодарность, но впредь просил не возвращаться.

Фриц все записал — уж как запомнил, — уложив в один абзац. Ему тогда пришлось быть в Тенштедте, и он спросил у Каролины Юст, можно ли ей это почитать.

— Всё как прежде, — говорил он, озираясь, как бы в недоумении, — эта гостиная, камин, и ваши дядюшка и тетушка уже легли, и это чтение.

А Каролина думала: раньше он не так говорил. Можно подумать, наш сосед какой-нибудь.

Фриц открыл тетрадь.

— Должен вам сказать, мой рассказ — про сон.

— В таком случае, я стану слушать только ради нашей давней дружбы, — отвечала Каролина. — Разве вы не знаете: людей занимают только собственные сны.

— Но он не раз мне снился.

— Час от часу не легче.

— Сны не заслуживают такого небреженья, Юстик, — он ей сказал. — Они в ответе за кое-что, чего семь лет уж не бывало в философском цехе дураков.

Он читал ей вслух, а она думала: семь лет тому назад я его не знала.

— Годится это для начала, Юстик?

— Дайте, я сама глазами пробегу.

Потом она спросила:

— А эта девушка — какова она была собой?

— Неважно. Важно то, что она отворила дверь.

Старые друзья фрайхерра, коллеги по соляному делу, даже сам Селестин Юст, говорили, что этот жест — дар Шлёбена Софи фон Кюн — нелепейший пример *гернгутерства.* Правомочность поступка никого не занимала, но "так нежданно-негаданно, и так некстати, говорил старый Хойн. Сам Господь такого не творил. У сыновей ни ломаного гроша, Обервидерштедт разорен — совсем не время для телячьих нежностей и неумеренных щедрот". Зенф заметил сухо, что разорен и Шлёбен.

В присутствии крайзамтманна Юста, разумеется, никто не говорил таких речей, но он и сам все понимал. И даже в садовом доме не отпускала его тоска.

— Просто вы избаловались, — сказала Каролина. — При вас Рахель, и я, мы никуда не денемся, мы закоснели, даже представить себе нельзя, что вдруг мы переменимся. А тут старинный ваш приятель ведет себя так, будто его подменили, — вот вы и чувствуете, что старость к вам крадется неслышными стопами.

— Сказать по правде, — отвечал ей дядюшка, — сказать по правде, старый Харденберг вовсе не переменился. Хоть убей — его и всегда-то невозможно было понять. Я это называю харденбергианством. Но стоит ли сетовать, когда человек слушается предписаний Божьих. — Он повнимательней вгляделся в племянницу, потом сказал: — А это уж глупость, Каролина, что будто бы ты закоснела.

— Ну, закоснелой или нет, а мне здесь всегда рады, — и Каролина улыбнулась, — вы всегда так говорили, неужто на сей раз смолчите?

– Ну что мне теперь думать, Эразм, Карл, Сидония, – спрашивала фрайфрау. – Я не поняла, что тут такое затевается. Выходит, Шлёбен теперь уже не наш?

– Будьте покойны, – отвечал Эразм. – Наша бедная Софи только и мечтает поскорей вернуться в Грюнинген.

Фрайфрау почувствовала облегченье, но в то же время легкую обиду – ее заметил только Бернард – из-за того, что Шлёбен, оказывается, кому-то чем-то нехорош. Возможно ли, что девчонка там не пожелает жить?

– Ничего, – она сказала, – раз ваш отец этого хочет, придется уж ей покориться.

51. *Осень 1796*

С сентября из окружных боров тянулись в Йену телеги с дровами на зиму. Ветки по верхам возов скреблись в окошки по переулкам, устланным прутьями и сучками, что твой грачевик. Вдруг на панели открывался лаз и благодарно принимал с грохотом ссыпавшиеся бревна. А тут и солить приспело время, и громадные бочки с уксусом гремели по стремянкам в пряную, темную вонь погребов. Каждый дом, как мог, приготовился к зиме, тая сокровища уксуса и топлива. Студенты возвращались, и шлюхи, сказала Мандельсло, небось, в отпуску на стороне пытали счастья, в Лейпциге, в Берлине. Возвращались они в Йену на скромных дрожках, но к Шауфельгассе и близко не совались. Софи огорчалась, ей бы хотелось на них глянуть. Профессора тоже воротились восвояси, и выпускали свое расписание на предстоящий семестр. Бесплатные открытые лекции, куда больше лекций приватных и кое-какие приватиссимо, эти – самые дорогие. Курс лекций профессора Штарка о женских болезнях, приватиссимо.

Фриц в Тенштедте получил с Шауфельгассе письмо, писаное незнакомым почерком. По подписи увидел: от лейтенанта Вильгельма Мандельсло, от самого супруга в отпуске из принца Клеменса полка, что стоит в Лангензальце. Он ему пишет, объяснял лейтенант, по приказу супруги. Самой Софи трудновато долго сидеть за письменным столом, супруга просит извинить ее многообразными женскими хлопотами (“Это они нарочно ему дело приискали”, – решил Фриц), и, следственно, ему поручено представить рапорт о состоянии больной. Вопреки сказанному, Софи вложила в конверт записку, сообщая, что чувствует себя очень хорошо, только иногда, к сожалению, очень больна и шлет ему тысячи поцелуев.

В конце ноября срок отпуска истек у лейтенанта, он отбыл, быть может, не без облегченья, обратно в Лангензальцу. Быть может, догадавшись, что в дальнейших видах супруги ему отводится место весьма скромное.

Шлегели и иже с ними глаз не казали на Шауфельгассе, целиком доверясь сообщениям Дитмалера. Дитмалер же только и мог сообщить, что лихорадка Софи то возвращается, то отступает, что рана, снова и снова затягиваясь снаружи, затем лопается, и гной течет внутрь. Штарк прописал увеличенную дозу опия, Дитмалер его дважды в неделю доставляет.

— Желаю вам успехов на вашем поприще, — сказала Мандельсло. Они собрались в Грюнинген — на Рождество и в марте, ко дню рождения Софи.

— Да, ей же весной исполнится пятнадцать лет, — говорил Дитмалер Каролине Шлегель. — Остается уповать на исцеленье телом и душой.

— Ну, я не знаю, — сказала Каролина Шлегель. — На одно Харденберг может уповать, что она постарше станет, но и это, может быть, окажется ей не под силу.

Дитмалер думал про себя: “И что меня держит в этой Йене, с этими людьми, в этой стране. Мне нужно только, чтобы кто-то повлиятельней замолвил за меня словцо. Не податься ли мне в Англию. Правда, доктор Браун умер, но двое сыновей его, по расчету Дитмалера, практиковали в Лондоне. Ну а матушка, уж я присмотрю за тем, чтобы она вовремя получала деньги, а то пусть со мною едет”.

52. *Помощь Эразма*

— Фриц, лучший из братьев, — сказал Эразм. — Позволь, я тебе помогу. Покуда не решено, где будет место первой моей должности, я только бременю собою землю. Позволь мне сопровождать твою Софи и Мандельсло, когда они тронутся обратно в Грюнинген.

Дело не терпело проволочки: по зимним дорогам не провезешь больную. Мандельсло уже все почти уладила. Наняла крытую карету, присмотрела за тем, чтобы, на случай заморозков, с шипами подковали лошадей, выслала вперед тяжелую поклажу, наведалась к профессорше, к Штарковой супруге, вручила прощальный дар: серебряные золоченые ножи для спаржи, слуг оделила чаевыми, вымучила из себя письмо к Шлегелям и не мешала фрау Винклер рыдать у ней на плече кряду полчаса. Эразму оставалось только скакать обочь ка-

реты — круглолицый, невнушительный конвой — и быть начеку на каждой остановке. От Грюнингена в десяти милях он пришпорит коня, чтобы предупредить об их приезде. Какая-никакая, все польза для Софи, конечно, польза небольшая. Истинным же побуждением Эразма была сильнейшая из всех известных человечеству потребность: себя терзать.

В первый день тронулись поздно и покрыли только десять миль. В Меллингене "У медведя" Софи тотчас унесли наверх.

— Уже заснула, — сказала Мандельсло, когда Эразм зашел в общую комнату гостиницы, распорядясь поклажей. Племяннице хозяина было поручено сторожить сон Софи и — если что — немедля кликнуть Мандельсло.

Угомонившись наконец, она сидела между неверным мерцанием свечей и светом печи, с арочной приступкой, на которой сушились башмаки и ставились кушанья для сохраненья жара. С одного боку на лицо ей падало сиянье, его золотя, и Эразму на миг почудилось, что это вовсе и не Мандельсло.

— Abendessen[1] сейчас подадут, — она сказала. Ему же думалось: святая воительница, ангел битвы.

— Я была на кухне, — она продолжала. — Тушеные свиные ножки, сливовое варенье, хлебный суп.

— Мне кусок в горло не полезет, — сказал Эразм.

— Оставьте, мы саксонцы с вами. Мы можем славно отобедать, даже когда у нас разбиваются сердца.

Эразм вздохнул:

— До сих пор, по крайней мере, ей не стало хуже из-за дороги.

— Не стало хуже, нет.

— Но эта боль...

— Я бы на себя ее приняла, если бы можно было, — сказала Мандельсло. — Так часто говорят, но едва ли чувствуют. Я — чувствую. Но желать того, чего не может быть, — не просто тратить время, но терять впустую, а за то, что теряем впустую, мы еще ответим.

— Годы вас научили философии.

К его изумлению, она вдруг улыбнулась, спросила:

— И сколько же, вы полагаете, мне лет?

Он смешался:

— Не знаю... я про это никогда не думал.

— Мне двадцать два года.

— Как мне, — он лепетнул в испуге.

1. Ужин (*нем.*).

53. *Поездка к магистру* Кегелю

Нельзя сказать, чтобы хаузхерра Рокентина очень уж любили в Грюнингене, но по хохоту его скучали. Человек беззлобный, он по-прежнему распростирал ручища, принимая друзей в объятья, свистал собак на охоту, но, будто какая пружина в нем сломалась, он не хохотал.

Ничуть не странно, что он поехал в город, к магистру Кегелю: совершенно в его духе — он никогда не мог позвать кого-то в Шлосс и там спокойно дожидаться. Странно то, что с ним отправилась жена. Даже и теперь, во время треволнений, она была бездеятельна или, мягче говоря, спокойна. И вот к заледенелому главному подъезду подали двуколку, оба в нее влезли, и Рокентин, усаживаясь, отчаянно расколыхал рессоры со своего боку.

— Вот точно такая же была погода, — он говорил, — когда Селестин Юст впервые привез к нам Харденберга.

— По-моему, тогда снег шел, — предположила фрау Рокентин.

Магистр Кегель, уйдя от дел, жил со своими книгами в маленьком домике подле городской библиотеки. Он поздравил Рокентина с возвращением приемной дочери из Йены. Все в округе скучали по фройлейн Софи. Он верил от души, что с Божьей помощью здоровье ее поправляется, но в Шлосс Грюнинген являться вовсе не имел намерения.

— Все занятия, какие от меня требовались в вашем доме, я проводил. Мне себя не в чем упрекнуть, но результаты всегда равно меня удручали. Ваши двое младших мне еще не были доверены — но бедной фройлейн Софи, по моему глубокому убеждению, ни под каким видом не следует даже и пытаться, когда она больна, постичь то, что оказалось для нее неодолимым, когда она была здорова. Я полагаю, это решительно ни с чем не сообразным. Одна пантомима выйдет.

— Но Софи этого хочет, — сказал Рокентин.

— И за что бы она желала взяться?

— По-моему, ей бы хотелось изучать что-то такое эффектное, — с жаром заговорил Рокентин, — или, лучше сказать, достопримечательное, чтобы удивить своего суженого.

— Я, кажется, совсем не тот, от кого можно эффектов ожидать, — сказал магистр, оглядывая скромные свои пожитки. — И еще, кажется, я могу воспользоваться случаем и вам сказать, что Харденберга чересчур баловали в вашем доме.

— Всех молодых всегда балуют в нашем доме, — печально согласился Рокентин. Он чувствовал, что Кегель вот-вот наотрез откажется прийти. Фрау Рокентин до сих пор не говорив-

шая ни слова, и тут ничего не сказала. Возможно, она ни о чем и не думала. Однако Кегель пристально в нее вгляделся, когда она вставала со стула, слегка кивнул и сказал, что, ежели не воспоследует иных указаний, он явится в Шлосс в среду на той неделе, "но мне бы не хотелось помешать леченью".

— Вот уж чего вы можете не опасаться, — успокоил его Рокентин, — Софхен теперь на попеченье Лангерманна, а тот ничего ей не прописывает, только козье молоко.

Доктор Лангерманн, заместивший доктора Эбхарда, был уютный, старомодный домашний доктор, пользовавший все достаточные семейства Грюнингена. По его личному мнению, фройлейн Софи только травили чем-то в этой Йене. Выздоровление придет весной: весной козье молоко особенно полезно.

54. *Алгебра, как опий, утишает боль*

В Вайсенфельсе толковали о конференции по нейтралитету, которая вот-вот должна была открыться в городе, однако же, к смятению лавочников, так и не открылась, о бедах Пруссии, о смерти в Санкт-Петербурге старой блудницы вавилонской[1], о нареченной Харденберга. Но сам Фриц теперь со старыми друзьями не знался, ни с Брахманнами, ни даже с Фредериком Северином. "От него теперь приветливости не жди, — им говорила Сидония, — как кончит свою конторскую работу, сразу поднимается к себе. Стучи не стучи, не отвечает. Он удалился в царство разума". На это Северин заметил, что царств у разума много. "Фриц занялся алгеброй", — ответила Сидония.

"Алгебра, как опий, утишает боль, — писал Фриц. — Но занятия алгеброй утвердили меня в мысли, что философия и математика, равно как математика и музыка, говорят на одном, им общем, языке. Этого мало, разумеется. Со временем я найду свой путь. Терпение, ключ повернется.

Мы думаем, что знаем законы, правящие нашим существованием. Нам дарятся промельки — не часто, за жизнь, быть может, раза два — совсем иной системы, за ним сокрытой. Однажды, углубленный в чтение по дороге от Риппаха до Лютцена, почувствовал я вдруг уверенность в бессмертии, ощутил так несомненно, как будто кто коснулся меня рукой... Когда впервые вошел я к Юстам, в их тенштедтский дом, дом этот, мне показалось, весь озарился, проси-

1. Екатерина II умерла 17 ноября 1796 г.

ял, даже зеленая скатерть, сахарница даже... Когда впервые я увидал Софи, в четверть часа участь моя была решена. Рахель причитала, Эразм меня отчитывал, но как они ошиблись, как ошиблись оба... На кладбище Вайсенфельса я видел: мальчик, так и не ставший взрослым, стоял, в раздумье поникнув головой над зеленеющей в прозрачной полутьме еще не вырытой могилой, — вид утешный. То были поистие важные минуты в моей жизни, и пусть она хоть завтра оборвется.

Так уж вышло, что мы — враги мира сего, мы пришлецы, мы чужестранцы на земле. Чем больше мы это понимаем, тем больше наша сирость, отчуждение. Отчуждением самим я зарабатываю свой хлеб насущный. Я говорю — то одушевленно, а это неодушевленно. Я соляной инспектор, то каменная соль. Я иду дальше, я говорю — то пробужденье, а это сон, то принадлежность тела, это — духа, то свойство дали и пространства, это — времени и сроков. Но пространство переходит во время, как тело в душу, и одно без другого не измерить. Я хочу найти иные средства измерения.

Я люблю Софи еще больше оттого, что она больна. Болезнь и слабость сами по себе взывают о любви. Мы бы и Самого Господа не любили, ежели бы он не нуждался в нашей помощи. Но тому, кто здоров, кто обречен стоять подле, ничего не делая, тоже нужна помощь, и, быть может, больше даже, чем больному".

55. *Урок магистра* Кегеля

В комнате у Софи было тесно, воздух спертый — густой, как вино. И шум, гам: малыши визжали пронзительно, наперебой, голос Георга подражал кому-то — у него был особенный голос, для подражаний, вопили-гоношились птицы в клетках, лаяли, как ополоумевшие, собаки.

— Я не могу вести урок в таком бедламе, — вскричал магистр Кегель, едва слуга ввел его в комнату. — Сделайте милость, уведите отсюда хоть бы собак. Где фрау лейтенант Мандельсло?

— Отчим ее упросил спуститься, прибрать у него в кабинете, — объяснил Георг.

— А-а, Георг, давненько я тебя не видел.

Софи, заваленная шалями, лежала на маленькой кушетке.

— Ах, магистр, милый, Георг как раз... Георг сейчас..

— Он сейчас, он как раз изображал меня. Я все прекрасно понял, когда к двери подходил.

Георг, оставленный за старшего, уже подросток, отпущенный из школы домой на Святки, весь залился краской. Обиженно расщебетались птицы в клетках.

– Примите, фройлейн, мои соболезнования по случаю того, что пришлось вам перенесть и что еще вам предстоит, – сказал старик, а потом, повернувшись к малышам: – Вы о сестре своей подумали? Не видите вы разве, как она переменилась?

– Мы сперва заметили, – сказала Мими, – а теперь уж и не можем вспомнить, какая она раньше была.

"Счастливцы", – подумал Кегель.

– Позвольте им остаться, пусть они останутся! – вскрикнула Софи. – Ах, знали бы вы, какая скука была в этой Йене, все время, ну, только, может быть, в самом начале... И раз уж я опять дома...

– Харденберга вы не ждете?

– А мы не знаем, когда он отбудет, когда явится, – сказал Георг. – Он член семейства, может не докладываться.

Магистр сделал знак няне, чтобы увела Мими с Рудольфом. А сам укрыл шалью птиц, все еще всполошенных и что-то бормотавших в клетках. Потом уселся в кресла в ногах кушетки и вынул книгу.

– Ах, магистр, мой старый Fibel[1]! – вскрикнула Софи.

– Нет, это книга для учеников более умудренных, – он ответил. – Это извлечения, из которых мы узнаем, что думали древние римляне, то есть кое-кто из них, о дружбе.

– Какой вы добрый, что пришли... – с усилием выговорила Софи. – Уж вы меня простите... мне так не хотелось бы вас обижать... Я теперь не смеюсь, то есть так, как прежде.

– Мои чувства вовсе не важны. Были бы важны, мне бы не следовало идти в учителя.

В дверях стояла Мандельсло.

– И вы не знали, что Софи ни под каким видом нельзя смеяться и кричать, пока рана совсем не заживет?

– Честное слово, я не знал, – простонал вконец расстроенный Георг.

– Конечно, ты не знал, – сказал магистр.

– Какая же я глупая, – сказала вдруг Софи. – Какой кому от меня прок на этом свете.

Рокентин ввалился следом за Мандельсло.

– Пришел урок послушать, – он сообщил через ее плечо, приноровив свой голос, как ему казалось, к комнате больной. – Надеюсь набраться пользы.

1. Букварь (*нем.*).

— Все, кто это услышит, извлекут для себя пользу, — сказал Кегель, — но для фройлейн Софи довольно будет получаса.

— Вот и я им говорил, — вставил Рокентин.

— О ком это вы?

Да обо всех и вся, кого только удалось ему скликать по дороге сюда из кабинета — Мими и Руди — опять Мими и Руди — с няней, и молодой лакей, и две сиротки, которым из милости дали работу в бельевой и чьих имен никто не знал, и носивший козье молоко мальчишка, обыкновенно не допускаемый дальше порога. Иные робко теснились сзади, но хаузхерр широким жестом их пригласил войти, воспользоваться случаем, который, он их убеждал, едва ли еще когда представится.

— А я ведь сам не знаю, что там Цицерон про дружбу говорил.

Софи всем простирала руки. Ее смех и кашель тонули в гаме. Собачонки, прижавши уши, наперегонки пустились к ней на постель, лизать лицо.

Магистр Кегель захлопнул книгу.

"Эти люди, в конце концов, рождены для радости," — он подумал.

В марте 1797 года, в самом начале, был у Фрица десятидневный отпуск, и он провел его в Грюнингене. Он спрашивал Софи:

— Любимая моя Философия, хорошо ль вам спится?

— Ах, да, мне что-то дают.

— Ночь — темная сила.

— Я ночи не боюсь.

10 марта, вечером, он спросил у Мандельсло:

— Мне остаться?

— А это уж вам самому решать.

— Можно мне ее видеть?

— Нет, сейчас нельзя.

— Но потом?

Мандельсло, как бы придя к какому-то решению, сказала:

— Заживления нет. Нам вчера велели держать рану открытой.

— Как?

— С помощью шелковой нитки.

— Надолго?

— Не знаю, надолго ли.

Снова он спросил:

— Мне остаться?

На сей раз он совсем не получил ответа, и тогда он крикнул:

— Господи Боже ты мой, и почему младший капрал, переодетый женщиной, меня должен мучить, стоя между мною и моей Софхен?

— Вы не сможете смотреть на рану, — сказала Мандельсло, — но за это я вас не виню.

— Вините вы меня, не вините, и слушать не желаю. Мне оставаться или нет?

— Мы с вами уже говорили о храбрости, — напомнила Мандельсло.

— И согласились в том, что с точностью ее не измерить, — ответил Фриц. — Бернард был храбрым, когда убежал от нас тогда на реку. Моя мать была храброй по-своему, выйдя ко мне в сад...

— Какой еще сад?

— Карл со своим полком стоял под пулями у Майнца[1]. Ну и вы, вы присутствовали на трех операциях. А моя Софхен...

— Тут у нас не состязания, — перебила Мандельсло. — И что пользы озираться вспять. Что могу я для нее сделать? Вот все, о чем следует себя спрашивать в этом доме.

— Ежели бы мне позволили за ней ходить, хоть вы не верите, но я бы справился, — сказал Фриц. — Да, кое-что я в этом смыслю.

— Ежели бы вы остались, вам бы не ходить за ней пришлось, — сказала Мандельсло. — Вам бы пришлось ей лгать.

Фриц поднял тяжелую голову.

— И что мне пришлось бы говорить?

— Господи помилуй, да вам бы изо дня в день пришлось твердить: “Сегодня ты выглядишь с утра чуть получше, Софхен. Да-да, чуть получше. Скоро ты сможешь выйти в сад. Вот только пусть немножко потеплеет”.

Она произосила слова, как их актеры произносят, на читке, — без выраженья. Фриц смотрел на нее с ужасом.

— И ежели у меня такое с языка нейдет, стало быть, по-вашему, я трус?

— Мое понятие о трусости самое простое, — сказала Мандельсло.

На мгновение Фриц осекся, потом он закричал:

— Я не могу ей лгать, как не могу лгать самому себе.

— Уж я там не знаю, в какой мере лжет самому себе поэт.

— Она мой ангел-хранитель. Она это знает.

Мандельсло не отвечала.

1. Крепость на Рейне у Майнца долго выдерживала натиск французов, но была вынуждена сдаться 12 июля 1793 г.

– Мне остаться?

Снова она ничего не сказала, и Фриц кинулся вон из комнаты. “Куда же он теперь?” – думала Мандельсло. Насколько мужчине легче. Будь у женщины такое на душе, что не распутать, – куда податься ей, чтобы побыть одной?

Софи, когда узнала, что Харденберг отправился в свой Вайсенфельс, огорчилась, но не слишком. Уже и прежде, часто, он отлучался в то время, когда ей было так плохо, что невозможно с ним проститься. Если не спала, она слышала, как выводят из конюшни коня, ведут к крыльцу, хотя это уже не Гауль был, чей шаркающий шаг научилась она распознавать. Иной раз, совсем готовый дать коню шпоры, вдруг он, бывало, спешится, кинется обратно, через холл, наверх, скача через две ступеньки – для него пустяк, – ворвется в комнату: “Софхен, сокровище моей души!”.

В тот вечер не было такого, он не вернулся.

Три часа и три четверти до Вайсенфельса, с передышкою во Фрайбурге. Овощные грядки лежали под Вайсенфельсом в лунном свете, голые, пустые – кочежки зимней капусты, больше ничего. Городские ворота уже заперли. Фриц уплатил штраф, взимаемый с тех, кто припозднился, и медленно повел коня к родительскому дому.

Была первая неделя Великого поста, редко какие окна светились по Клостергассе. Отец и мать лежали уже в постелях. Один Эразм не ложился из всего семейства.

– Я не мог остаться... – сказал ему Фриц.

– Лучший из братьев...

Послесловие

Софи умерла в половине одиннадцатого утра 19 марта, два дня спустя после своего дня рождения. Весть дошла до Фрица в Вайсенфельс два дня спустя. Каролина Юст тоже получила письмо, от одной из старших сестер Софи, где описывалось, как бедной девочке “в ее фантазиях” все мерещилось, будто бы она слышит стук копыт.

Фриц стал прославленным писателем уже после смерти Софи. В феврале 1798-го он объявил другу, что впредь намерен публиковать свои произведения под старым родовым именем Новалис, значащим “расчищающий новые земли”. Под этим именем он опубликовал “Гимны к ночи” и работал

над множеством замыслов, какие-то из них довел до конца, какие-то остались в отрывках. История про голубой цветок, получив название “Генрих фон Офтердинген”, так и осталась незаконченной.

В декабре 1798-го Фриц обручился с Юлией, дочерью советника Иоганна Фридриха фон Шарпентье, профессора математики в горной академии Фрайбурга. Ей было двадцать два года. Он теперь успешно трудился в дирекции соляных копий и был назначен судьей вне штата в округе Тюрингия. Фридриху Шлегелю он тогда писал, что его ждет, кажется, очень интересная жизнь. “Хотя, — он прибавлял, — лучше бы я умер”.

В конце 1790-х молодые Харденберги в свой черед, один за другим, почти не противясь, стали умирать от легочной чахотки. Эразм, всех уверявший в том, что кровь горлом идет у него потому, что он чересчур много хохочет, умер на Страстную пятницу 1797 года. Сидония дожила до двадцати двух лет. В начале 1801 года Фриц, тоже с признаками легочной чахотки, вернулся в отцовский дом в Вайсенфельсе. Лежа при смерти, он просил Карла поиграть ему на рояле. Когда подоспел Фридрих Шлегель, Фриц сказал ему, что совершенно изменил весь план своей истории о голубом цветке.

Бернард утонул в Саале 28 ноября 1800 года.

Георг в чине первого лейтенанта пал в 1812 году в битве под Смоленском.

Год спустя после смерти Фрица Каролина Юст вышла замуж за своего кузена Карла Августа.

Мандельсло развелась с мужем и вышла за генерала Бозе. Она дожила до семидесяти пяти лет.

Золотой перстень Фрица с надписью “Софи будь моим ангелом-хранителем” лежит в муниципальном музее Вайсенфельса.

Ежи Пильх

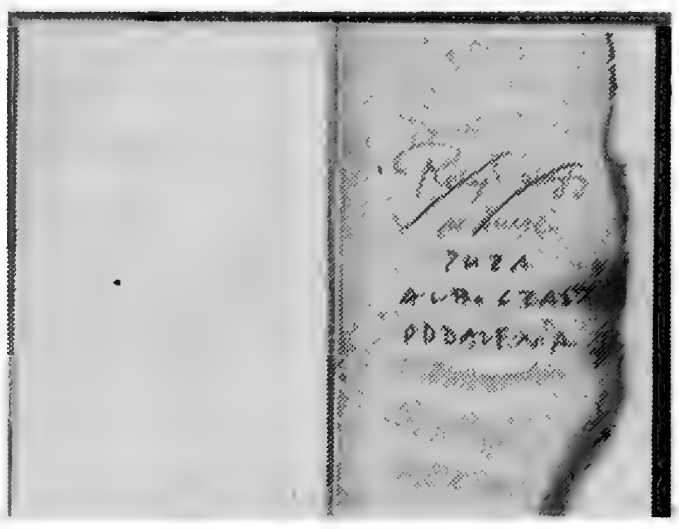
Зуза, или Время воздержания

Повесть

Перевод с польского К. Старосельской

Я нашел эту рукопись в сильно поношенном левом лыжном ботинке; ботинок лежал на лестнице в доме на Хожей, между вторым и третьим этажом. Лифт не работал, я медленно, шаг за шагом, поднимался по ступенькам, а тут на тебе: находка! Рукопись в прямом смысле слова; написанные вечным пером буквы слегка выцвели, зато бумага – когда-то желтая – явно потемнела. Прочитав и немного подумав, я решил этот текст опубликовать. Конечно, любые совпадения – а кое-какие имеются – случайны. Название я меняю, хотя предложенный неизвестным автором заголовок "Рукопись, спрятанная в ботинке" звучит тоже неплохо.

Е. П.



© by Jerzy Pilch
© by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2015
© К. Старосельская. Перевод, 2016

1

ЭТОГО можно было ожидать: на старости лет я влюбился в сговорчивую двадцатилетнюю особу. Под сговорчивостью подразумевается готовность производить простейшие действия за деньги, то бишь блядство. Ко всему, о чем я рассказываю, вернее, пишу, нужно относиться либо с большим сомнением, либо с иронией. Что поделаешь: бумагомарание заслуживает иронии. Как и старость, и блядство; блядство, пожалуй, в наименьшей степени. А вот старость... хо-хо!.. старость это же сущий кладезь! Сперва ее нет, притом долго. А потом как нагрянет, и уже никуда не деться. Времени зря не тратит: аневризмы рвутся, лимфоузлы воспаляются в два счета. Зимы-лета проносятся мигом. Долго длится только молодость. Все остальное — вихрь. Говорят, любовь тоже заслуживает иронии. В моем варианте — наверняка.

Так или иначе, сочетание первого со вторым и второго с третьим (первое — старость, второе — продажность, третье — любовь) дает основание для иронии поистине убийственной.

Сомнение? Охотники всё подвергать сомнению, конечно, найдутся, всегда ведь под рукой фраза, задевающая нашу профессиональную гордость: “Есть вещи посильнее литературы” — например, язык, первозданный, недостижимый. О, напрочь заезженный, хотя по-прежнему весьма влиятельный дух повествования, упаси меня от соблазна пародии! Убереги перо от тяги моей родной речи к патетике и иронии! А еще всегда можно состряпать броскую (то есть неоспоримую) фразу: “Мужчина, влюбляющийся в продажную девчонку, хуже, чем женщина, влюбившаяся в записного обольстителя”. Почему?! Почему мужчина хуже? Ах, великие либо всего лишь ловко скроенные афоризмы не нуждаются в комментариях. Существует международный кодекс, согласно которому такие, как я, вообще не должны считаться мужчинами. В любом случае, развязка может быть какой угодно.

В продажную двадцатилетнюю девчонку? Я? Влюбился? Мужик шестидесяти с гаком, рассказывающий про свой эмоциональный взлет... да это же позорище! Разумеется, каждый имеет право и т. д., и т. п. Каждый, но только не я. Постная старость, какой она всем представляется, в принципе запрещает мне секс в любой форме. Моя родина — край низинный и пуританский. Пуританский в разных смыслах. В период разделов[1] — ох и цве-

1. Имеются в виду три раздела Польши между Прусским королевством, Российской империей и Австрийской монархией (1772, 1793, 1795). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ло же здесь пуританство! А при немцах, а при коммунистах! От черных платьев в глазах рябило! Пуританин на пуританине сидел и пуританином погонял! Пуританин с пуританином братался!

И на этой пуританской равнине, по самому ее краю, тянется гряда гор невысоких и старых, где живет племя архипуританских пуритан, к коему я принадлежу. Мы всегда шагали в ногу с историей, всегда были ей послушны. Евангелисты обязаны любить власть, и точка. Гомулку или Герека[1] мои земляки не особо любили, так как не были уверены, вправду ли наместническое правление от Бога, но то, что от них требовалось, исполняли. Поэтому — что при коммунистах, что не при коммунистах — народ в лютеранских краях всегда жил безбедно; жаль только, зажиточное это население было немногочисленным. Родителей моих проблема самоидентификации не сильно волновала: слишком молодые, чтобы стать ортодоксами, они даже не прочь были (конечно же, не порывая с Церковью) влиться в ряды среднего класса с его привилегиями; словом, жили ради того, чтобы приобрести мебельный гарнитур (диван-кровать плюс стенка), а со временем — автомобиль. Мечты осуществились. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что вслед за автомобилем возникла необходимость построить дом в Висле[2]. Родители приспособились легко: отец миром вещей, похоже, упивался, мать (как всегда, впрочем) была сдержаннее, я же... это все было не для меня.

До того как выплеснуть свои невеселые мысли на бумагу, что в подобных ситуациях помогает, было далеко. Кто я? Глас вопиющего в пустыне с известной целью — добиться снисхождения для старичья? Ладно уж, потрахайтесь еще, друзья! Совокупление — не пустяк! Некоторые этот процесс отождествляют с жизнью.

У меня нет права на любовь, даже замаскированную флером литературного вымысла. Но я влюбился! Простите, дорогие пуритане. Сказать так — не только ничего не сказать, но и солгать, навязать фальшивую тональность, впасть в фарисейство; хуже ошибки совершить нельзя.

Большинство моих пуритан поумирали, что хоть чуточку упрощает ситуацию. В нашей округе верховодит моя мать, ей

1. Владислав Гомулка (1905–1982) — партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) в 1956–1970 гг.; Эдвард Герек (1913–2001) — политический деятель, первый секретарь ЦК ПОРП (1970–1980).
2. Висла — небольшой город близ границы с Чехией, популярный горнолыжный курорт; бóльшая часть населения Вислы — протестантского вероисповедания.

без малого девяносто, она полна кипучей энергии и готова бороться за чистоту расы, вида и нравов. Это к ней после череды катастроф я отправился спасать тело и душу, это у нее поверяю бумаге свои мысли и запечатлеваю события. Моя в меру выстуженная комната отлично для такой цели подходит.

В свое время (лет пятнадцать назад) мать пропустила мимо ушей сообщение о моем разводе и с тех пор живет в страхе, что я привезу в Вислу особу, которая продаст или спалит дом, промотает остатки сбережений и на первом этаже в комнате с отдельным входом будет принимать мужчин. Предваряя дальнейший рассказ, скажу словами Священного Писания: есть "время обнимать и время воздерживаться от объятий"[1]. Не из эротоманского бахвальства и не дешевого эффекта ради, а просто называя вещи своими именами, повторю еще раз: на старости лет я потерял голову из-за одной варшавской шлюхи. Потерял голову? Все потерял! Совсем свихнулся! Я на ней женился!

2

Ручаться не стану, но звали ее, скорее всего, Зуза. Придя в первый раз, она назвалась Соней, однáко спустя час призналась, что ее настоящее имя Бэлла. Нате вам. Раздевалась Соня, а на поверку (кровь с молоком, гиалурон и силикон) Соня оказалась Бэллой. Я заплатил еще за два часа. Вечер удался, хотя начало ничего из ряда вон выходящего не предвещало. Имена редкие. Редкие и непременно двусложные, добавила она.

Когда я открыл дверь, она слегка попятилась, видно, в блондинистой головке мелькнуло: кру-гóм — марш! Думала, я моложе. Не беда, я и сам часто путаюсь. Одиночество старит. Тем паче добровольное. Будто компенсируя минутное замешательство, порог Бэлла переступила бесстрашно и решительно. Из одной крайности в другую... но напряжение, я бы даже сказал: скованность, осталось. Разговор не клеился, а когда разговор не клеится, трудно перейти к тактильному контакту. Бывает, конечно, не клеится настолько, что о тактильном контакте и речи не может быть, но мы старательно избегали крайностей. Я предложил по-быстрому выпить и быстренько, намного быстрее обычного, приступить — воспользуюсь их распутным языком — к "засосу". Что это значит,

1. Книга Екклесиаста, глава 3 (новый русский перевод).

объяснять, с одной стороны, неловко, хотя, с другой, — нетрудно догадаться. Пошло гладко; все последующие "засосы" тоже. Головы на отсечение не дам, но, кажется, уже тогда я начал ее терять.

Я терял голову, еще сам об этом не зная. Все вокруг знало: и стол, и окно, и пол, и лампа, и вид с площадки верхнего этажа, и вид из подвального окошка... все, мыслимое и немыслимое, либо точно знало, либо предчувствовало. Один я — ни сном, ни духом.

Мое поколение к жизни и основным ее проявлениям относилось серьезно. Самое мимолетное чувство длилось как минимум года два.

Человек, которого ты полюбишь всей своей издыхающей в отчаянии душой, жизни без которого себе не представляешь, — вот он, уже рядом, ты с ним говоришь, смотришь на него, но еще не знаешь, что заглядываешь в бездну, меряешься силой с роком. Ты повстречался с судьбой, и это неотвратимо — времени у тебя осталось так мало, что разлюбить ты не успеешь.

3

Неделю спустя я наткнулся на объявление "Чувственной Жаннеты". Что-то там было подозрительно, что-то меня зацепило... я ее пригласил. Правильно, угадали: это была она, только — с помощью парика и макияжа — на фотографии преобразившаяся в соблазнительную брюнетку. На сей раз она клялась, что, по правде, честное слово, ее зовут Ольга. А ведь знала, по какому адресу едет. Но таких дотошных, как я, теперь днем с огнем не сыскать — можно было рискнуть.

Она клялась здоровьем своего песика. Официально этот живой пучок перьев для смахивания пыли именовался Тетмайером[1]. Я об этом упоминаю, поскольку — что для собачниц не редкость — она безумно его любила. Ревновал ли я к собаке? Еще бы! Она относилась к своему питомцу, как к обожаемому ребенку, страшно баловала, а со временем уверилась, что и вправду его родила. Я интересовался, откуда поэтическая кличка. Ответом мне было глухое молчание. Вы не поверите, но имя Тет-май-ер она выбрала случайно: вероятно, только по звучанию. Где-то что-то слыхала — вот и всё.

1. Казимеж Пшерва-Тетмайер (1865 — 1940) — польский поэт, прозаик, драматург.

Все, то есть ничего. Тетмайер, он же Тедди, он же Теодор. Маниакальное пристрастие к постоянной смене имен распространилось и на собаку — масштабы, конечно, несопоставимы, но все-таки...

И нечего придираться! Если девушка дает, к примеру, три-четыре объявления и все под разными именами, если, якобы в приливе нежности, а скорее ради существенного повышения гонорара, шепчет тебе на ухо свое, якобы настоящее, имя, если другим девицам она к тому же и вовсе иначе представляется, а преклонных лет (моего возраста) клиенты, невесть что себе вообразив, вдруг начинают ее называть именами, неизвестно откуда взявшимися, возникает весьма впечатляющая ономастическая неразбериха.

4

Зуза — лучше быть не может. Только не подумайте, что меня одолевает саморазоблачительная охота назвать эти записки "Зузанна и старец"[1]. Я, конечно, плох, но не до такой степени. Зуза и без старцев ассоциируется с извращенностью. Иначе говоря, это имя притягивает похотливых вуайеристов, которые всегда где-то поблизости; они могут дремать, спать, дышат на ладан, но дай только знак — мигом воскреснут. Не помрут, пока будет на что поглазеть. И я глазею, как они. Благо есть на что. В нашей пуританской Библии нет истории Зузанны — а на меня сочетание запретного плода с папирусом неизменно производило сильное впечатление.

Зузанна может сказать старцам "да", очень даже может. Всем им не раз попадались Зузы, которые не говорили "нет". И старцы прекрасно знают, что́ надо сделать, чтобы, на худой конец издалека, насладиться ее неприкрытостью. "Сусанна была очень нежна и красива лицем, и эти беззаконники приказали открыть лице ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотою ее".

Губы Зузы как лента гиалуроновая; доза отмерена точно — чтобы были припухлые, но без карикатурной вздутости. Груди Зузы — шедевр пластической хирургии. Серьезно. Я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что лучше красота синтетическая, чем отсутствие природной. Искусственная телесная конструкция лучше анатомического несовершенст-

1. Зузанна — польский вариант древнееврейского имени Шошанна (русское Сусанна). "Сусанна и старцы" — сюжет из 13-й главы Книги пророка Даниила; главу эту католики и православные считают "неканоническим добавлением", а протестанты не признают частью Священного Писания.

ва. Не будем себя обманывать: слепая приверженность природе заведет нас в тупик и в этой сфере. Старейшие из живущих на Земле старцев могли бы радоваться, что дожили до эпохи скорректированного тела, так нет же, они и слышать об этом не хотят. Выражение "искусственный бюст" произносят презрительно, с отвращением; девушек, пользующихся услугами пластических хирургов, считают полоумными психопатками и т. д., и т. п. А зря, не стоит демонизировать. В наше время молодежь готова инвестировать в собственное тело, а уж те, что живут за счет его красоты, вынуждены так поступать. Приходится исправлять огрехи Господа Бога, и ничего тут не попишешь. А раз так, то надо с этим примириться, а затем и оценить должным образом. Тело стало одеждой, модель и покрой которой можно менять — о мелких (портняжных) поправках я уж не упоминаю. Красит ли душу одежда, подвергнутая многократным переделкам, сказать не могу. Не знаю — но почему бы нет? Чем сильнее перекроено тело, тем требовательнее душа.

Разумеется, я не говорю о крайних случаях, не говорю о девушках, зарабатывающих исключительно на пластические операции, о девушках, для которых операции такого рода стали самоцелью, о девушках, впавших в зависимость от хирургических коррекций. О тех несчастных, чьи тела изуродованы ботоксом и вечными отеками.

Критические замечания столь предсказуемы и легко опровержимы, что я не откажу себе в удовольствии их перечислить. Стало быть, молодость себе я покупаю за деньги? Любовь — за наличку? Не щедрый дар получаю, а приобретаю товар? Я вас правильно понял, уважаемые оппоненты? Таковы ваши доводы? Ну конечно же! Абсолютно с вами согласен. Да, потребность в бабле велика — намного больше, чем кажется. Наличие кассы в данном случае — необходимое условие. Не только для совершения сделки, но и ради жара души. Ничего не могу с собой поделать — процесс оплаты меня возбуждает. Скажу иначе: поскольку я вообще за моральную чистоту отношений, то девушкам плачу с величайшей охотой. Понятное дело, чистоган еще и элемент безнравственности и извращенности. Без него ни тебе эрекции, ни оргазма, ни нежного шепота под утро. Да, да: польский злотый в ее руках — мой эликсир молодости. Вернее, картина, действующая подобно эликсиру молодости. Я вручаю ей беспременную пачечку, смотрю, с какой нежностью она расправляет купюры, и чувствую, как крепнут мои мышцы, разглаживается кожа, исчезает седина. Иногда и так бывает. Однако не-

сравнимо чаще растет ее благорасположение к моей старости. Наличные высвобождают в ней такие запасы геронтофилии, что еще чуть-чуть — и я бы поверил... ну, пожалуй, не в настоящую любовь, но в чистоту взаимоотношений. Женщина, взявшая бабки, ясно и недвусмысленно сообщает: "Я согласна. Согласна, но подкинь еще сотенку".

Ясное дело, пожалуйста, как же без чаевых. Об этом и речь. Есть, конечно, девушки, которые норовят обрыдлую свою повинность исполнить кое-как, а слупить побольше; эти долго с нами возиться не станут. У них дурная репутация. Они живут не по правилам, а так нельзя. На любой, даже самой низкой ступеньке существуют свои законы.

Ах, дожить бы до ласкового слова и... чао, прощай, наш дивный мир. Вообще до чего-нибудь бы дожить. До чего? Как это — до чего? До здоровья, счастья и коренного пересмотра суицидальных планов.

Не помню, говорил ли я, что завел папку для вырезок, касающихся болезни Паркинсона? Мог и забыть, потому что дел было невпроворот, да и вырезок — ноль. Только вчера появилась одна, зато какая: "Робин Уильямс[1] покончил с собой, потому что у него был паркинсон". Ничего не скажешь, исчерпывающая информация, хоть награждай автора! А может, паркинсон тут ни при чем? На ранней стадии этого заболевания редко тянет на тот свет. Напротив, все чаще приходишь в восторг. Со временем, правда, восторг этот выйдет боком, но ведь не сразу...

Да-а, и тебя настигла одна из самых мучительных болезней человечества, но ты молодцом! Навел порядок в делах. Примирился с самим собой. Живи не хочу! Хотя... как знать... Уильямс, кажется, не дурак был выпить, да и опасные, изматывающие депрессии его донимали! То есть всяко могло быть. Паркинсон мог не вчера начаться. Пить можно по-черному и тем не менее не переступать границу. Это ведь в США было, а как там у них — неизвестно. Лечатся, в основном, не те, кому следовало бы. Я не большой поклонник этого актера с удивительным лицом. В молодости он мог играть старика. И наоборот. Невелика штука, но для Голливуда такой диапазон редкость. Не успел начать — и уже успех. Впрочем, я понимаю: депрессию могли спровоцировать милашки из группы поддержки (говорят, он не пропускал ни одного матча НБА), красота ведь действует непредсказуемо. Вы изобрели

1. Робин Уильямс (1951—2014) — американский актер, сценарист, продюсер.

баскетбол — игру, в которой чуть ли не за каждый бросок начисляют очко, — и думаете, что это сойдет вам с рук!

У Зузы, ко всему прочему, было еще одно ценное качество: деньги она брала так, будто колебалась — взять или не взять? Уже, казалось, не берет, но в конце концов брала.

Искреннего признания в любви приходится ждать долго, очень долго. Бывает, дождешься, но тут, глядишь, а любовь уже промчалась. С треском. Пачка купюр... то же самое, разве что не столь эффектно. Вопрос, откуда у меня касса, к счастью, не прозвучал. От верблюда. Говорить об этом бестактно. Джентльменство и т. п. Кроме того, по сравнению с настоящей кассой, моя — тьфу, курам на смех.

Меня возбуждало ее ремесло; распаленное воображение рисовало Зузу с другими мужчинами. Их было несколько, они были мне любопытны, в каждом я видел себя... вот откуда заполонявший меня мрак. Разумеется, мрак бы рассеялся, скажи я себе, что готов смотреть, как *моей* женщиной обладают другие, потому что всегда нуждавшиеся в сильных впечатлениях, а сейчас оскудевшие, перегоревшие чувства требуют постоянного увеличения дозы. Скажи я себе, что считаю женщину вещью.

Спокойнее, спокойнее. Первым делом нужно ответить на вопрос: есть ли женщины, которые мечтают, чтобы к ним относились, как к вещи? Ну конечно, есть. Видите, в какие дебри я забрался...

А можно ли причислить к таким женщинам Зузу? И да, и нет. Смотря как складывается день. Иногда в моем наивно извращенном воображении возникает такое, в чем она, возможно, никогда не участвовала. До чего Влад ни за что бы не додумался.

С Владом (в некоторых кругах его называли Влад-Невдогад; ничего себе alter ego!) Зуза познакомилась, как со всеми, а именно: он был ее клиентом. Ни рыба ни мясо. Никакой. Иногда невольно мелькала мысль, что он — плод наших кошмаров, что на самом деле его не существует.

Итак, ни одна из моих фантазий не доступна воображению типового Влада, который, даже было решившись, застесняется и попросит меньше. А Зуза — тут ей не было равных — могла кому угодно внушить, будто предпочитает больше. Будь у меня поскромнее воображение, я б не заводил изнурительные романы, не влюбился бы в Зузу и не предоставил ей почти неограниченную свободу. Считай я ее своей собственностью... но ведь было ровно наоборот! С самого начала — и с особым пылом, после того как предложил ей вый-

ти за меня замуж, — я подчеркивал: "Мы вместе, но ты продолжаешь заниматься тем, чем занимаешься". Тогда я не понимал, что нормальные супружеские отношения несовместимы с правилами древнейшей профессии. Будучи вроде бы свободен от предрассудков, я совершал классическую ошибку патологического ревнивца. Мне хотелось присутствовать при всем, и это желание все портило, все сводило на нет. Хорошо хоть я никого не пытался переделать. Только этого не хватало! Гордиться тут нечем. Мне казалось, что мое поведение — взвешенное и разумное: такой сдержанности от меня и ждут. Я чувствовал, что девушкам куда приятнее невмешательство, чем инфантильные попытки вернуть их на праведный путь, вызволить из сексуального рабства, вырвать из лап торговцев живым товаром и прочих альфонсов. Судя по моим наблюдениям, почти все они (я говорю об элите, crème de la crème[1] продажного сообщества) обожают секс и очень любят бабло, отчего предложение резко сократить то и другое не нашло понимания.

Интересно, не будь я... ну, не гол как сокол, но периодически на мели, продолжал бы действовать по-старому? А почему нет? Лишь бы в кармане не было пусто. У каждой, буквально каждой, есть заветная мечта. Ах, бросить город, бросить привычную жизнь вместе со всеми ее атрибутами. Мини — долой. Декольте — долой. Откровенное белье — долой. Но клятвы и обещания, пусть и от чистого сердца, трудно исполнить. Вот если бы, хоть небольшое, денежное вспоможение... Бабло — штука серьезная.

Любая из них мечтает о счастливом житье-бытье в домике под Варшавой... Между тем у Зузы период чистоты заканчивался и, соответственно, возвращалась тяга к привычным шалостям. Говорите, что хотите: рецидив греха прекрасен. Итак, декольте, белье, мини, шмотки, не прикрывающие, а обнажающие, помилованы. Не раз, стосковавшись по прежней жизни, она днем, а чаще ночью выскальзывала из дома — и шасть в город! На такую прогулку нельзя не надеть что-нибудь эдакое... Заглядывать в душу? Зачем, если невооруженным взглядом видно, что ничего там нет?

Я мог ошибаться и почти наверняка ошибался. В конце концов, я рассказываю про их свободу, к расширению которой, смею надеяться, хоть и в ничтожной степени, причастен. Общеизвестно, что певцы нашей свободы, включая тех, чьи заслуги неоспоримы, часто ошибаются. Но даже если я ка-

1. Сливки (*франц.*).

ким-то чудом не ошибался, то явно недооценивал как извечное влечение к романтике, так и типично женское искусство примирять противоречия. Да, они мечтают освободиться. И, с удовольствием погрязая в разврате, охотно признáют, что кто-то их в этом разврате топит.

5

“Я там кутил. Давеча отец говорил, что я по нескольку тысяч платил за обольщение девиц. Это свинский фантом и никогда того не бывало, а что было, то собственно на ‘это’ денег не требовало. У меня деньги — аксессуар, жар души, обстановка. Ныне вот она моя дама, завтра на ее месте уличная девчоночка. И ту и другую веселю, деньги бросаю пригоршнями, музыка, гам, цыганки. Коли надо, и ей даю, потому что берут, берут с азартом, в этом надо признаться, и довольны, и благодарны. Барыньки меня любили, не все, а случалось, случалось; но я всегда переулочки любил, глухие и темные закоулочки, за площадью, — там приключения, там неожиданности, там самородки в грязи. Я, брат, аллегорически говорю. У нас в городишке таких переулков вещественных не было, но нравственные были. Но если бы ты был то, что я, ты понял бы, что эти значат. Любил разврат, любил и срам разврата”.

Федор Достоевский “Братья Карамазовы”

6

Мы привлекали к себе внимание? Скажем прямо: внимание привлекала Зуза. В основном своими декольте. Что, впрочем, неудивительно: не для того потрачена куча денег на феноменальный бюст, чтобы теперь его скрывать. Это понятно. Но у Зузы не было ни одной шмотки без умопомрачительного выреза. Мне, правда, открывающийся рельеф очень нравился, однако, разгуливая по центру города с романтически висящей на моем локте, обнаженной дальше некуда девицей, я чувствовал себя не в своей тарелке. Мы не были похожи на дедушку с внучкой, отправившихся в кондитерскую. Оденься, как школьница, просил я. Она приходила в обтягивающей белой блузке — не спрашивайте, на сколько пуговичек застегнутой.

Взять, к примеру, первый торжественный обед. Мы входим в ресторан, озираемся в поисках свободного столика, находим, направляемся к нему, всё окей, и вдруг я вижу: никакой не окей! Зуза вроде бы такая же, что и минуту назад, и

вместе с тем совершенно другая, сосредоточенная, мыслями где-то далеко...

Волнуется? Как-никак, наш первый совместный обед... Нет, маловероятно. Оглядываю зал — и, кажется, догадываюсь.

7

С сексом то же самое, даже хуже. Рискованное знакомство начинается с секса, с засосов и прочих непотребств, за которые уплачено. Оплата — напоминаю — тоже непотребство. Настроишься, чтоб "по-быстрому", обязательно получишь "медленно": И наоборот. Стоит подумать, стоит ли. Конечно, стоит. Быстро ли, медленно — плевать. Я покупаю тебя вместе с твоим интимом — вот что заводит! Вот от чего напрочь сносит башню! Я ведь тебя купил, звезда небесная.

Несмотря на нешуточные инвестиции, обычно все так, как было впервые и задарма, то есть посредственно. Я покупаю тебя с разными принадлежностями, включая твоего дружка... или всех твоих дружков? — это не должно бы заводить, а заводит. Страдания — за бесплатно, жар души — пятьсот; в сумме — посредственно. С Зузой было посредственно, однако любовь наша была уже на подходе. Оставалось расчистить ей дорогу. Жаль, Зуза этого не почувствовала.

После вынужденного перерыва перечитываю то, что написал в прошлый раз вечным пером на желтой бумаге, и некоторым фрагментам не могу надивиться. Претензии мои, право слово, какие-то ребяческие. Не почувствовала... да потому что не любила. Меня не любила. Антенны не в мою сторону направлены. А что с интуицией плоховато — чего ж тут удивляться. Изматывающая работа, целые дни перед зеркалом, постоянные заботы — вечером надо хорошо выглядеть; у тела свои пути-дорожки: душа поет, тело отделяется от души, тело совершенствуется, но вынуждено отрабатывать положенное — какая уж тут интуиция! Я помочь не мог — отупел на старости лет. К тому же принимал сильнодействующие лекарства: на паркинсона они почти не действовали, зато вызывали неописуемый эротический подъем.

И снова, наверно, уже в сотый раз, про восторг. Красота Зузы — высшей пробы. Поддельное — безупречная имитация натурального. Контур — арфа; идеальная мягкость и ноль рубцов. Ну, разве что один, одна-единственная неровность. Поначалу незамечаемая, потом раздражающая. Пока же — сплошной восторг.

При ее стройной фигурке, высоченных каблуках и умении абсолютно свободно на таких котурнах передвигаться — эффект умопомрачительный. Глаза — карие, а это вам не тухти-пухти: у их сестры-профессионалки глаза по большей части светлые, ясные.

Про глаза шлюх я бы мог написать целый трактат. Про их колюче-ясные глаза. Белые глаза киллерш и снайперш. Почему у продажных телок светлые глаза? Если карие, то практически янтарные, если зеленые, то как схваченная первыми заморозками трава. Не голубые, а лучезарно-серые, и не синие, а лазурные. Невольно подумаешь, что белеют от мстительности, злобы и отчаяния, светятся от похоти и бесстыдства. Старинное предание гласит, будто в детстве, а, возможно, еще и в ранней юности все эти барышни были темноглазыми. И лишь по мере продвижения по пути порока исподволь происходила соматизация[1] озлобленности и горечи. Радужки белели. Сегодня глаза все без исключения светлые, сухие и ледяные. А у Зузы — темные, влажные, страстные.

Боже мой, Зуза... Мне шестьдесят шесть лет, за спиной у меня три брака и уйма похождений, женщины всегда были моей страстью и наваждением, жизненной целью. Я жил, чтобы наслаждаться звериным, а может, божественным даром осязания, но никогда не испытывал такой бешеной страсти, такого восторга, как с тобой. Прикосновение к твоим ногам, рукам, спине — это же воспарение духа, счастливое помрачение сознания. Ради чего еще жить? Господи, да ради одного этого: тронуть твое бедро...

Что это — проделки осязания, обезумевшее тело? Или начало любви? Девушка мне нравится, я хочу ее осязать. Старческая блажь? Кому бы не захотелось обнять женщину, сорока годами младше? Даже в свои сто двадцать... А если ты ведешь дневник, как удержаться, чтобы об этом не написать? Старый сатир и юная нимфа — упорно эксплуатировавшие эту тему античные народы знали, что делают. Молодые, куда более молодые подружки обладают ценным качеством: они не нарушают твоего одиночества. Их целиком поглощает нескончаемая жизнь, и потому ничто завершенное им не внятно. Ты можешь быть одной ногой на том свете, тебе может быть — да, да! — сто двадцать лет, и все равно им это до лампочки.

1. Соматизация (от *др.-греч.* σῶμα — тело) — один из механизмов психологической защиты, своего рода "отелеснивание" негативных эмоций.

Не из-за угрызений совести, а из самодовольства, что ли, я частенько возвращаюсь к этой теме. Что за тема? Бабло. Согласен: никто не любит тратить деньги, в особенности впустую или даже в ущерб себе, от этого, как правило, появляется неприятный осадок, страх перед грядущими болезнями и экзистенциальное похмелье. (Как и обыкновенное, впрочем, — без выпивки редко когда обходится.) Я же никогда никакого страха не испытывал, осадка у меня не оставалось и ни общеэкзистенциального, ни даже обыкновенного похмелья не бывало. Напротив, мне всегда казалось, что за гроши я получаю абсолют — женское тело. Оно — даже слегка потрепанное — меня возбуждало; меня возбуждало, что я плачу его владелице, что еще кто-то ей платит, возбуждало, что она занимается сексом с другими. За деньги, разумеется, — если бы задарма, то есть самозабвенно, я бы вскорости с горя отдал концы. Нет, пожалуй, не с горя, а от безразличия и скуки. Мне не нужна женщина верная и преданная, а нужна неверная и распутная. И ведь везло: ни одна из тех, что были по-настоящему нужны, не была мне верна. Но моя-то она тоже была... Хуже не придумаешь, состояние тягостное и противоестественное, однако лишь это оживляло и осветляло темную и густую старческую кровь. Иное дело, что не такой уж я любитель половых изысков, никогда не увлекался этими кошмарными секс-игрушками, избегал поз, опровергающих закон всемирного тяготения, и прочих — уж простите — забав.

8

Мне все время казалось, что она со мной. Я старался, чтобы мои женщины были со мной в прямом смысле. То есть постоянно, круглые сутки, без перерывов. Совместные прогулки, обеды и чтение газет. Общая физиология, одни и те же болезни, одинаковый запах тела, одинаковый ритм дыхания.

Теперь такие союзы не в чести. Нельзя садиться другому на голову — это полный отстой; даже в любовном амоке извольте считаться с потребностями партнера; при самом горячем взаимном чувстве непозволительно ограничивать свободу любимого человека, и т. д., и т. п.

А по-моему, либо мы пара, либо не пара. Если пара, то не только на голову друг дружке садимся, но и на шею, на грудь... куда ни попадя; влезаем в печенку, легкие, почки, сердце, в кишки, мозги, селезенку — хоть обделайся, хоть задохнись... Теряем все: своеобразие, индивидуальность, а главное, свободу. О деликатности, взаимоуважении и прочих глупостях можно забыть, всему замена — взаимопожирание. Если лю-

бишь по-настоящему, то тебя в принципе нет. Твое тело, сплавленное с остатками ее тела после чудом пережитого пекла, — чье оно? Твоя душа, слившаяся с ее душой, теряет собственные границы. Нужен не только двухместный стульчак, но и двухместный гроб. У настоящей любви высоченный градус накала и от нее попахивает разложением. Настоящая любовь — безумие... представьте себе пару безумцев, пытающихся сохранить независимость! Ни безумия, ни любви, ни независимости. "Везде, всегда с тобою буду вместе"[1] — девиз тех, кто по старинке верит в упоительное помешательство, потерю разума и помрачение сознания. Или любовь, или свобода. Мои бывшие эти стихи знают; Зуза ознакомилась лишь с предисловием к сборнику, да и то не полностью. Я засыпал в кресле и просыпался, по привычке не сомневаясь: она со мной. Из кухни доносятся какие-то звуки — неудивительно, ведь со мной здесь кто-то живет. Кто? Сам не знаю, на каком жизненном этапе я проснулся.

9

Старые раввины говорят: первая жена — это жена, остальные не в счет. Думаю, они правы. Относительно двух моих следующих жен могу сказать, что это было трагическое недоразумение. (Следующие не после Зузы, а после первой; Зуза — моя последняя любовь, первой была Нулла, а затем — два фиаско.) Один раз я поверил, что магия красоты все перешибет, во второй раз поставил на полную противоположность и... просчитался: так называемая интеллектуальная связь, то есть бесконечные разговоры тоже всего не перешибли — не спасали, не помогали, не дополняли, не исцеляли и бог весть чего еще не делали. Вообще-то — вопреки моим намерениям — вторая тоже была хороша собой и все прочее перестало иметь значение. Мы заключили тщательно продуманное соглашение — своего рода торговый договор. За это — то и то-то, а за это — то-то и то; живи и наслаждайся покоем. Я всегда о таких отношениях мечтал. Оказалось, я не разбираюсь в людях. Бог его знает, когда трудно вылезти из постели, а когда в постель трудно лечь.

Зато первый брак я считаю рекордом. Как по качеству, длительности, страстности, так и по всяким иным параметрам. Сейчас почти никто уже так не живет, тогда перед нами

1. "К М..." А. Мицкевича (перевод М. А. Зенкевича) из первого опубликованного сборника "Баллады и романсы" (1822).

была вечность. Начали мы рано — во втором классе лицея, то есть, если не ошибаюсь, в шестьдесят четвертом году, а разводились почти тридцать лет спустя, в середине девяностых. Я-то был готов стартовать еще раньше. На Нуллу положил глаз сразу, в первый же день, когда подростков, толпящихся во дворе лицея, высокопарно поздравляли с восхождением на последнюю ступень школьного образования. Честно говоря, нельзя было не заметить высокую стройную длинноволосую блондинку, окруженную стайкой подружек, выглядевших на добрых пару лет ее моложе (пожалуй, следовало бы сказать: инфантильнее). Нулла уже была женщиной, они — еще нет. Она знала секреты макияжа и умела осветлять волосы настоем ромашки, им такие ухищрения казались греховными. Ей знаком был вкус алкоголя, сигарет и не только, они считали это преступлением. Я б не стал биться об заклад, что она девственница, но поспорил бы с любым, кто утверждал обратное. Она не обратила на меня внимания. Я выглядел еще недорослем, а у нее был парень из выпускного класса — ничего серьезного, но как-никак был. Поняв, что ему вот-вот дадут отставку, он, не жалея сил, вступил в безнадежную борьбу. Нулла легко одержала победу — она его не любила. Меня, впрочем, тоже. Но мой вариант был более приемлем. Тестю я нравился — не только потому, что, как выяснилось, мы болели за одну и ту же футбольную команду; со временем я стал понимать, что сказать "нравился" все равно что ничего не сказать, поэтому (не сильно нарушая собственное правило избегать пафоса) рискну признаться: несмотря на мои многочисленные грехи, тесть никогда не переставал в меня верить. Как-то так складывалось, что из близких людей самым близким всегда оказывался именно он.

10

Впереди у нас была вечность, и это было хорошо. Тесть старательно избегал разговоров "о всякой ерунде". О вечности, о старости, о смерти. А если все-таки звучали какие-то предположения или замечания на сей счет, злился и замыкался в себе. Его стратегия строилась на отмене будущего, которое маячило где-то на горизонте. А вдруг не наступит? Вдруг жизнь, какая ни на есть, не оборвется? Вдруг старость окажется излечимой?

Иной раз тесть вынужденно (положение обязывало) демонстрировал гордыню. Например, отказался поставить на дачном участке сортир, то есть сооружение, с которого — и, кстати, абсолютно правильно — на польской земле начина-

ются любые строительные работы. “Прошу прощения, пан директор, а куда вы в случае чего?..” — “В кустики, как тысячи моих предков”, — надменно ответил тесть. И в душе добавил, что намерен провести здесь “остаток вечности”, однако развивать мысль не стал — поставил работягу на место, и хватит.

Между тем жизнь ускоряла свой ход, а уж когда ход ускоряется, ничем хорошим это не заканчивается. Ни для меня и ни для кого.

Встречаться с ровесником было не принято. В те времена комбинации: он моложе, она старше, он ниже, она выше — были не в моде. Прятаться? Why not[1]? Неисповедимы эротические фантазии юных дам. Кстати, без тактильного контакта она — в отличие от него — вполне могла обойтись. Однако она была покладиста. Можно сказать, согласилась выйти за него замуж из вежливости.

Нулла жила буквально в двух шагах от школы, на улице Дзержинского. Сто, если не двести раз я собирался написать повесть под названием “Любовь на улице Дзержинского” — наконец час настал. Пора, начинаю.

История должна завершиться разрывом. Этого требует сюжетное правдоподобие. Обоим надлежит к окончанию школы друг дружкой насытиться и... пока-пока, разбежались. Воспоминания о первом поцелуе смутны и неприятны. Пустяк, но трещинка появилась. Когда тебе шестнадцать, ты строишь возвышенные планы на всю жизнь; нерушимость их, правда, нулевая, но ведь юность закончится нескоро. Тебе шестнадцать лет — да, это юность, но и в двадцать шесть тебе по-прежнему шестнадцать, и в тридцать шесть, сорок шесть, пятьдесят шесть... и в шестьдесят шесть тебе те же шестнадцать. Остаток жизни ужасно короток — так уж заведено природой. Вдобавок одолевает скука и на все говоришь “нет”.

Штука в том, что сами они не говорили “да”. За них “да” говорили все вокруг, они пребывали в так называемой атмосфере благожелательности. Никто не препятствовал, все одобряли. А ведь пуритане с южных окраин должны бы вознегодовать. Красная невеста? Любая другая, какая угодно: белая, черная, желтая — любая лучше! Иное дело, что их случай был не первый: несколько разноцветных невест (нет, чтоб сменить окраску!) дозволили диким и незрелым пуританам себя похитить; кстати, пуритане эти отнюдь не по-пуритански делали с ними, что хотели. Срам? Да еще какой! А вот для идеологических разногласий почвы не было. Будущие тесть с тещей верили в диалектиче-

1. Почему бы и нет? (*англ.*)

ский материализм и существование Бога ставили под сомнение, хотя и без особой уверенности. А мои отец и мать без особой уверенности в Бога верили. Серьезного отношения к этим проблемам от них никто не ждал: слишком еще были молоды. У тех и других родителей имелись свои правила, но соблюдали они их не слишком строго. Ну как сражаться за принципы, которые знаешь только по верхам? Мои предки были "за", поскольку считали, что в случае чего тесть поможет. Тесть с тещей были "за", поскольку полагали, что сваты будут на их помощь рассчитывать, и это поднимало их в собственных глазах. Предки были "за", поскольку иметь связи в партийных кругах считалось хорошим тоном. В общем, мы с Нуллой могли делать все, кроме того, чего нам больше всего хотелось.

Нуллина мать, особа проницательная, накрывала нас столько раз, что сама удивлялась, если никого не заставала дома. Она работала в школе по соседству, и ни для кого не составляло секрета, что то и дело забегает домой. И что? Ничего. Секс стоил таких конфузов. Самый что ни на есть настоящий секс с настоящей женщиной. Не было нужды убивать время на воображаемые груди и бедра. Все было под рукой.

Два раза нас застукал Нуллин отец, а застукав, делал вид, будто ничего не заподозрил, чтобы, упаси бог, нас не смутить, чтобы, упаси бог, мы не передумали. В былые времена целые тома посвящались надрывному живописанию трагических судеб любовников, которым не дано соединиться. Современные авторы заверяют: "Никаких трагедий, довольно". Трахайтесь!

Отец Нуллы был важной партийной шишкой воеводского масштаба, однако драконовских порядков в подведомственном регионе не вводил и занимался в чистом виде научной фантастикой, то есть экономикой социализма: разрабатывал программу повышения народного благосостояния вплоть до 2000 года. Он производил впечатление человека необычайно сурового, на самом же деле под зверской наружностью скрывалось голубиное сердце. Предположение, что он примкнул к коммунистам по своей воле, не лишено оснований: нельзя забывать, чем было выдвижение на ответственную должность для жителя подкраковской деревушки. Боже, какая там царила нищета! Направляющийся в Краков поезд, оставив позади Силезию — темный край изобилия, — мчался среди крытых соломой убогих хат. Там было черно от плодородной сажи, тут — золотисто от несъедобной соломы.

И была бы у них с братом одна пара башмаков на двоих, одна рубашка, один костюм... а так обуви — на лето, на зиму, на весну — сколько душе угодно. Как и рубашек, и безукоризненно сшитых модных костюмов. К материальным благам тесть был

довольно равнодушен, однако одобрял основы системы, позволяющей производить вещи, какие раньше и присниться не могли. Пускай малыми сериями, которых едва хватает для местного начальства. Известно ведь: это изменится... Со временем диапазон благ невообразимо расширился: огромная квартира, отпуск в закрытых пансионатах, служебный автомобиль с шофером, подобострастные подданные. "Вы абсолютно правы, пан директор". Вот этот самый пан директор дважды нас и застукал. Знакома вам такая ситуация? Знакома, с кем не случалось. Неземной накал страстей, а в дверь характерный звонок. Характерный, стало быть, худший из возможных. Один раз Нулла открыть могла, второй раз — нет. В первый раз, натягивая штаны, я сиганул в комнатку для прислуги, во второй открыл дверь и срывающимся голосом сообщил — всячески подкрепляя слова жестами, — что Нулла переодевается, а я из деликатности жду в прихожей. Казалось бы, ясней некуда: один раз — расхристанная и взбудораженная дочка, другой — расхристанный и взбудораженный будущий зять; ей-богу, даже самым искушенным марксистам не составило бы труда догадаться. Тестю (будущему тестю), однако, категорически не хотелось ставить нас в неловкое положение. Он делал вид, что все в порядке, хотя — не сомневаюсь — слышал, как в комнатушке за стеной стучит мое ошалевшее сердце.

11

Повторяю: разойдись их дорожки после выпускных экзаменов, были бы шансы и на выстраивание неплохих отношений, и на пристойный финал. Но, увы, оба зачем-то подались на полонистику. Я упивался Нуллой, хотя, теоретически, уже мог бы сказать себе: "хватит, насытился". Однако этого не случилось — я вел себя, как наивный сопляк, которому секс застит весь свет. А Нулла поступала хитрее. Возможно, и безотчетно, но хитро. Хотелось бы знать, существует ли до сих пор понятие "женская хитрость" и означает ли то же самое, что означало? Так вот, Нулла кое-что делать отказывалась, но давала понять, что, конечно же, сделает, когда придет время. Речь шла о вещах гораздо более тонких, чем оральный секс. И тем не менее: жди, пока рак свистнет. Самая жалкая часть души (но не тела) приготовилась ждать. Два года до окончания школы, пять лет в университете; потом он уже не ждал — просто оставался с ней. Лет двадцать с гаком, а если точнее — почти тридцать.

Я не изменял ей ни в лицее, ни в университете, то есть до свадьбы хранил верность. Измена? Боже, какое архаичное

понятие! Мы поженились на четвертом курсе. Тесть закатил банкет в недоступных простым смертным залах Общества польско-советской дружбы. За огромными окнами, будто вымершая, зияла пустотой Рыночная площадь.

Менее тривиальной я сделал ее жизнь два года спустя; долго ждать не пришлось — она отплатила мне той же монетой. Знаете, как обычно бывает: труднее всего первый шаг. Дальше идет как по маслу. Не могу удержаться, чтобы не описать в подробностях (вечным пером "Монблан", копия модели 1912 года) то свое, первое, приключение. Разумеется, я не собираюсь ничего анализировать, тем более с юношеской наивностью искать зловещие знаки.

12

Мать обрушила на меня потоки невыносимого оптимизма. Что бы я ни сказал, все встречает бурными восклицаниями. Ур-р-ра! Прекрасно! Самое время! Вроде бы правильно: добро побеждает зло и т. д. Но с той истории началась кривая дорожка, которая привела меня в холодные объятия Зузы.

Третья персона подобна увеличительному стеклу...

13

Жаркой августовской ночью в конце семидесятых годов прошлого столетия я вышел из вагона на пустой станции Белосток-Центральная и, с мраком в душе, подошел к расписанию посмотреть, когда ближайший обратный поезд в Краков. Возможно, именно тогда во мне зародилось стойкое отвращение к путешествиям, хотя к данному конкретному случаю это не относится: путешествию предстояло завершиться важным эротическим приключением. О чем-то подобном я тогда только и мечтал. Перевалил за середину очередной год томительной молодости; дальше все пошло лучше некуда. Моя первая жена Нулла была необычайно привлекательна; я ей не изменял, но измена не есть функция красоты. Нотабене: сейчас супружеская измена — тьфу, ерунда, но когда-то могла потрясти основы брака. Как сказал бы про тех, кому изменяют, юный Томас Манн: "С этого момента он будет вести не такую тривиальную жизнь, как раньше"[1].

Мне нравились другие женщины, но красота не есть функция верности. Когда-то на чужую собственность посяга-

1. Т. Манн "Кровь Вельзунгов" (перевод Е. Соколовой).

ли герои-одиночки, отчаянные смельчаки; сегодня имя им — легион.

Тут и голову не надо ломать: сексуальной левизны не существовало — не было ее ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. За исключением разве что старых католических пособий типа "Как засвидетельствовать недействительность брака и осуществить его расторжение". Только там вероломство, то есть прелюбодеяние одного из супругов, трактуется серьезно. Больше такого нигде не найдешь, теперь это сущий пустяк. Переспать с женой приятеля — не измена. Ни с чьей стороны. Когда-то — да. Когда-то это свидетельствовало о потере человеческого облика. Сегодня — нет. Попадался ли вам, например, современный роман, посвященный проблеме промискуитета? Не попадался, потому что их не существует. Неужели нынешним авторам такое не по плечу? По плечу. Но как описывать то, что еще беспринципнее, чем бумагомарание? Или признано извращением? Теперь вот на это плюнули и забыли — хвалиться тут нечем, но и горевать не стоит. Широта проблемы обернулась почти полной потерей ее значимости. Измена, некогда ломавшая человеку жизнь, превращавшая его в собственную тень, толкавшая к самоубийству, сейчас стала всего лишь мелким грешком.

Я уже был готов. Еще не залезал в чужой огород, еще ни о чем таком не писал, но уже знал: впереди не будет ни сомнений, ни угрызений, и разлад с самим собой мне не грозит. Если имеется какой-нибудь приемлемый моральный кодекс, то его главный параграф должен гласить: "Ни в коем случае нельзя отступать". Иными словами: "Совокупляйся, друг, плюнь на обстоятельства, так и так в процессе совокупления для тебя ничего больше не будет существовать". Я мечтал, чтобы эти слова наконец стали плотью. Вокруг нашей кровати полыхала мебель, горел дом, пылал город: скорей бы уж теории начали воплощаться в жизнь! Мрак в душе постепенно уступал место надежде.

Предчувствовал ли я, что Господь пошлет мне Алицию К., проживающую на улице Грунтовой в городе Белостоке? Предчувствовал... в общих чертах: меня иногда посещали приятные, но смутные предчувствия. Так или иначе, желание немедленно вернуться домой улетучилось, и я огляделся: вот-вот должен был подъехать автобус, на котором мне предстояло совершить второй и последний этап эксцентричного путешествия.

Кажется, я еще не объяснил, что вообще делал на белостокском вокзале. Какого черта меня туда принесло в такую несусветную пору? Объясняю: я тогда работал в двухнедельнике

"Студент", и редакция время от времени куда-нибудь меня посылала. Особенно охотно летом, когда, как грибы после дождя, множились разнообразные культурно-каникулярные или каникулярно́-культурные студенческие мероприятия. Я приезжал, словно ревизор, с проверкой и писал отчеты, обширные (наиболее удачные) фрагменты которых публиковались в нашей газете.

Вроде бы в моем распоряжении был мощный (в особенности по тем временам) репрессивно-контрольный механизм, однако я ни разу не заметил, чтобы моя персона или мои действия произвели на кого-нибудь хоть малейшее впечатление. Никто никогда меня не ждал, по случаю моего приезда никогда не устраивали не только приема или "круглого стола", но даже уборки; никто не обращал на меня внимания, все продолжали заниматься своим делом, то есть ничего не делали, от всех разило перегаром, и это было хорошо.

Возможно, причиной была усталость и недосып, возможно (далеко не впервые в жизни), черт-те что лезло в голову, да мало ли что еще могло примерещиться, но в одном сомневаться не приходилось: мы неслись по болоту — по узенькой тропке, на полном газу! Неужели это был единственный известный водителю кратчайший путь до Тыкоцина? Кратчайший-то он кратчайший, но достаточно какой-нибудь несчастной рытвины или камня, чтобы автобус, подпрыгнув, чуточку свернул в сторону — и готово, пиши пропало. Если б у здешних топей хоть дно имелось, так нет же, они бездонные... будем до скончания века кувыркаться в грязи и иле, пока не доберемся до пекла.

Я пытался разглядеть в зеркальце лицо водителя: не искажены ли, часом, его черты суицидальными намерениями, и не собирается ли он в приступе отчаяния совершить расширенное самоубийство (расширенное за мой счет — я был единственным пассажиром мчащейся на бешеной скорости, если не сказать летящей, колымаги), — но нет, ничего подобного, лицо было суровое, загорелое, с утешительными следами регулярного потребления доморощенных крепких напитков. Я с облегчением вздохнул: не вражеской территорией была окружающая нас трясина, не западней, устроенной природой, не источником смертельной опасности — нет, я попал в гостеприимный уголок земли, населенный славным племенем самогонщиков. Топкую почву покрывала сеть более-менее надежных тропок; некогда лишь кое-где пролегали тайные тропы, но сейчас, куда ни поставь ногу, почувствуешь опору; бояться нечего, даже дно близко.

Из тучи пыли вынырнула другая туча — развалины Большой синагоги; очередные тучи пыли обозначали: развалины замка, развалины монастыря бернардинцев, развалины костела Пресвятой Троицы, развалины алумната[1]. В последнем случае определение "развалины" не совсем отвечало сути: алумнат, конечно, требовал капитального ремонта, но, в отличие от других, обращенных в прах, достопримечательностей, по крайней мере, стоял, имел стены и крышу. Душевые — хуже поискать, однако, часок потрудившись, удавалось выдоить из крана теплую воду. В комнаты пускали на ночлег *как бы художников*, которые, чуя дармовую жратву и выпивку, потянулись сюда вслед за студентами, словно маркитантки за войском. В целом там было неплохо. Я — *как бы писатель* (мне предстояло провести литературный семинар) — получил в алумнате отдельную комнату; не помню, что она собой представляла, но вряд ли это была совсем уж нора — ведь, когда пробил час, я, не раздумывая, привел "к себе" Алицию К. Она окинула хоромы взглядом, далеким от восхищения, однако я б не сказал, что ее обескуражила меблировка или отсутствие личной ванной. Женщины, как правило, благосклонно относятся к помещениям, где им приходится снимать трусики.

14

Пока же я выскакиваю из автобуса на тыкоцинской рыночной площади; время — четыре, максимум пять утра, уже светло, уже жарко, еще август, последовавший за длинным июнем и бесконечным июлем, но и его дни сочтены; выскакиваю и... попадаю прямо в объятия Сары Каим, куратора Летней студенческой гуманитарной школы. Сара, насколько я знал, всегда руководила подобными мероприятиями; злые языки поговаривали, что она вообще приросла к руководству навечно. И впрямь: невооруженным глазом видно, что ей не меньше тридцати, а о том, чтобы отлипнуть от студенческой жизни, и речи нет, наоборот.

В те годы такое бывало, и неважно, чем занимался штатный студенческий деятель, главное, должность была пожизненная. Сорокапятилетняя активистка, без которой универ-

1. Алумнат (от *лат.* alumnare — воспитывать, вскармливать) — в католических странах закрытое учебное заведение. В Польше так называли бесплатные образовательные заведения, предоставлявшие воспитанникам жилье, а также приюты для инвалидов войны; построенный в Тыкоцине в 1633—1647 гг. и перестроенный в середине XVIII в. приют является памятником старины (сейчас служит гостевым домом).

ситет бы развалился. Куратор организации, так и не научившейся существовать самостоятельно, и т. д., и т. п. Иногда, очень редко, кто-нибудь из этих вечных студентов получал назначение на руководящий пост, однако выше уровня воеводского комитета никогда не поднимался; впрочем, и это было не пустяк. Но, повторяю, даже такие взлеты были редки: как правило, вечные неудачники (а может, баловни судьбы?) толклись в тесном помещении близ комитета; там они пили чай, рассказывали соленые анекдоты и ждали манны небесной. Сара Каим от них отличалась, я бы сказал, своей неиссякаемой витальностью; она была пышнотела, решительна и умело распространяла вокруг флюиды загадочной эротичности. Возможностей показать себя у нее хватало. Жила она одна, и в ее постели перебывали самые невероятные личности мужского и женского пола. Друг-дипломат вечно был за границей; друг-футболист (намного ее моложе) вечно пробовался в каком-нибудь из европейских клубов.

Но вообще-то Сара не могла забыть свою первую любовь. Парень был симпатичный, но, к сожалению, напрочь лишенный амбиций. Она — в университет, он — ни туда ни сюда; она не возвращается, дает ему время одуматься, он — ни на шаг из Петркова. Что делает, неизвестно; чудаковат; чем дальше, тем хуже — потом и вовсе рехнулся.

После бурного романа с некой фигуристкой Сара долго приходила в себя. Ни с кем не связывалась, отдавая предпочтение оргиям. Любой мог ее поиметь; любой — при условии, что иностранец и не знает, куда девать доллары. Про нее ходили разные слухи; она не опровергала даже самые оскорбительные. Больше того: нелепые версии (только нелепые, то есть не заслуживающие доверия) демонстративно поддерживала. Идеально умела изображать на лице немое удивление: мол, как вы догадались?! Уверяла, что письма писать ей трудно, а ехать куда-либо нет ни сил, ни здоровья, ни денег. Якобы погруженная в невеселые раздумья, на призывы не откликалась.

По сути, одинока она была, потому что ни с кем не могла найти общий язык. В те годы совместная жизнь была немыслима без обоюдного умения уступать. Сара же искусством компромисса не владела, и гармонии в отношениях не получалось. Если везло с постелью, из рук вон плохо обстояло дело с кухней, и наоборот. Она обожала ездить по свету (у вечных студентов не бывало проблем с получением заграничного паспорта), а ей всегда попадались домоседы, предпочитающие часами торчать перед телевизором. Она ненавидела футбол и ничего в нем не понимала — и переходила из объятий одного фаната к другому. Читала книги, а они не читали. Слушала му-

зыку, а они не слушали. В конце концов она махнула рукой; в уме у нее неоновой вспышкой сверкнул не слишком конкретный вывод: "Все мужики — дебилы" — с той поры мерцавший постоянно. Она перестала устраивать свою жизнь и занялась сотворением видимости.

Сара постоянно кого-то ждала, кого-то к себе поселяла, кого-то высматривала. Но не абы кого! Она давала понять, что ей подходят только птицы высокого полета. И что отношения должны быть наполовину эмоциональные, наполовину деловые. Иногда может преобладать чувство, иногда — служебный долг. Получалось, что с начальством не только спят, но и на него работают. Что́ для начальников можно делать? В интеллектуальном плане, естественно. Речи им писать? Почему бы нет? — мастерства ей было не занимать. Но больше всего Саре нравилось воображать, будто она сочиняет тексты выступлений для КОГО-ТО, близкого к руководству партии и правительства. И что с этим КЕМ-ТО ее связывают еще и отношения иного рода, что, впрочем, не столь уж важно. В своих фантазиях она воспаряла исключительно на высочайший уровень и ниже не опускалась. А то, что делала, у нее и вправду здорово получалось. Я знал ее только в лицо, она меня вообще не знала, но Сара не была бы Сарой, если бы упустила случай... Итак, я выскакиваю из автобуса, попадаю к ней в объятия, и она радуется мне, будто я ее брат или возлюбленный. С какой стати? Гадать не имело смысла. Ведь она не меня ждет. Мы даже не знакомы. Непонятно, что ей взбрело в голову. Хочет показать, что всех на свете знает? Да кому тут показывать — рыночная площадь в такую рань пуста. Одновременно Сара заглядывает в автобус, посматривает, не клубится ли пыль на дороге, — значит, кого-то другого ждала? Кто-то другой должен был приехать? "Куда же мне тебя положить? Куда тебя положить?" И вдруг меня словно током пронизало: я увидел ее странную улыбку и внезапно понял... Активистка, благодаря своей способности принимать молниеносные решения, предстала передо мной в наилучшем свете. Наконец кто-то обратил внимание на мой приезд...

15

Зузы еще не было на свете. И долго не будет.

Алиция К., тогда на несколько лет младше меня, сейчас, можно сказать, моя ровесница. Дама около шестидесяти. Страдает лишним весом.

Саре под семьдесят. Неудивительно, если ее уже нет в живых. Или она давно за границей. Карьеру вряд ли сделала, я

бы знал. Училась она на филологическом. По сю пору некоторые студентки этого славного факультета носят с собой огромные, набитые книгами сумки. Сара была их предтечей — всегда таскала огромную сумку, набитую книгами. Когда мы впервые куда-то шли вместе, я, заметив, как тяжело она дышит, с учтивостью деревенского ухажера взял из рук дамы не то сумку, не то матросский вещмешок. О Господи! Я слабаком не был, однако меня пригнуло к земле! Руки, тогда еще послушные, не удержали груз (Фолкнер, Хемингуэй, Беллоу, Маркес, Бабель, Флобер).

Алиция К. была стройной шатенкой среднего роста. Одевалась странно. Жаркое лето, а она в каких-то шалях, вуалях, бесформенных свитерах... но я примирился с тревожным признаком отсутствия бюста. Ценю прямолинейность.

Зузу заподозрить в отсутствии бюста можно лишь умозрительно. И собственный, без корректировки, у нее в порядке. Ко мне она по-прежнему является в своей спецодежде. Меня это устраивает: сексапильность сохраняется, а домашности я не требую. Не получилось у нас с домашностью. Мы разговаривали. О чем? Бог весть... Кроме ее красоты, общих тем у нас нет. Кроме красоты и потрясающего умения одеваться. Об этом, как правило, говорю я, а Зуза вставляет короткие меткие замечания. Да, еще ее собачонка... Если называть разговором постоянные угрозы в следующий раз привести эту миниатюрную тварь, то пожалуйста: мы разговаривали об ее собаке. О том, как она будет рыскать среди моих книг и бумаг. Породы не помню, что-то весьма экзотическое, в мое время таких пород не было.

Жить вместе? О да, мы затронули эту тему. Когда уже были обручены. Предложение руки и сердца Зуза приняла. Банкет — буквально на последние деньги — я закатил в "Гранде". Сейчас, постарев, я стараюсь поменьше афишировать свои действия. С метафизической точки зрения "Гранд" — идеальное место. (По мнению Зузы метафизика — все, что пахнет деньгами. В чем-то моя невеста права.) Итак: она, ее сестра с подставным женихом (средней руки бизнесмену роль жениха обошлась недешево), брат с поддельной женой (о нем говорить нечего; ее вульгарность притягивала глаз), я, Влад, три мои бывшие, одна древняя старушонка и ксендз Калиновский. Пили крепко, на изысканную жратву никто внимания не обращал; я, расчувствовавшись чуть не до слез (как всегда, когда выпью), возжелал немедленно рассказать Зузе, как будет чудесно: я пишу, она хлопочет по хозяйству — можно жить. Поворачиваюсь к ней, а ее нет, смотрю на гостей — их

и без того было по пальцам перечесть, а стало еще меньше... что за дела? Это что за дела?! Похоже, покатилось по худшему сценарию... Крепко пили все; ряженые тоже. Ряженых было порядком — можно сказать, они задавали тон. Якобы сестры, якобы свояченицы, якобы женихи... Вино, вино, вино, оно на радость нам дано... Когда пришло время, когда алкоголь разжижил кровь, гости наши, и поначалу не больно понимавшие, куда званы, спьяну сочли, что это привычная им гулянка, и давай скидывать одежку, давай склонять трех моих бывших к сексу без резинки! Оргия в апартаментах Адольфа Гитлера — надо соответствовать! Дамы, хоть и не на такое, бывало, соглашались, в панике, Нулла истерически хохочет; никто не понимает, что происходит, вроде бы ничего особенного, ну, чуток перегнули палку, мы с Зузой догадывались, что прием по случаю нашей помолвки пуританским не будет.

Я с нетерпением ждал, когда Зуза наконец поймет, что у меня действительно нет кассы. До сих пор все мои намеки на этот счет принимались за неудачные шутки. Что она сделает? Немедленно съедет или подождет до утра? Я поставил на безотлагательность. Впрочем, "съехать" в данном случае было бы понятием условным — так же, как условным было ее у меня проживание: она даже границ своей территории не обозначила. Кое-какое откровенное бельишко в ящике... да, я обливал слезами эти кружева, я ведь знал: не получилось и не получится.

Зуза притворялась, делала хорошую мину при плохой игре, но она устала. Ей надоело. Надоело играть в дом и супружество. Надоело играть в свободу. Вроде бы она занимается тем же, что и прежде, только в иной аранжировке. Имеет разрешение, но на фиг оно ей, ни в каких разрешениях она не нуждается, разрешение ее только стесняет. Иначе говоря, теперь и прежде — совсем не одно и то же. Истинная свобода — это когда никого нет рядом. На что ей моя толерантность, если само мое присутствие раздражает! "Мы вместе, но я занимаюсь тем же, чем прежде, да?" Увы, так не получится. Если мы по-настоящему вместе, все, что было прежде, должно измениться. Все, начиная с имени и кончая звонками по мобильнику. В чужом присутствии даже на нейтральный звонок не всегда удобно ответить, а уж коли звонят по объявлению... И как обговаривать условия? Шлюха шлюхой, но по складу характера Зуза была интровертом. Томилась, когда я иногда водил ее ужинать.

— Все догадались, кто я и чем занимаюсь.

— Никто ничего не заметил.

— Да ведь сразу видно.

— Что видно? Ничего не видно.
— А эти улыбочки? Ты что, слепой?
— Не надо было так вызывающе одеваться!
— Ага, все-таки...
— Что — все-таки?
— Я была одета как шлюха.
— Не говори чепухи!
— Посмотрим, что скажет твоя мать, когда меня увидит...

Аргумент этот не обрывал дискуссию, а лишь увеличивал ее накал. Зузе не хотелось, чтобы в ней узнавали путану, однако никем другим выглядеть она не умела. Проблема и впрямь была нешуточная. Ведь рано или поздно мне придется представить Зузу матери... в то же время я был уверен, что никогда, ни за что этого не сделаю. Мать за свои восемьдесят шесть лет всякого навидалась. Зуза может облачиться в покаянное рубище, состричь наращенные волосы, обойтись без макияжа, использовать сколько угодно иных способов маскировки или демаскировки — мамашу мою не проведешь. Матери, установившей, что моя невеста — продажная девка, я боялся в тысячу раз больше, чем Зузы, убедившейся в отсутствии у меня кассы. Да, матери (на то она и мать) — в тысячу раз больше, однако на случай, если станет совсем уж невмоготу, у меня был в запасе тщательно разработанный план бегства от действительности.

Не секрет, что в последние годы я езжу в Вислу намного реже, чем раньше. Сижу в Варшаве, за пределы Хожей улицы ни ногой, и эта почти идеальная неподвижность меня устраивает. Главное, я в безопасности. Ведь даже здесь иногда лезет в голову, как, когда и где это сделать. Вроде бы на горизонте видны подходящие высотки, но, во-первых, прыжок с крыши многоэтажного дома оригинальным никак не назовешь... впрочем, мне не оригинальность нужна, а эффективность; во-вторых, дотуда все же далековато. Топать черт-те сколько, чтобы добраться до пустыря, где стоит полдюжины подзабытых гомулковских высоток[1]? Блуждать там? Глина, трава, бурьян... Исключено. Просто исключено. Чего-чего, а недоскребов в Варшаве хватает. Поближе. Подальше. На любой вкус. Подъезд — как после разрухи... Ну чего я привередничаю?! Или решаешь наложить на себя руки, или нет. Во всяком случае, о таких вещах не пишут. Если человек начинает писать (и уж особенно если расписывает в подробностях),

1. В "гомулковскую эпоху" в новых районах крупных городов строилось большое количество многоэтажных панельных домов.

значит, с ним не все в порядке. Это болезнь, при которой больше вони, чем боли. Хотя, вообще-то, что может быть проще? Да, так о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что в варшавской квартире нет условий для суицида. Есть, конечно, такие удобные варианты, как тайком пронесенный за решетку яд, мушкет, лук, арбалет, праща. Зато в нашем доме в Висле столько крепких труб под потолком, что... хочется жить!

16

Впервые ее (Алицию К.) я увидел на берегу Нарева, а уже на следующий день получил неоспоримое подтверждение тому, что вуали, шали и свитера скрывают бюст безупречной формы, тугой и неподдельный. Господи, нет большей радости, чем обнаружить бюст у женщины, которую в наличии оного не подозреваешь. Когда-то я эту мысль записал — сегодня охотно повторяю. Однако подобные триумфальные открытия редки. Фиаско куда чаще. Да что ни возьми: превалируют фиаско и упадок духа. Надо бы составить перечень эротических побед, но не очень впечатляющий получается список — с дырками, как моя голова. Ну да ладно. Выпили мы прилично — грамм по четыреста. Пили с беззаботностью молодости, уверенные, что нас ничто не возьмет. Алиция сказала, что на нее спиртное не действует. У меня же впереди была куда более важная задача.

Я помню все, кроме того как с ней заговорил; как мы познакомились — вот чего я не помню! Незнакомая привлекательная женщина прогуливается над Наревом, а потом — сразу постель. Мой ироничный мозг выдает исключительно картины природы — цивилизация, если когда-либо и была, полностью стерлась. Неудивительно, впрочем: тот, кто всю жизнь бегает за юбками, с цивилизацией не в ладах. А может, цивилизацией, как таковой, и не пахло? Может, я и не подумал завести разговор, представиться? Может быть, до знакомства дело не дошло: сразу в койку? А по дороге — в кабак? Не знаю. Дырка в башке. Но, кажется, это касается только первого случая (напоминаю: труднее всего первый шаг, дальше идет как по маслу... и т. д.), остальные знакомства я помню. С грехом пополам, но помню.

Каждая, ну почти каждая, считала, что как-нибудь утрясется, найдется какой-нибудь выход, что-нибудь придумается. Что-нибудь придумается, даже если он женат и живет на другом конце Польши.

Обобщая, можно сказать: девушек моей молодости затащить в постель было труднее, чем их матерей, но, вылезши

из постели, они без колебаний занимали извечную позицию. Как-нибудь утрясется... Что утрясется? Что, черт возьми, утрясется? Ничего не утрясется. Я собираю манатки и возвращаюсь домой. И очень тебя прошу об одном: не говори ничего об обоюдном согласии. Ни слова на эту избитую тему.

Если уж они с тобой переспали, то воображают, что теперь вы чуть ли не женаты, что вы — пара, пускай псевдопара, пускай непрочная и грешная, но пара. Теперь понимаете, в чем несомненное превосходство Зузиных соратниц? Вам хоть раз попадалась известного сорта девица, которая, переспав с вами за деньги, затем дала бы понять, что отныне вас с ней что-то связывает? Ровно наоборот! Если вам удалось заполучить приглянувшуюся шалаву, если не помешал (перечисляю основные отговорки) неожиданный приезд брата или сестры, внезапное несварение желудка, неурочные месячные или иная хворобa, если все-таки произошло то, что намечалось, — никто никому быть вместе или регулярно встречаться не предлагает. Напротив: расплатившись, вы с облегчением убеждаетесь, что сия очаровательная особа собирается уходить. И так могло бы повторяться из раза в раз, и были бы вы кум королю. Однако нет, ничего не повторялось, поскольку очень скоро начинали проявляться национальные слабости. Польские шлюхи — сущий кладезь национальных недостатков. Сколько раз они отменяли свидание! Сколько раз не приходили и не считали нужным извиниться или хоть словечко сказать в свое оправдание! Сколько раз опаздывали — и не на час, и не на два! Будто следовали неписаному правилу: договорившись с вами на семь вечера, ровно в семь звонили и сообщали, что, к сожалению, встреча отменяется, потому что неожиданно нагрянул брат. Без брата никогда и нигде не обходилось. Брат увидел ее новые наряды. Брат о чем-то догадывается. Брат явился без предупреждения...

У каждой варшавской проститутки были вымышленные брат и сестра; у некоторых — дети, самые что ни на есть настоящие. Вымышленный брат был на несколько лет старше, вымышленная сестра — почти ровесница, невыдуманному ребенку никогда не бывало больше пяти.

17

Однажды Зуза бесследно исчезла. Ей и до того случалось пропадать: можно сказать, она в этом специализировалась. Первым делом умолк ее телефон, вернее, заткнулся полностью. С миром Зуза общалась посредством эсэмэсок. Согласно старому конспиративному правилу звук у нее в телефоне всегда

был выключен, приход сообщений она ощущала интуитивно. Или не ощущала — и тогда отвечала иной раз спустя неделю.

Ощущала, не ощущала — в данном случае не столь важно: эсэмэски приходили беспрерывно, так что, будем считать, интуиция никогда свою хозяйку не подводила. Если же Зуза бывала сильно возбуждена, если завершала какую-то сделку, готовилась к отъезду или свиданию, интенсивность переписки возрастала — аж звон стоял от беззвучных эсэмэсок. Впрочем, и в спокойные минуты на бескорыстные, дружеские (назовем их рутинными) послания Зуза отвечала тоже быстро и довольно пространно. И конспирацию соблюдала не слишком тщательно: то вдруг прорвется отдельный звонок, то останется не выключенной вибрация или в телефоне что-то пискнет. Но тут — глухо! Все, абсолютно все напрочь отрубилось. Мертвая тишина. Я лихорадочно шлю сообщение за сообщением: что случилось, отзовись, сколько можно, пишу двадцать пятый раз, тебе на меня плевать, может быть, нужна помощь, и т. д., и т. п. Ни-че-го. Глухо, тихо. Послушай, я к тебе еду, не удивляйся, если ты не одна, не открывай, положи на коврик зажигалку, я пойму, что все окей.

Сказано, сделано: еду в район, когда-то окраинный, а сейчас поглощенный городом. Взял такси; к счастью, водитель не развлекает меня разговорами. Со сноровкой не впервые обманутого любовника нахожу нужный подъезд, не дожидаясь еле ползущего вдоль стены лифта, поднимаюсь на восьмой этаж пешком, силы уже не те, едва тащусь, но мои усилия вознаграждены: уже издалека вижу, что на коврике перед Зузиной дверью что-то лежит. С облегчением перевожу дух: простые проблемы решаются просто — выдаю афоризм, подхожу, смотрю... И что? А ничего. Рано обрадовался. На коврике, прямо посередине, кто-то аккуратно положил спичечный коробок. И никакая это не случайность, не чья-то рассеянность, не забавное стечение обстоятельств. Есть о чем подумать, вернее, будет о чем подумать. Пока же я, как безумный, звоню и колочу в дверь. Я знаю: в квартире кто-то есть. Кто-то не дает Тетмайеру гавкать, топит, обернув морду тряпкой, собачонку в ванне и при этом смеется, а потом прикладывает палец к губам.

18

Надо поговорить с Жозефиной. Мне многое известно, но она может знать главное. Жозефина может знать, что с Зузой. Они — подруги, хотя этого недостаточно, чтобы быть в курсе всего происходящего с бесследно исчезнувшей. Ну,

или беспечно упорхнувшей. Скажу иначе: если и Жозефина не знает, дело впрямь нешуточное. Но, скорее всего, Жозефина знает. Точнее, догадывается. Ничего случайного. Чистая логика. Оттуда ее всегдашняя всеведущая улыбка.

Жозефина опекает девиц — неформально, негласно. Дружит с ними и заодно окружает невидимой заботой. Невидимой, ибо ни одна не получала от нее ни поддержки, ни вспомоществования. Тем не менее все уверены: поможет только Жозефина. К ней бегают, ей исповедуются, у нее на плече можно выплакаться. Она подбирает им белье, туфли и платья и обучает элементарным вещам — чаще всего, как пользоваться ножом и вилкой. В итоге Жозефина знает все. Знает, кто слишком много пил, кто отключился, кто перебрал дури. Знает, кто не впервые отменяет свидание и кто кого обокрал. Знает, у кого вдруг завелись наличные, а у кого в кошельке пусто. Знает, кто выпил лишку, кто явился на важное мероприятие во вчерашнем макияже.

Но вот встретиться с Жозефиной непросто, и по многим причинам. Во-первых, Жозефина работает за границей, а конкретно — в Швеции. Она там нарасхват, что ничуть не удивительно: сто восемьдесят сантиметров росту, стройная, тонкая в талии (бюст подправлен), длинные (наращенные) черные волосы и беглое владение английским — устоять трудно. В Варшаву наезжает редко, только чтобы повидать пятилетнего сына.

Вторая причина, по сути, составная часть первой. Успех Жозефины на шведской земле не чисто профессиональный, к делу примешалась любовь. Среди клиентов затесался молодой шведский миллионер. Заглянул раз, другой, третий — на четвертый совсем спекся. Что называется: любовь с первого секса. Влюбился и решил вытащить Жозефину из грязи. Она не влюбилась, но решила выйти за него замуж, чтобы потом развестись и отхватить половину его состояния. Половину, а то и шестьдесят процентов. Вроде бы шведы пекутся о разведенных женах и отваливают им лишних десять процентов. Но это уже не столь важно. У миллионера машины, дома, недвижимость, кэш... всего не перечесть. Сунет руку в карман и, не считая, сколько вытащил — десять, двадцать, тридцать тысяч евро — вручает все Жозефине. Та деликатно отказывается (у них с Зузой одна школа): нет-нет, мне столько не нужно... бери, раз дают, потратишь с умом, а не как я, мне не на что тратить. И Жозефина поддается на уговоры — поломавшись, но не слишком долго, берет. Любовь с перспективой шестидесятипроцентного куша поглощает Жозефину, пребывание в Швеции с каждым разом затягивается, а на роди-

не становится все короче и все плотнее заполнено встречами и переговорами с адвокатами определенного пошиба.

Третья причина перечеркивает две первые. А именно: все может оказаться ложью. Намалюйте эту максиму аэрозольной краской на каждой стене, выжгите раскаленным металлом на каждой доске, нацарапайте золотой иглой в уголке глаза. Слышите, я к вам обращаюсь, знатоки и ценители платной любви: все, что вы покупаете, может оказаться ложью, любая грудь, любая нога, любая прическа может быть ложью, любой час, на который вы договариваетесь, может быть ложью, любая история, которую вы услышите, может быть ложью, всякий поцелуй — ложь.

Скажете, лживый поцелуй ничем не отличается от искреннего? Тому, кто так говорит, не повезло и с правдой, и с ложью. Согласен, отчасти это утверждение верно, но учтите: говоря так, мы вступаем на территорию вымысла. Слово — обман, тело — обман, отправная точка — ложь. Может ли быть правдой большая любовь, рожденная на пустом месте? Пробуйте, пробуйте — и да воздастся вам.

Стокгольмскому миллионеру воздалось. Он, прямо как я, до смерти влюбился в варшавскую курву; бедняга всего не знал, но кое в чем ему повезло: его ведь могло не существовать. Он мог быть вымыслом. Вся Швеция могла быть вымыслом, работа в Швеции могла быть вымыслом, тамошний успех мог быть вымыслом, фантом шведского миллионера, его дома, недвижимость, кэш — все могло быть вымыслом. Тем более что Жозефина в своих рассказах не отличалась последовательностью: один раз Микаэль выгребал из кармана евро, другой раз — кроны; то он занимался строительным бизнесом, то сельскохозяйственными машинами.

Наконец, сама рассказчица явно не выносила длительных разлук с родиной. Сколько раз ее, якобы осевшую в Швеции, видели в варшавских торговых галереях! Она, не смущаясь, с улыбкой отвечала на приветствия, не прикидывалась собственной сестрой. К подобным встречам Жозефина была готова: могла же она в конце концов вместе с Микаэлем на денек-другой махнуть в Польшу на шоппинг. Известное дело: миллионеры любят делать покупки там, где подешевле.

19

Я никогда не был у Зузы. Адрес, конечно, знаю, как-никак пару раз удавалось проводить даму до самого порога. Ни на каком продолжении я не настаивал, ни о чем таком и речи не шло. Ни всерьез, ни в шутку, ни намеками. Во-первых, из-за

дверей почти всегда доносился душераздирающий лай, однако дело было не в собачьей истерике. Я не боялся, — этого еще не хватало! — что, едва дверь приоткроется, Тетмайер вцепится мне в горло. Моей неприязнью к собакам вообще и к этой суперпородистой твари, в частности, проблема не исчерпывалась.

Во-вторых, не было бы ничего проще, чем вытащить из-за пазухи надлежащую (лучше всего заранее удвоенную) квоту, — и вечер наш! Зуза, несмотря на усталость, головную боль, отсутствие желания и что-то там еще, немедленно повернет обратно, мы отправимся ко мне и окунемся в пучину любви во всех ее проявлениях. Однако я считал, что должен быть на стороне усталости, головной боли или отсутствия желания. Да, я, горе-джентльмен, действительно так считал и даже не пытался ни на чем настаивать. Что было ошибкой, но ведь эти строки — сплошь перечень моих ошибок. Требовать от распутницы распутства и таким способом расти в ее глазах? Звучит неплохо, но так ли оно на самом деле?

Короче говоря, Зуза не хотела показывать мне квартиру, которую снимала. Это было очевидно и совершенно понятно. Нет-нет, я не прикидываюсь великодушным папиком, который все понимает и все прощает. В этой истории мне были понятны разве что кое-какие детали, а целое — несмотря на его незамысловатость — недоступно. Зуза не хотела показывать свое жилье, потому что там царил чудовищный, неистребимый беспорядок. Мне это подсказывал инстинкт педанта, мигом учуявшего собственную противоположность. Кроме того, существовала уйма предпосылок, позволявших прийти к тому же выводу логическим путем. Зуза, например, утверждала, что у меня всегда идеальный порядок. Поскольку ей случалось так говорить и тогда, когда в квартире был жуткий кавардак накануне прихода уборщицы, это кое о чем свидетельствовало. Можно сказать, порядок мы себе представляли абсолютно по-разному. Впрочем, это было не единственное различие. В сущности, мы смахивали на супружескую пару старого покроя. Короткая вспышка страсти, посредственный скоропалительный секс и — виват, молодожены! Долгих лет здоровья и счастья!

20

Зуза спала третьи сутки кряду, просыпалась редко, проснувшись, не понимала, где она, и старалась побыстрее снова заснуть. Определенность ее пугала, не под всякой крышей хотелось очнуться — отпадали больницы, вытрезвители и бомжатники, а также почти все без исключения квартиры и поли-

цейские участки, в которых ей доводилось бывать. Город — и даже пару городов — она знала хорошо. Господи, говорила себе, где я и как сюда попала? На этот раз гадать не понадобилось. Обстановка подсказывала: она в гостинице, однозначно. Но в какой? Где? В Варшаве? За границей? В Кракове? На каком языке здесь говорят? Страх подступал к горлу, — какой там сон! — теперь ее ждала бессонница, и не просто бессонница, а состояние на грани белой горячки. Четыре утра — час, не ведающий жалости. Стоп! — не в этой же загадочной гостинице выхаживаться. Четыре утра везде четыре утра, пускай, но только не здесь. Отсюда надо мотать. Немедленно уносить ноги. Она кое-как сползла с кровати, для чего понадобились нечеловеческие усилия; результат — дрожь, холодный пот, полное изнеможение, а впереди еще рискованный поход в ванную. Шаг за шагом, за шагом шаг, а за этим шагом еще один шаг[1]. Стол, на который она оперлась, был заставлен всяким добром: недоеденные закуски, недопитые (как девицы их называют) дринки, славянские разносолы, заляпанный горчицей листок почтовой бумаги — хорошо, хоть сверху можно прочитать: “Отель ‘Французский’, Краков”. В голове смутно нарисовались сцены банкета, промелькнули рваные кадры: кто-то произносит чертовски остроумный тост, кто-то показывает карточный фокус, кто-то рассказывает бесконечную нудную историю. Конечно, время от времени все на секунду замирали, внезапно вспомнив про секс и осознав, что вот он, под рукой; девушки, отправляясь в тот день в апартаменты, знали, зачем едут. Мероприятие затевалось разнузданное, но разнузданность уступала стыду. То один, то другой уводил предмет своего вожделения в дальнюю часть люкса, там языки развязывались, но этим по большей части и заканчивалось. Что хорошо, иначе можно было и не очухаться или, во всяком случае, приходить в себя гораздо дольше.

Вот ты где. В обозначенном красным кружочком пункте. Домой ведут разные дороги. Вроде бы далеко. Но и близко. От Кракова до Варшавы рукой подать! Когда-то... да, когда-то это было целое путешествие.

Добралась до ванной. Глянула в зеркало. Видик — хуже некуда, и это еще мягко сказано. Все пороки человечества угнездились в застывших чертах. Глаза мутные, но все равно дерзкие. Взгляд алчный; что́ ищет, непонятно: то ли спирт-

1. Парафраз строк (“Камень на камне, на камне камень, а на этом камне еще один камень...”) из популярной в 30-е гг. львовской фольклорно-танцевальной песни “Лычаковское танго” (Лычаков — исторический район Львова).

ное, то ли еще что. Порочность видна воочию — в каждом высокомерном (несмотря на панический страх) жесте. Нос одним своим рисунком выдает врожденную завистливость. Губы, хоть и накачанные черт-те чем, по-прежнему не только до сладкого охочи. Брови гневно насуплены. И главное — непреодолимое желание зарыться в постель, хорошо бы с каким-нибудь бухлом, залечь навечно. На веки веков, аминь.

Нашла на столе едва початую бутылку "Джонни Уокера" (вообще-то, с той минуты, как сползла с койки, глаз с нее не спускала). Попробовала, не налил ли какой-нибудь шутник чаю в драгоценный сосуд, но нет, мужики уходили измочаленные и на шутки, даже самые убогие, силенок не хватало.

Виски она не так чтобы очень любила, но четыре утра — не время для капризов, вкусы отступают на дальний план. Нечего привередничать.

Она снова зашла в ванную, но, хотя настроение радикально улучшилось, принять душ не рискнула. Прихватив бутылку, вернулась в постель и последующие три дня воскресала: "Джонни Уокер" был из долгоиграющих, в здоровенном пузыре даже если сколько-то и убыло, считай два литра твои. Ощутимо убывать стало только в ходе лечения, в процессе восстановления физических сил. Да и душевные силы своего настойчиво требовали — им тоже надо было отвести какое-то время. Итак, общий итог: мероприятие — три, если не четыре, дня, то есть заварилось круто (обычно пребывание приглашенных дам исчисляется часами — и скорее двумя, чем четырьмя). Плюс столько же, чтобы прийти в себя; в целом неделя, если не больше. Из Кракова к родителям на Мазуры; там дней десять. Мобильник неизменно вне зоны доступа. Пройдет не меньше месяца, пока, оклемавшись, она решится переступить порог храма божьего, возблагодарить Господа за ниспосланную бутыль.

А пока глотнула из горла, прислушалась к разливающейся внутри ясности... это было прекрасно; кажется, удалось на пару минут заснуть; потом опять стало хуже. Глоток: лучше, хуже; глоток: лучше, хуже и т. д. Цель — не столько выскочить из мерзостного состояния (таких чудес просто не бывает), сколько добиться, чтобы хуже становилось все реже, чтобы наступил наконец перелом и притом в пузыре еще кое-что осталось — последнее невероятно важно. Оставив приличную дозу в бутылке, ты прозрачно намекаешь себе и миру, что не принадлежишь к племени, которое не успокоится, покуда на столе хоть что-то остается. Такая победа — редкость; удовольствуйся этим, рассчитывать на бóльшее не стоит. В награду обретешь силу, а то и всемогущество. Когда хочу, прекра-

щаю, демонстративно оставив на дне заметную толику. Видел кто-нибудь когда-нибудь алкоголика, что оставляет в бутылке хотя бы глоток? Никто и никогда.

21

Возможно слегка отклонившись от темы, призна́юсь: я не храню обид. Не думайте, что я стану вспоминать женщин, которые по глупости меня отвергли; вернее, их тоже, но не это главное, они не в первом ряду. Кстати, с первым рядом (в смысле, кто там числится) будут проблемы; с тех пор как я заболел, память частенько меня подводит или, в лучшем случае, в ней случаются провалы. Иногда блеснет что-то из прошлого, но преобладает пустота. Поэтому я, не откладывая, записываю (вечным пером в черновике) любые приключения Зузы. Самые впечатляющие — те, что касаются ее бывших дружков. Естественно, тогда у меня дрожит рука. Не потому, что я пишу кому-то в назидание или вообще пишу. Рука моя дрожит, ибо Зуза любит говорить о дружбе. Именно о дружбе. А уж какая там дружба при их ремесле! Тем более близкая. Девушки рады бы завести друга, они об этом мечтают, но где взять время? Вскоре — очень скоро — окажется, что куда важнее шмотки (в неограниченном количестве) и косметика (в неограниченном количестве), и все чаще можно будет услышать: ой, давай в другой раз, сегодня никак не получится... Истории заурядные: молниеносное воспарение и долгий, с разными нюансами, распад.

Зузе — тут и спору не может быть — нет равных. Хотя переход из рук в руки был ее очевидной общественной функцией — во всяком случае, открытым видом трудовой деятельности, — хотя она не скрывала своего образа жизни со всеми его вывертами, отчего бывала недосягаема, а уж дозвониться ей, чтобы назначить встречу, и вовсе было немыслимо, Влад (речь об одном из ее дружков) одолел все препоны. Ради себя или ради нее он старался, сказать трудно. Времена сейчас такие, что стараться ради кого-то — занятие непопулярное.

Они стали спать вместе. Не потому, что очень уж хотелось: ей совсем не хотелось, ему — не слишком. Были и другие причины. Во-первых, этого требовали условности: коли уж вы вместе... да и в разных других смыслах; в частности, он старался как можно дольше притворяться нормальным. Во-вторых, обязывали финансовые отношения. Поначалу пошло гладко — это его и сгубило: когда начались неприятности, когда возникли сложности, он оказался безоружным. Спали, как поднадоевшие друг дружке любовники: она мило болтала, бы-

ли еще кое-какие плюсы, он ничего нового для себя не открыл, лишний раз убеждался, что девочка потрясающе сложена, вот, собственно, и все. Дальше — ничего. Кое-как.

— Почему? Что случилось?

— Ничего не случилось.

— Я тебя допек. Если допек, прошу прощения.

— Просто нет ничего лучше тоски.

Через пару дней я осознал, что ужасно тоскую. И был день четвертый, день пятый, день шестой, и вот уже мы — супруги. Оба растерялись; она в меньшей степени, хотя ощущала неизъяснимую тревогу. На восьмой день ей все стало понятно.

— Не хочу, чтобы ты ко мне приходил... Нет, ты меня не допек. Наоборот, с тобой интересно, ты хорошо воспитан. Но я не хочу, чтобы ты приходил...

— По-моему, это нелогично. Кроме того... (Когда речь заходит о принятии решения, логика отступает на дальний план. Я это чувствую. Правда, смутно, очень смутно.) Кроме того, позволь, я сам буду решать.

— Что решать?

— Позволь, я сам буду определять, когда мне ходить в бордель.

— Ого, вижу, проявляются твои лучшие качества.

— С моими лучшими качествами тебе еще предстоит познакомиться.

— Не пугай меня, мы слишком плохо друг друга знаем.

— А по-моему, ровно наоборот.

— Пустые слова.

— Докажи.

— Нечего тут доказывать. Дураку видно, какие из нас муж и жена. Секс это еще не все.

— А по-моему, секс это все. В его лучах видишь остальной мир.

22

С Владом Зуза познакомилась так же, как со всеми: он был ее клиентом. А клиентом стал, выбрав на одном из соответствующих порталов Зузину фотографию. Выбрал, позвонил, поехал. На месте обнаружилось (случай чрезвычайно редкий), что оригинал неизмеримо краше и, как ни погляди, ярче копии. Улыбчивая, приветливая и потрясающе сложенная Зуза была подобна одинокой звезде на мглистом небосводе, пре-

красной белой кувшинке, расцветшей на болоте. Влад, хоть психопат и шизик, сумел это оценить. До поры, до времени он затаился, но, когда пробьет час, покажет когти. Ошибка Зузы заключалась в том, что она чересчур быстро завела с клиентом панибратские отношения. Я понимаю, одиночество толкает на безрассудства, но никогда не слышал, чтобы курва на собственной машине отвозила клиента домой! Чтобы посылала его за покупками, знакомила с родителями! Видно, забыла, что сладко съешь, да горько отрыгнется! Одиночеством всего не объяснить. Зузу ситуация устраивала: Влад не возражает, с Владом я чувствую себя в безопасности, Влад ничего не требует взамен. Мы вместе, но ты продолжаешь заниматься тем, чем занимаешься... Неужели прозвучало и такое (самоубийственное, как я сейчас понимаю) предложение? Неужели Влад и впрямь мое alter ego? Если у меня не получилось, с чего бы у него должно получиться? Зузу всегда тянуло в грязь — вот и попала в рай: мрак подступал со всех сторон.

— Я тебя люблю, люблю тебя и больше не хочу ни с кем тобой делиться. Вначале, когда не любил, вернее, не понимал, что люблю — ведь я люблю тебя всю жизнь, — вначале меня это забавляло, возможно, даже возбуждало... Сейчас уже нет... Заклинаю тебя всеми силами тьмы: кончай с этим... Брось...

— И не подумаю.

— Что ж, раз ты со мной так, то и я с тобой так.

— Как?

— Все, что до сих пор было, долой! Бесстыжие трусики, гадкие стринги, невидимые бюстгальтеры и прочее, и прочее — долой! Полотенца, которыми вытиралось пол-Варшавы, — долой! Ты начинаешь новую жизнь.

Новая жизнь, значит, начинается с выбрасывания старых полотенец? Ну да, новая в символическом смысле. Хотя и в прямом тоже. Что требует гибели некоторых предметов. Я постоянно буду рядом с тобой, все время, днем и ночью. Ты начинаешь новую жизнь; смерть кое-каких предметов — извечный символ. Если не послушаешься, я расскажу кому следует, расскажу и покажу фотографии... Откуда-то у него были фотографии... Зуза не могла вспомнить, позировала она ему или нет. Когда женщина чего-то не может вспомнить, это означает, что такое было. Было, не сомневайтесь.

23

Ни я этих угроз не испугался, ни Зуза. Влад как будто сам не верил в то, что говорил, — такое создавалось впечатление.

Недаром иногда мелькала мысль, что он — плод наших кошмаров. Эта странная ситуация была мне даже на руку: они делали все, что душа пожелает, а я записывал. Не повезло им — наткнулись на хроникера. А мы с Зузой (нам еще больше не повезло) наткнулись на психопата.

Другое дело сейчас... Я постоянно начеку: мне кажется, что в квартире кто-то есть. Она?.. Кто-то был, вне всяких сомнений. Главным образом в кухне, но, случалось, бродил по всей квартире (около пятидесяти квадратных метров). Не являлся непрошенным, не заглядывал по-соседски — просто был. Один раз она спала со мной на диване. Да, спала. Демон женского рода. Я старался не шевелиться, старался (почти удалось!) не коснуться тела этого фантома.

24

Порой Зуза убегала от меня и исчезала. Каким-то чудом я знал: это не наркотическое опьянение и не алкогольный делирий, когда хочется от всех спрятаться, не пятое и не десятое, и она не отлеживается в случайной гостинице, а отправилась с одним из своих хахалей в Париж. Либо в Лондон. Либо в Рим или Афины. Оттуда я получу открытку. Вернется она, конечно, раньше, чем придет открытка. Открытка — из какого мира?

25

Не было выхода, не было спасения, не было вариантов. Практически не на что рассчитывать. Мать в ужасной форме, Зуза — в отличной. Будь так все время, оставались бы хоть какие-то шансы. В основном, увы, бывало наоборот. Но когда-нибудь ведь должно перемениться! Почему не сегодня? Почему сегодня все, как всегда? Надеяться, что мать ее признает и полюбит? Какое там. Все что угодно, только не это. То есть? То есть достойный выход один — самоубийство. А не ошибаюсь ли я, часом, что это единственная возможность? Кто сказал, что такой выход — самый достойный? Может, я зря за него цепляюсь? В Варшаве самое простое — прыгнуть с высотного дома. Только не выбрать сдуру новехонькую жилую высотку или отель с торговым центром на сотом этаже и бассейном на сто первом. Эти устремленные в небесную высь оды к радости категорически не годятся, нужные места там под подозрением, к ним не подступишься — либо охрана стоит, либо кругом хитрые технические устройства. Казалось бы: подкатить на такси, лифтом на двадцатый этаж, открыть окно на площадке и

раз! — прощай, белый свет, единственный и неповторимый. Единственный... а таких, как я, много, позволь, попрощаюсь первым. А вот и нет, ничего подобного! Это раньше покончить с собой было легко. Подъехал, поднялся, перегнулся и — пока, пока. А теперь даже с Дворца[1] не сигануть. Везде заграждения, решетки, заслоны, непробиваемое стекло. И захочешь, ничего не получится! При коммунистах была удобная отговорка: так со всех сторон обложили, что и руки на себя не наложишь... Короче говоря, поспешишь — людей насмешишь. Надо найти спокойную гомулковскую десятиэтажку — такую, что вот-вот развалится, где никакой охраны. Ну а все-таки: почему полет и падение? Да потому, что все остальное ненадежно. Оружие? — всегда подводит. Яд? — дадут рвотное и промоют желудок. Петля? — на веревку нельзя надеяться. Почему? То ли выдержит, то ли оборвется. Утопиться? — а вдруг будет по колено? Изойти кровью? — резану запястья, отключусь, найдут живым. Остается прыжок. Притом, как минимум с восьмого этажа, с меньшей высоты никаких гарантий, может закончиться инвалидной коляской.

Сообщение от Зузы: “Поехала к бабушке. Как ты знаешь, она еще жива. Но все хужеет. Позвоню, когда вернусь”.

Я никогда не был уверен, что правильно понимаю подобные тексты. Сколько в них правды и сколько вранья. Зуза врала, потому что была врунья. Меня тыщу раз подмывало написать историю вруньи. Казалось бы, сядь и пиши. Но нет... не хотелось, чтобы врунья обязательно была шлюхой. Это ведь многое меняет. Даже, возможно, все. А если и не все, то остается осадок, шлам, тлеющие угли как подсказка, что в любой момент все может измениться. Я решил представить Зузу матери не как шлюху, а как женщину моей жизни. Это было рискованно: к женщинам моей жизни мать относилась гораздо хуже, чем к шлюхам. Причины тут слишком очевидны, чтобы стоило их сейчас обсуждать. Напомню лишь избитую истину: шлюха по природе своей — явление мимолетное. А женщинам жизни подавай власть. Для власти же главное — долговечность.

Представляю матери Зузу. “Милая девушка, — говорит она вечером, — очень симпатичная, только одевается ужасно, прямо как последняя шлюха”. Я поздравляю маму (разумеет-

1. Дворец науки и культуры в Варшаве — подарок Советского Союза польскому народу; построенный (1952–1955) по образцу “сталинских высоток”. На 30-м этаже 42-этажного здания есть терраса со смотровой площадкой, откуда открывается панорама города; после ряда самоубийственных прыжков с площадки террасу огородили решеткой.

ся, мысленно) с превосходной интуицией, если не сказать ясновидением, а себя — с умением выстраивать сюжет, хотя, клянусь, в темно-синей юбке и бежевой блузке ничего плохого, никаких признаков блядства или иного непотребства не вижу. Однако не спорю, понимая, что слово матери — глас свыше. Даже если речь идет об одежде? Да, одежда чрезвычайно важна. Как жить, когда нечего надеть? Когда нельзя приобрести то, что хочется? Что за жизнь без джинсовой рубашки. Без черной футболки. Без белых левисов. Скажете, наш народ своей свободой обязан племени, закалившемуся в эпоху дефицита? Бросьте! Просто в стане передовых борцов за свободу никто знать не знал о существовании джинсовых рубашек. (Никто, за исключением Куроня[1], который, впрочем, с присущей ему легкостью перегнул палку.)

26

Сегодня вторник, 9 сентября 2014 года, я сижу дома, на Хожей, и чувствую, что съезжаю с катушек. Вероятно, от одиночества — одиночества в чистом виде, ничем не нарушаемого. Как бороться с одиночеством, что́, еще более весомое, ему противопоставить? Например, я научился выходить из дому спозаранку — конечно, не в три и не в пять утра, это было бы уж чересчур, а часов в семь-восемь. Тогда же запасаюсь основными продуктами, покупаю газеты (Варшава пуста как после эвакуации) и возвращаюсь к себе — и мне кажется, что завершился очередной томительный день. Если же бытовые обстоятельства (прачечная или банк) вынуждают продлить утренние занятия до десяти, тут уж ничего не поделаешь, и я понимаю, что утраченное время не наверстать. Вдобавок ближайшие часы будут заполнены галлюцинациями и страхом.

Да, лекарства, которые я принимаю, иногда оказывают побочное действие, влияют на психику: у меня бывает помрачение сознания, бредовые видения и даже озарения.

Но то, что со мной творится, имеет мало общего с побочным действием лекарств от паркинсонизма. Слуховые галлюцинации? В крайнем случае, и так можно сказать. Я слышу голоса. Чаще всего из кухни. Я сто раз об этом говорил или только двести? В прихожей мне встречаются тени фигур. Еще я кричу. Всегда на грани сна. Преимущественно ночью — точ-

1. Яцек Куронь (1934–2004) — историк, публицист, общественный деятель, в ПНР — один из лидеров оппозиции, в демократической Польше — депутат сейма, министр труда и социальной политики. Известен был, в частности, тем, что костюму с галстуком предпочитал джинсовые рубашки.

нее, на исходе ночи. В комнате кто-то есть, с кем-то мы проговорили целую ночь, сейчас он молчит, но еще тут, я слышу.

Вряд ли это побочные эффекты. Просто болезнь моя весьма многогранна. Щедро одаряет кого ни попадя чем попало. Представьте: впереди у вас двенадцать часов, если не больше... наверняка больше... Попробуйте их прожить. Зузы нет. Помочь некому. Она, впрочем, не из тех, что рвутся помогать. Бежать от нее надо. Найти убедительные аргументы. Я систематизировал разные "за" и "против", записывал их на отдельных листочках, но — в особенности, когда удавалось рассуждать хладнокровно, — ни один аргумент не казался мне неопровержимым. Часть можно было истолковать и так, и эдак, и потому их оценка зависела от моего настроения.

Например, большая разница в возрасте — понятное дело, то это плюс, то минус. Но были и очевидные вещи. Пункт 1: деревенское детство. Пункт 2: кошка — существо осязаемое, но непостижимое. Пункт 3: дом — большой, старый, с пристройками. Пункт 4: игра в притворство: она притворяется еще моложе, он — еще старше. Но об этом молчок! Когда я не пишу, когда просто сижу над листом желтой бумаги и подыхаю, то не перестаю корить себя за гордыню. Я был уверен, что уж со мной-то такого не случится — а вот ведь случилось. Полностью опустошен. Заряд на нуле.

27

Когда тебе страшно, ни о чем не напишешь. Ни о равнодушии стен, ни о наглухо закрытых помещениях, ни о пустых футбольных трибунах, ни о наполовину обезлюдевших городах. Если она прислала тебе открытку из Рима, это, не считая сотни иных вариантов, означает, что она с кем-то побывала в Вечном городе. Жизнь утекает все быстрее. С помощью варварского кода, не столько нотного, сколько... ну, скажем, числового... удалось сыграть эту банальнейшую мелодию.

Было время, когда Зуза приходила ко мне каждый день. Всегда прекрасно одетая, всегда говорила ровно столько, сколько требовалось, и проводила у меня столько времени, сколько договорились. Но сейчас все это уже не имело значения. Я стал другим человеком; скажу без ложной скромности: со мной уже произошло превращение. Гениальность Кафки, в частности, в том, что насекомое сохраняет человеческую память и привычки. По сравнению с тем превращением мое выеденного яйца не стоит, но оно случилось... Выходит, я теперь — человек высоконравственный?

Вчера вечером кто-то курил в коридоре, я видел размашистые жесты, слышал голоса.

28

Начну издалека. Как ни странно, я никогда не видел раздетой (раздевающейся) женщины. Точнее, никогда в период обостренного интереса к подобным вещам, то есть в детстве. Позже — да, позже видел десятки, если не сотни раз, но "позже" не в счет. Позже человек по-иному мыслит. Важен самый первый раз, начало, инициация; важно, как об этом впоследствии рассказывается; возьмем, например, такую сцену: она на несколько лет старше и знает, что за ней подглядывают. Знает, но никак не реагирует, разве что — поскольку кучка пялящихся на нее сопляков и ее возбуждает — дольше стоит под душем, энергичнее намыливается, тщательнее укладывает волосы.

Так вот: я никогда не подглядывал и никогда не присоединялся к подглядывающим. Только не подумайте, что я хвастаюсь тогдашней своей нравственностью, заставлявшей меня, когда пацаны слетались, чтобы позырить, с презрением и иронией удаляться. Ничего подобного! И я бы охотно поглядел, да уже не было на что. Баня закрыта. Даже холодной воды нет. Накануне, когда я благополучно заканчивал симулировать скарлатину, студентки Сельскохозяйственной академии не спеша раздевались, не спеша принимали душ, а банда моих дружков подглядывала через дырку в наклеенной на окно бумаге. Это свое упущение я так и не сумел компенсировать. Но что бы мне дали несколько секунд созерцания ошеломительной недепилированной голизны? Видимо, что-нибудь бы дали. Например, начальную фразу. Впервые в жизни раздетую женщину я увидел поздней осенью 1965 года — она была студенткой третьего курса лесотехнического факультета и принимала душ после двухчасовой физры. Вполне оформившаяся, не слишком женственная (маленькие груди, густая растительность), она прекрасно знала, что за ней подглядывают, но даже и не думала прервать или хотя бы укоротить этот бесстыдный сеанс — напротив, все старательнее и все медленнее намыливала голову. Уже такой, весьма скромный объем информации позволяет, зацепившись практически за любой ее пункт, лихо двинуться дальше. Можно, презрев детали, охарактеризовать осень шестьдесят пятого года коротко: "ничего не происходило". Можно удариться в якобы иронические рассуждения о лесоводстве — как об одном из предметов, читавшихся на факультете, так и о профессии, в то время редко

привлекавшей особ женского пола. Можно наконец — но для этого необходима истинная легкость пера — объединить физру, мыло и наготу. А справедливости ради признаться в своем пристрастии к симулированию различных заболеваний, упомянув, что незаурядные способности притворяться больным подчас оборачивались против меня. Например, когда мои дружки подглядывали за моющимися студентками, я, вместо того чтобы возглавить экспедицию, изображал (и не безуспешно) тяжело больного скарлатиной.

29

Опасны не смертельные болезни и эпидемии, не иммунодефицит и средневековый (порой) уровень гигиены. Опасно другое. Проститутка обирает клиента, сутенер — проститутку, проститутка — проститутку и далее по кругу. Я бахвалился, поучал — да, да, поучал, как писать о продажной девке, в которую вас угораздило влюбиться, то есть вообще учил писать! — и, возможно, так продолжалось бы еще невесть сколько, не опустись передо мною шлагбаум. Даже я понял намек: стоп! А то чуть не возомнил, что окружающие меня женщины чисты как конфирмантки...

Нужно, однако, рассказать, как все было, а если "как было" не помню, блеснуть искусством реконструкции. Времена настали нелегкие. Ситуация с блядями катастрофически ухудшалась, и, хотя разбиравшихся что к чему знатоков как всегда хватало, новых правил, по сути, не знал никто. Привычный уклад был нарушен. Зуза ездила за границу, и складывалось впечатление, будто за ней следом потянулись целые, более-менее соблазнительные, когорты, а в отечестве осталась всякая шваль; в кризисные периоды по иронии судьбы (а может, по вине собственного склада ума или темперамента?) мои потребности возрастали и ощущались все острее. Я не считал, что изменяю Зузе — она не относилась к сексу, как все нормальные люди, секс для нее не был ни табу, ни святая святых, ни даже приевшимся лакомством. За годы хождения по рукам у нее выработалось равнодушие к коитусу и всему, с этим связанному. Иногда я пробовал вообразить, будто мы с ней — любящие счастливые супруги, но... ничего у меня, признаться, не получалось.

Зуза по-прежнему всерьез относилась к моим словам. Мы вместе, но ты продолжаешь заниматься тем, чем занимаешься. Не те слова... но других не нашлось. Время от времени она уезжала — я знал куда и зачем, сильнее не ревновал, но и сказать, что мне было хорошо или, тем более, наплевать, тоже

не могу; меня терзали неопределенность и недоговоренность, неизбежные, когда ты ослеплен. Как и раньше, она меня не любила, подсовывала (в качестве антикризисной меры) каких-то девиц; впрочем, — понимая, к чему идет дело, — я сам понемножку расширял прейскурант.

Подумав, я понял, что рассказывать об этом мне не хочется. Я сам виноват. Запомните: ни в коем случае нельзя менять условия, в городе полно вышедших в тираж проституток, которые не прочь вас обобрать. Уж будьте уверены. Что неудивительно: сексапильности не осталось, а любовь к баблу не прошла. Подходящих номеров телефонов я не знал; Зузиного секретного, кстати, тоже.

Финал выглядел следующим образом: на первый же свободный вечер я условился с девицей, которую, правда, в глаза не видел, но голос по телефону звучал приятно, к тому же она специально приедет из Познани, а это гарантировало, что оплата будет в пределах разумного. Познанянки, как и вообще женское население Великой Польши, унаследовали от немцев добросовестность[1]; казалось бы, все складывается неплохо. Однако поезд в тот день опаздывал, мне, конечно, не хватило терпения, я стал звонить насчет возможной замены и, как назло, ошибся номером; был уверен, что говорю с полной благих намерений познанянкой, а между тем беседовал с обладательницей тела, довольно давно отказавшегося исполнять свои обязанности. Каким чудом все так получилось? А вот таким... Короче, я жду и не могу дождаться. Кто ищет, тот всегда найдет; кто умеет ждать, тот своего дождется. Барышня под пальтецом настолько обнажена, что, должно быть, всю дорогу это пальтецо не снимала, даже в доставившем ее с вокзала такси не расстегнула; я сразу увидел, сколько у меня впереди удовольствий... И эта, готовая на все, особа спешит мне их подарить. За две минуты! Обхохочешься... однако не до смеху тут: она засыпает мертвым сном. Как я на такое купился? В голове не укладывается. Я хороший, дома у меня уютно, ко мне приятно приходить. Девицы смотрели на полки с книгами и балдели — этого, смею утверждать, хватало.

1. Великая Польша — историческая область на западе Польши; в 1793 г. по Второму разделу Речи Посполитой отошла к Пруссии, в 1807 г. вошла в состав герцогства Варшавского, а после Венского конгресса (1814–1815) западная ее часть с Познанью была присоединена к Пруссии. По условиям Версальского мирного договора (1919) Великая Польша была возвращена в состав Польской республики.

На мои чувства к Зузе это не повлияло. А должно бы. Стоит одной спустить с тебя глаз, другая мигом обдерет.

30

"Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к определенному решению"[1].

Фернандо Пессоа "Книга непокоя"

31

Кто хочет, может придерживаться старой классификации. Есть мещанки и есть артистки — вроде бы категории извечные и, на первый взгляд, не потерявшие актуальности. Однако это не так. Поверьте — уж я наслушался певиц, которые приобщились к древнейшей профессии до начала карьеры, в середине или когда понадобилось отдать копеечный долг. Иногда они ставили записи своих завываний, иногда исполняли вживую. Что тут можно добавить? Были такие, что на время становились актрисами, писательницами, моделями. Сочиняли романы, ходили на кастинги, ждали звонка из агентства. Блядство почти никогда не попадало у них на первое место. Как и домик под Варшавой. В общем, по образу мыслей они схожи с алкоголиками.

Алкоголик вам скажет, что со следующей недели завязывает и возвращается к нормальной жизни, на самом же деле не вернется никогда — суперстрасть не выпустит из своих когтей.

Так и курвы. То, что кажется несущественным, преходящим, эфемерным, в реальности нерушимо и непреодолимо. Устранить бы еще такую мелочишку, как старость... уж они бы отыгрались на том свете. Молодость длится долго, об этом уже шла речь.

Зуза не была ни мещанкой, ни артисткой. Она любила позировать — преимущественно нагишом, преимущественно для нелегальных календарей. То есть артистка? Постольку поскольку. Супчик могу сварить. Что-нибудь еще? А что? Смотря зачем. Чтобы получить титул... Я — курва по призванию. Окей, я за тебя выйду.

Наученный не слишком вдохновляющим опытом, свадьбу я устроил скромную. Чрезвычайно скромную. Друзья поняли, Зуза обиделась. Меня вдруг осенило: Зуза без денег — нон-

1. Перевод Ирины Фещенко-Скворцовой.

сенс. Без чаевых, без финансовых щедрот, без ее якобы отказов от вознаграждения. Ночь с Зузой без утренней оплаты будет пресной. Она станет исчезать, а я, точно несчастный Влад, потащусь за ней. А я — за ней, за моей повелительницей.

— Почему ты меня не любила? Что это было — долг?

— Скорее, привычка.

— Даже так?

— Ну, не совсем.

— Но отчасти.

— Ты мне нравился.

— Но не безумно...

— Сердцу не прикажешь.

— Проститутке приказать можно.

— А вот и нет. Мы нормальные.

— Причем тут нормальность?

— Ты всегда был на втором месте.

— Высоко. Но и низко.

— Высоко.

— Высоко — это хорошо. Но лучше быть единственным.

— У тебя тоже были другие. Более красивые.

— Ты уверена?

— Да.

— Знаешь, когда у меня впервые закралось сомнение?

— Когда? Почему?

— Ты была занята. Я позвонил. "Договорись с кем-нибудь" — таким деловым тоном.

— У тебя нет никаких прав. И не было.

— А за вознаграждение?

— Это пожалуйста.

— И ты утверждаешь, что нормальная?

— Да. Я хочу, чтобы у меня был муж, дети, дом...

— И еще куча подобных мелочей. Я, кажется, предлагал...

— Опять завел свою шарманку? Ты для этого не годишься, ты даже близко не знаешь, что такое верность.

— Тоже мне, образец верности! Ладно. Почему я всегда был вторым?

— Потому что всегда был первый.

— Он умер?

— Уехал.

— Значит, пробил мой час.

— Пробил, но не в том смысле.

— Наконец-то... Теперь ты меня любишь, надеюсь.

— Нет.

— Нет? Тогда что я тут...

— А ты сумеешь вернуться назад? Волшебное слово позабыл, пароль изменился... На седьмом десятке...

— Ах вот оно что. Я слишком старый.

— Ты глупый. Может, спросишь, что надо делать, чтобы перебраться на первое место?

— Что надо делать?..

— Не кормить меня по утрам такой дрянью, как подавали на нашей свадьбе. Тебе бы только таскать меня в "Гранд": ты в белом костюме, я у твоих ног.

— Ты неплохо смотришься. Знаешь почему?

— Потому что у твоих ног? Да ты не меня любишь, а мой купальник.

— Все твои купальники заслуживают высочайших чувств.

— А насчет верности... Я умею быть верной... Даже если мое тело не здесь.

32

Интересная жизнь — это собрание интересных рассказов. Пожалуй, по одному достаточно: один о детстве, один о юности, один о зрелости и fertig[1]. А о старости? Разве что моей... Рассказы ночных бабочек? Вроде бы все ясней ясного, а не допросишься.

Расскажи про самый острый момент. Про взлет, начало, конец. Как на выпускном экзамене. Охарактеризуй самого чудно́го мужика из всех, с кем имела дело. Я допытывался напрямую и обиняками, и никогда не получал ответа — ни напрямую, ни обиняками. Ехидная улыбка — и все.

А уж если они рассказывали, то вспоминали один какой-нибудь случай, со временем, возможно, обросший сюжетом, но для меня интереса не представлявший. У кого-то пошла кровь из носу, кто-то прикатил в инвалидной коляске, кто-то оказался жутко толстый... мне это было ни к чему. Меня самого тогда нещадно трепали болезни. Лютовал паркинсон. Гикнулся позвоночник: я поднял телевизор, услышал хруст — месяц с лишним необъяснимых болей. После операции я потерял речь. Тремор вернулся во всей красе. Делай, что делаешь, ты на верном пути, заверяли меня друзья. Они не знали, что я изменяю Зузе с ее сестрой, скорее, просто советовали напоследок насладиться жизнью. Ведь велика была вероятность, что кости истончатся, позвоночник откажет,

1. Хватит (*нем.*).

лекарства придется принимать до последнего вздоха, а боль не уймется. А какая еще есть вероятность? Лучше этой? Мы живем в краю лжецов, которым хочется слыть правдолюбами, — или наоборот.

Зуза уехала. Жена, с которой я даже в кино не успел сходить, уехала. Помните первый торжественный обед, который прошел не совсем так, как я замыслил? В первом зале сидели двое ее клиентов. Не знаю, сколько в соседнем... Конечно, следовало ожидать, что это ее смутит, при таком ремесле нечего изображать из себя героическую Эмилию Плятер[1]. Теперь все умные. Но Зуза к таким вещам была слишком чувствительна. Я сам наделал ошибок — и она уехала. Ищи ветра в поле, точнее, среди соратниц. Ибо суть общения — постоянная жажда новостей и попытки ее утолить. Честно говоря, шквалы чувств, подобные тому, что захлестнул меня, редки. В литературе, кстати, образ шлюхи всегда положительный. От Достоевского и Толстого до Данило Киша. От Манна до Маркеса. Впрочем, не стоит сравнивать мою возлюбленную с героинями мировой литературы. В конце концов, она сама без особых колебаний призналась: не люблю читать. Так-то. И на мою долю выпадали горькие минуты.

33

— Но это же отличная дислокация.

— Ты про что?

— Я заказываю музыку, ты у моих ног. Никакого шовинизма.

— А купальник какой?

— Неотразимый. Глаз не отвести.

— Спасибо. Я спрашиваю про цвет.

— Должен подходить к брюкам.

— Брюки белые?

— Белые или черные. Хотя... Я ведь не от мира сего. Может, лучше зеленые? Ящеричный зеленый подчеркнет мою маргинальность.

Мне недоставало таких разговоров ни о чем. Я тосковал по ней, зверски тосковал. Она мне не изменяла. Курвы не изменяют — по-моему, на этих страницах нет открытия важнее. Изменяют подруги, невесты, жены; изменяют, потому что

1. Эмилия Плятер (1806–1831) — графиня, участница освободительного Ноябрьского восстания 1830 г., прославленная А. Мицкевичем в стихотворении "Смерть полковника" ("...Героиня в полковничьем платье, / Вождь повстанцев — Эмилия Плятер!").

хотят узнать, каково в постели с другим, потому что есть две тысячи причин плюс тысяча мужских закидонов. Господи, почему в нашем отечестве постоянно говорят о глупости женщин, а о нелепой, агрессивной глупости мужчин помалкивают?

Девушка легкого поведения в интиме не нуждается. Ей нужна касса, за бабло она вам предоставит любой интим — это ее выбор, ее желание и насущная потребность.

34

Как известно, дома в Висле делятся на те, где водятся привидения, которые пугают людей, и те, где живут благочестивые аборигены, которых не испугаешь. Уж тем более им неведом религиозный страх. К ним наведываются разные библейские персонажи, и знатоки Евангелия вволю о том о сем с ними судачат. Приходит утомленный Моисей и немного отрешенный Авраам, однажды якобы заглянул сам царь Соломон, да и ветхозаветные пророки во главе с Иеремией и Иезекиилем навещают их довольно часто. Хуже обстоит дело с Новым Заветом: апостолы, хоть и редко, но заходят, а кроме них — никто. Наши же страхи постоянно при нас, но помалу мы с ними свыкаемся. Был ли среди наших предков охотник до библейских блудниц? Найдется ли кто-нибудь, кто считает Книгу исчерпывающей, хотя и одноплановой? Вряд ли, сомневаюсь. Время в этих грандиозных мифах идет по кругу. Женщины в Библии необыкновенные. Дочери Ноя, жены Исаака, танцовщицы Соломона. Есфирь и Руфь. Иродиада и Саломея. Еще разные наложницы. Круглый год ровный ближневосточный загар. Кого-то это устраивает, кого-то нет. Я бы ни с одной наложницей царя Давида не стал связываться. Уж лучше замерзнуть насмерть. Хотя...

Будь моя воля, я бы родился в доме, где водятся привидения. Что это такое, не совсем ясно, но сказать “там страшно” недостаточно.

Что значит: дом с привидениями? Что там давным-давно кто-то умер не целиком и оставшаяся в живых часть безобразничает? Или это особый вид энергии? Неведомые силы? Меня всегда удивляло, почему всемогущий Творец в общении с нами так косноязычен. Ведь каких только у Него нет возможностей — и языков всяческих полно, да и диктофоны наверно найдутся, и принтеры. А тут максимум шуршанье, потрескивание да стук в окошко. Сейчас любые чудеса и любые страхи объяснимы. Никто в здравом уме не станет объявлять о чьей-то смерти, колотя чем попало по чему попало. А вот это: “Я

люблю тебя, Зуза. Тоскую по тебе, зверски тоскую" — все равно необъяснимо. Мужчина, он как магнит. К старости слабеет. И нечего тут хихикать. Человек — истосковавшийся зверь. У меня земля из-под ног уходит, рушатся последние опоры. Я пока не сдаюсь, но с каждым днем с этим все хуже.

Так что же это — дом с привидениями? Возмущение электромагнитного поля, нарушение всех законов, всех связей? Все шиворот-навыворот? Страшные вещи там творятся, двери распахиваются сами.

Мне трудно тебе писать. Ты никогда ничего не говорила от нашего имени, никогда себя со мной не отождествляла, и не нужно тебя за это винить, правда, не нужно. Как ни печально, но я понимаю: ничего тут не поделаешь. Не стоит и стараться.

35

"Кто в здравом уме влюбится в шлюху?"

Марио Варгас Льоса "Рыба в воде"

(Нотабене: я всегда считал его писателем — в лучшем случае — третьесортным.)

36

Врачи говорят: не теряй надежду, года через два... Будь их слова правдой, это граничило бы с чудом. Да какое там "граничило" — было бы самое настоящее чудо! Ах, проснуться и говорить по-старому — своим голосом, со своим деревенским акцентом, и язвить на свой манер. Но я, скорее, готовлюсь, к немоте — она ближе к тому хрипу, который сейчас вырывается у меня из горла. Ближе, чем что-либо другое. Я подумал, что ты уже устала верить, ждала хоть какого-нибудь повода, и повод нашелся — отсутствие кассы; прекрасный повод, о таком только мечтать; у тебя не осталось иного выхода, кроме как быстренько собрать вещички и слинять. Зуза! Зуза! Тебе расставание ничего не стоило, мне обошлось подороже. Но я не мелочен, не стану считаться. И сочувствия не прошу — ничего нет хуже сочувствия! — хотя бывало скверно. Через несколько месяцев, после того как мы расстались, я позвонил тебе. Не надо было звонить, ни в коем случае, знаю, но я чувствовал себя в безопасности, к тому же разговор по телефону лучше, чем самоубийство. (Найдутся такие, что будут утверждать обратное, — на них пока ноль внимания.) Я позвонил

около полудня, ты спокойно, нормальным голосом, попросила перезвонить часов в пять — из Вислы я всегда звонил в это время, — и тут началось странное (к вопросу о привидениях...). Как будто бы ничего не изменилось, все нормально. Я, как ни в чем не бывало, собираюсь позвонить, мы не расстались, не разошлись, сейчас Зуза мне все расскажет, все объяснит, развеет мрак в голове. На целых три или четыре часа меня поглотила вымышленная реальность. Хотя разговор продолжался — а вы что подумали? — от силы минуты полторы, даже не две. Ты уже была поддатая, бормотала что-то о каком-то междусобойчике, о каком-то концерте... Бог с тобой, я прервал разговор, но что-то мне подсказывало, что это не последний раз, что будут повторения и в еще худшем стиле. Ничего хорошего ждать не приходилось.

37

Дом с необжитыми комнатами напоминает ухоженное кладбище: есть где умирать. Будь осмотрителен в своих молитвах — просьба может быть исполнена. О чем просит в своих молитвах моя беспощадная — и это мягко сказано — мамаша? Не о том, чтобы в случае чего быть рядом. Она просит должным образом оценить ее роль и качество исполняемых ею обязанностей; важен не больной, а тот, кто за ним ухаживает. Да, немало очков матушка могла бы набрать на моем фоне! Но, поскольку в ее воображении нет места смерти, лучше, чтобы вообще ничего не менялось. Благородное желание обрести бессмертие. С этим, впрочем, у нее хлопот не будет. Она видывала у нас за столом царей и пророков. Но никогда, никогда-преникогда не жила бок о бок с мужчиной. Никогда не видела, не касалась... ни сном ни духом! Тридцать лет с отцом — смешно и говорить! Она знала, что мужик должен быть накормлен от пуза, а рубашки — выстираны и выглажены. В принципе, это все. Остальное получится само собой. Иногда не получается — тогда надо положиться на случай. Целиком и полностью. Мать хочет, чтобы я остался. Я могу остаться. С кем угодно, но только не с ней. Она меня в гроб вгонит. Ситуация, конечно, драматическая, хотя не особенно сложная. Правда, неразрешимая. Одно дело рассуждать о тактике, другое — действовать.

Ах, да. Зуза. Я тут рассказываю про Сару Каим, Алицию Крамаж, Нуллу Квят, еще кое про каких дам, надеюсь, вы их не перепутаете, а даже если и перепутаете, не беда, они, в общем-то, похожи. Мы с тобой не были знакомы, я о тебе ниче-

го не знал, поначалу все складывалось очень даже мило, оттого сейчас только хуже. Не потому, что есть кто-то другой, — если он заплатил, должен получить то, что ему причитается; я же, как пристало влюбленному, должен все знать.

38

Я в своем уме и влюблен в продажную девку — вы этого не одобряете; вам вообще вся эта история не по нутру, вы не признаете права на любовь не совсем типичную... хотя, возможно, теперь уже совершенно типичную, как знать? Нобелевку вам дали в две тысячи десятом[1], да? Будь я пошловатым остряком, выразил бы удивление, как это вы до сих пор (в чем нет сомнений) не побывали ни в одном приличном борделе, да и с шлюхой высшего разряда не имели удовольствия... И, несмотря на столь существенные упущения, хотели стать президентом Перу? Вас не избрали, хотя благодарить Бога не за что — избрали еще худшего.

В другом месте своей автобиографии вы говорите, что слово "шлюха" вас одновременно и пугает, и завораживает. Осторожнее: пуганая ворона и куста боится; второе не лучше.

Девушки, я славлю вас за то, что вы до гробовой доски сохраняете надежду на перемену жизни. Славлю вашу жажду бесконечности (полагаю, понятно, о чем речь). И, притом, не совершаю банальной заразительной ошибки — не хвалю за профессиональные навыки (с этим, как правило, все окей).

Каждая из вас живет надеждой, что именно ей неслыханно повезет, именно ей достанется главный приз вроде того, что Господь послал Жозефине. Если, разумеется, Жозефине можно верить (в чем я сомневаюсь). Слишком уж все в ее истории гладко — ни сучка ни задоринки.

39

Я тебя не выслеживаю, не таскаюсь за тобой по пятам. Не выхожу из дому только для того, чтобы случайно тебя встретить. Хотя долго кружил по улицам исключительно с этой целью. Слишком долго. Сейчас я даже не смотрю на твои любимые магазины, бары, кафе. Отказался от прогулок, потому что признавал один-единственный маршрут — твой. Не

1. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 г. — перуанский прозаик, драматург, эссеист, политик Марио Варгас Льоса.

торчу перед твоим домом, не гляжу с собачьей преданностью в окна. Не уверен даже, что ты до сих пор там живешь. Не пытаюсь завести разговор с почтальоном, а уж тем более его подкупить. Соседи тоже могут жить спокойно: я их больше не тревожу. Мне ни разу не пришло в голову обстрелять чужую квартиру пинг-понговыми шариками.

Я не бомбардирую тебя сотнями писем в день. Эсэмэски — только в самом крайнем случае, в электронную почту я не заглядываю; конечно, я знаю, что ты даже слова не напишешь, но ведь чем продолжительнее иллюзии, тем они слаще. Я не все помню; в этом мое спасение. Не помню, какие у тебя любимые блюда. Кажется, ты не вегетарианка. Хотя... Теперь почти все вы — вегетарианки. Не из-за особых взглядов, а из-за отсутствия бабок. Не помню, какую ты предпочитаешь кухню. Итальянскую? Опять двадцать пять! Польша — родина макарон. Либо у меня это пройдет, либо я берусь за перо последний раз в жизни. Вечно одно и то же.

Я не пытаюсь связаться ни с твоим братом, ни с твоей сестрой... если, кстати, они существуют. Если нет — можешь быть спокойна, тем паче я не стану их искать. И родителям твоим надоедать не буду — они мои ровесники, этим все сказано.

А теперь вернемся в прошлое. Твой трогательный рассказ о том, что случилось однажды после дискотеки... Жаркое начало июльского дня. Тебе шестнадцать, парни ненамного старше. Все вы знаете, что́ вот-вот произойдет.

Ты ощущаешь неизъяснимую легкость. Такое состояние плохо лишь тем, что его трудно повторить. Нет рецепта. Нужно, чтобы было утро, душное, несмотря на ранний час; всю ночь звучали двусмысленные намеки... Прочее не воспроизвести. Марка машины? Почему-то у тебя из головы не идет подержанная японская тачка обтекаемой формы. У меня тоже. Я впервые в жизни слышу такую историю — одновременно наивную и вульгарную, где невинность сочетается с испорченностью, прелесть с порнографией. Тебя трахали по очереди на капоте старой колымаги, перед тем, как полагается, свернув на лесную дорогу. Тебе этого хотелось?

40

Я не буду анализировать твои записи, не стану рыться в твоем дневнике (если у тебя вообще есть что-то похожее на дневник). Известно: чтобы написать рассказ, нужно прочитать минимум несколько рассказов; с романами дело обстоит точно так же. Но если сочинение сугубо личное — типа дневника или мемуаров, — это не обязательно.

Можно ли влюбиться в женщину, которая не читает книг? Можно, но зачем? Кто, будучи в здравом уме, полюбит женщину, которая не любит читать? Неужели можно писать, не прочитав предварительно кучу книг? Пишешь? А что ты читала? Ничего? Получается и без этого. До сих пор получается? Я возвращаюсь к твоим обрывочным запискам, и мне стыдно за свою беспомощность. Вроде бы я потерял речь, а, по сути, потерял тебя. И зачем уверять, что я не намерен ничего искать в несуществующих дневниках, воображаемых записях или даже в реальных эсэмэсках, к чему эта ложь, если я буду копаться в душе, заглядывая в самые потаенные ее уголки? Я не справился с Нуллой, не описал как следовало бы, предпочел бессловесную Зузу. Ее легче изобразить? Кто ж это знает? Я ее языком не владею. Вам придется поверить мне на слово, что она прекрасна. А я должен сам себя убедить, что она заслуживает интереса.

41

Мать лопается от гордости. Она почти совсем оглохла. Глухота, по-моему, у нее из-за общения с собаками. Впрочем, не настаиваю, возможны и другие причины, например, генетические: ее мать, а моя бабка к восьмидесяти годам полностью потеряла речь (это называется афазией). Я был готов к чему угодно, но чтобы гордиться своей глухотой... вот уж чего не ждал. Между тем она гордится и, как обычно, не устает твердить о своем превосходстве над иными существами.

42

Мне вспомнилась Марта Н., ей было лет двадцать пять или двадцать шесть, но выглядела она как ребенок. Ее я вычеркиваю из списка. Не потому, что затаил обиду, а для порядка. Я ведь решил описывать только самое важное и, видит Бог, хотел как лучше — а с чего же еще начинать, если не с супружеской жизни?

Эти ноги, эта грудь, эти плечи, прелестная белокурая головка... Последнее время я часто просыпался, и всегда рядом была Зуза, и я удивлялся, как она умудряется спать так крепко — на самом краешке, практически без одеяла. Ее сон меня успокаивал, утром ее уже не было, я старался ни о чем не думать.

Если это видения, что же тогда реальность? Зуза! Я знаю каждую клеточку твоего тела!

Зуза не была призраком. А может, была? Как разгадать суть взрослой женщины с лицом девочки-подростка и маль-

чишеским телом? Она написала: “Хочу, чтобы ты меня трахнул. Пишу напрямую, потому что терпежу нет”. Я изменил Зузе. Настроение не улучшилось. Я не педант. Не обязательно минимум сто восемьдесят сантиметров, но если так оно и есть? Та же история с грудью, ногами, ягодицами. Не обязательно. Но коли уж это так?

В столь прекрасных и необычных женщинах есть что-то неземное. Да-да. Но это не означает, что на сто первый раз они захотят что-нибудь в себе изменить.

Связаться с ней нельзя. Может быть, она уехала, потому что случилось чудо? Типа того, что произошло с Жозефиной? Нет, исключено. Два одинаковых финта одновременно? Даже теория вероятности такое вряд ли допустит.

Не захотят изменить... а вдруг захотела? Чего-то я тут не могу понять. Слишком сложно. Не знаю...

43

В Висле в нашем доме царит Вечная Зима. Усугубленная безуспешными попытками сэкономить на обогреве. Все равно надо топить, все равно надо платить. Как убежище от жары дом исполняет свое назначение просто идеально — пока в горах стоит жара. Дня три, ну, может, четыре. В год. Следы отца все менее заметны — затаптываются следами матери.

44

Как обстоят дела? Плохо. Из рук вон плохо. Я в плену чудовищных домыслов. Зузы нет. Это очевидно. Уехала? Но даже если уехала — в наше время отовсюду можно позвонить, отовсюду можно вернуться. Пускай ее невесть как строго стерегут, пускай хоть все на свете Влады глаз с нее не спускают — Зуза сумела бы вырваться. Ненадолго, только чтобы подать какой-нибудь знак, позвонить или отбить эсэмэску... Получается, она сама решила не откликаться, какая-то ниточка между нами порвалась, она ведь никогда меня не любила, потому ей это и далось легко; но, с другой стороны, я всегда был лоялен и какой-никакой поддержкой ей служил, а поскольку Зуза далеко не дура, она хорошо понимала, что при ее ремесле любой — неизвестно кто и неизвестно когда — сможет пригодиться. Кто-то ей на меня наговорил, не иначе. Среди ее подружек немало сплетниц с гипертрофированным чувством вины. Или мифоманок, злоупотребляющих дурью. Впрочем, никто в их кругу не был тем, кем считался либо за кого себя выдавал. Влад, к примеру. Я даже не знаю, как он выглядит. Был ли вообще? Не

знаю. Звать так-то и так-то, пиджак, брюки. Больше ничего не помню. А ведь был. Зуза даже некоторое время (к счастью, недолго) его привечала. Да кто он такой? Меж слепых и кривой в чести, да? Среди доходяг и дистрофик — царь?

Зуза дает понять: никаких контактов... Что это значит? Что она задумала, с какой целью? Или это случайность?

Ведь все мои разговоры о видениях, о фантомах — полный бред. Не вдаваясь в рассуждения о прогрессе науки на пороге двадцать первого века, скажу просто: я пару раз отбарабанил Зузу и до сих пор ощущаю ее реальный вес. Ну да, слегка избыточный, кило пять лишку, но тем паче столько не мог весить киборг с его чипами — это было живое Зузино тело. Ее ноги, ее туловище, грудь, голова. Какой там призрак! Живая телка, из плоти и крови! Однако факт остается фактом: нет ни синтетической Зузы, ни настоящей. Ни с имплантами, ни без. Связь будет только односторонней — вот что, в лучшем случае, означает ее молчание. Сиди у телефона и жди — вот что, в лучшем случае, она мне сообщает. В лучшем, поскольку ни на что хорошее я не рассчитываю. И дни мои протекают двояко. Или я сижу и жду от нее какого-нибудь знака, или не жду. Не только не жду, но и всячески даю понять (в частности, самому себе), что не жду, что у меня полно дел, что, в общем-то, я, конечно, не против, но когда — не знаю.

Во мне бушевала ярость, я с ней не справлялся. Если кто-то спланировал этот эксперимент, то продумано все было превосходно, рассчитано по минутам. Ярость вскипала на рассвете и не отпускала меня до полудня. Услышь Зуза тогда хоть одну сотую... и ждать бы больше не понадобилось. Но чудес не бывает: она не слышала. К полудню я отходил. Ярость сменялась великодушной тоской; вечером, начиная ощущать легкую тревогу, я ложился, на два-три часа забывался беспокойным сном, а потом уже только ворочался с боку на бок — вчерашний кошмар возобновлялся.

Я сижу в Висле уже второй месяц, хотя в это трудно поверить: раньше я не решался задерживаться так надолго. Обычно времени я здесь проводил меньше, а жил интенсивнее, если можно так сказать про размышления предосудительного свойства. А именно: о курвах и книгах — всегда ведь находятся охотники то и другое предать анафеме. Вместе с тем о некоторых довольно-таки важных вещах я узнал только из книг. Смерть, Бог, Сатана, зло, самоубийство, еще парочка — преимущественно с негативном подтекстом — загадок. Известно, например, что никто не написал столько хороших слов о самоубийстве (на пороге отнюдь не самоубийственного возраста), как Эмиль Чоран.

"В самоубийстве прекрасно то, что это наше решение. В сущности, нам льстит, что мы можем покончить с собой по собственной воле. Самоубийство как таковое — нечто необычное. Рильке говорит о смерти, которую мы в себе носим, но ведь мы носим в себе и самоубийство. Мысль о самоубийстве помогает жить. Это моя теория. <...> Когда-то я сказал, что, не будь у меня свободы покончить жизнь самоубийством, я бы уже давно удавился. Что я имел в виду? А вот что: жизнь выносима лишь благодаря сознанию, что мы можем с нею расстаться, когда захотим. Она целиком зависит от *нашей* милости. Мысль эта не только не отбивает охоту жить и не вгоняет в уныние, а, напротив, поднимает дух. Фактически нас закинули в этот мир, и мы не очень-то понимаем, зачем. Нет никаких причин нам здесь находиться. Однако мысль, что мы можем восторжествовать над жизнью, что наша жизнь — *в наших руках*, что мы можем покинуть этот спектакль, когда нам заблагорассудится, — эта мысль окрыляет"[1].

45

Что еще остается объяснить?..

Внезапная уверенность, что, вернувшись в Варшаву, я ее встречу. И при каких обстоятельствах, о Боже! Все будет указывать: она меня ищет, она нуждается в помощи, мой образ в ее воображении едва ли не затмевает всех!

Люди, это случилось! Она меня почти — страшно произнести — полюбила! Люди! Зуза — моя! Я чувствую себя юной лауреаткой престижного кинофестиваля. Мечты сбываются — тому свидетельством главный приз. Теперь можно мечтать. Интересно, что будет дальше. Интуиция подсказывает: впереди бескрайние поля для общих начинаний, общие дела, заботы, но и общие радости; если б я полностью положился на интуицию, это бы означало, что мне отказал нюх; свою интуицию я высоко ценю, больше того, я ею восхищаюсь, но — не верю. Готов согласиться на партнерство с равными долями. Лишь бы ты была, лишь бы хотела... Срок небольшой, год с лишним, даже не полтора, а я многого не помню. Разноцветные бюстгальтеры — это помню, но какого в основном цвета? Не знаю. Ты блондинка, ну конечно, длинные светлые прямые наращенные волосы. В мое время натуральные блондинки были идеалом (что бы это ни значило) женской красоты. Будь в те годы столько, сколько сейчас, развлекательных телепро-

1. Из беседы Лео Жийе с Эмилем Чораном.

грамм, реалити-шоу, подпольных конкурсов красоты, ты бесспорно была бы королевой. К сожалению, тебе довелось жить в эпоху триумфа брюнеток — это и хорошо, и плохо.

46

Источник всяческих бед — гиперболизация, чрезмерные старания произвести впечатление. Ледяные площадки, нескончаемые катки. И везде на льду танцует народ в ярких шарфиках. Перестарался я со своей тоской по одиночеству, а когда оно меня настигло — с погружением в него, с его культивированием; переборщил с одиночеством. До чего же горьки мои победы! Будь осмотрителен в своих молитвах — просьба может быть исполнена.

Если помните, я начал с восхваления искусственного бюста. "Искусственная телесная конструкция лучше анатомического несовершенства" — так звучал мой коронный аргумент; было еще несколько попроще, но тоже недурных. Искусственный бюст такой, сякой... Один у них недостаток — зато существенный. Чересчур притягивают внимание? Да, слыхал такое, полная чушь, я не это имел в виду. Искусственный бюст, как любой предмет, — творение человеческих рук и с равной вероятностью может оказаться и фуфлом, и шедевром. А еще ведь многое зависит от установки: имплант можно установить идеально, а можно и напортачить. Казалось бы, невелика беда, но одна неудачная процедура затмит десятки удачных. Одна промашка бросается в глаза и заслоняет все хорошее. Реальный изъян искусственных бюстов в том, что все они похожи или даже неотличимы. Поэтому у их обладательниц много общего: нетрудно себе представить легион чертовски похожих пышногрудых девиц. А бюсты не оперированные, наоборот, разные, на любой вкус (вариант полного отсутствия исключаем). Длинные, грушевидные, слишком мягкие, слишком плотные, дряблые, пышные, ядреные и т. д. Различия устранимы: операции дают желаемый результат, но итог — однообразие. Возможно, нам доведется жить исключительно в окружении подкорректированных молочных желез, что, прямо скажем, скучновато. Впрочем, на свете есть вещи, отличающиеся еще меньшим разнообразием.

47

Ну вот, дождался! Здоровье почти ничего не позволяет. Забавы с Зузой больше не лезут в голову. С ее подружками? Вот уж о чем никогда не мечтал. Жрица любви приглашает подругу

поучаствовать в оргии не для того, чтобы подлить масла в огонь, а чтоб подруга, не пользующаяся особым успехом, могла подзаработать. Это у девиц осталось от "гражданской" жизни: хорошенькой всегда сопутствует дурнушка. Греется в лучах ее красоты; и чем больше выпьет, тем краше становится. Кстати, сколько нужно выпить, чтобы в это поверить? После какой по счету рюмки такая наивность гарантирована?

Ну а я, самое большее, могу радоваться, что успел кое к чему привлечь внимание, поделиться своими мыслями и мечтами, вспомнить про свой восторг... про восторг говорилось особенно много — и не раз. А о мыслях и мечтах я упоминаю отнюдь не с целью перенести реальные проблемы в область идеального и объявить, что я все себе навоображал! Что любовь к Зузе была лишь фантазией, и сейчас, когда фантазия, как всякий плод воображения, улетучилась, я записываю сохранившиеся в памяти нюансы, выискиваю на пепелище чувств и страданий отдельные уцелевшие знаки и гаденько насмехаюсь над теми, кто мне поверил. Мои слова "Забавы с Зузой больше не лезут в голову" можно понять и так: все, о чем выше шла речь, происходило исключительно у меня в голове. Так вот: ничего подобного! История эта от начала до конца была одной из самых реальных в моей жизни и самых неподатливых, я бился головой об стену, пытался любой ценой ее сокрушить и проникнуть внутрь, и это мне не удалось: я был близок к цели, но сюжет никак не складывался, и это меня сгубило. Шлюхи терпеть не могут, когда сюжет отсутствует или им не подходит. Что необходимо учитывать? Попробуем разобраться не спеша. Сперва установим, что́ отпадает. Отпадает все. Ну, скажем, почти все. Искусство быть проституткой — это искусство существовать в одиночестве. В противном случае девушка обречена выслушивать победные монологи более хватких подруг (она никогда не будет ни такой хваткой, ни такой победительной), обсуждать рост цен на пластические операции, слушать байки о валяющихся под ногами больших деньгах. А может, и сравнивать идентичные бюсты? С этим я, честно говоря, не сталкивался. Что же остается? Остается любовь к животным. Остаются собаки и кошки. Любовь эта гипертрофированная, но должна создавать видимость нормальности. Еще остается чтение. Если девушка читает, она не пропадет. Вот только лично мне читающих не попадалось. Бесконечно унылые квартиры без единой книжки, еще более унылые комнаты без мебели — матрас на полу не в счет. Поймите меня правильно. Я не виню барышень за то, что они ухудшают читательскую статистику, не требую, чтобы путем чтения книг они повышали свой духовный уровень. Я только

прикидываю: их иммунитет к пустоте — то же самое, что дар одиночества? Я бы, будь мне нечего читать, не выдержал.

Остался невыясненным либо слишком тенденциозно освещенным вопрос, становятся ли шлюхами по необходимости. Если не ошибаюсь, я утверждал, что блядства по необходимости вроде как не существует, что, по крайней мере, элита пробавляющихся этим делом любит свое ремесло и все, что составляет его суть, иначе говоря, бабло и секс. Бабло по-быстрому и секс по-быстрому. Так оно и есть, не сомневайтесь, только ответ требуется более обстоятельный. Итак: блядство по необходимости существует, но решение принимается не сразу, ему предшествуют всякие размышления, колебания, наверняка включается воображение... да бог весть что еще. Ежедневно сотни женщин волей-неволей сталкиваются с этой проблемой, однако решаются лишь немногие. Ну а как обстоит дело с вынужденным тактильным контактом? Как они справляются? Спиртное помогает?

Линда С., стройная брюнетка, приехала в Варшаву из южной Польши с тщательно продуманной инвестиционно-финансовой программой. Как все стройные брюнетки, мечтающие о бабле по-быстрому, она намеревалась хорошо заработать, а потом раскрутить какой-нибудь собственный бизнес. В отличие от большинства барышень с не менее наивными жизненными планами, у Линды имелись кое-какие шансы. Решительности и упорства ей было не занимать. Начала она с огоньком, на ходу подметки рвала. С намеченного пути не сворачивала, и манеры у нее были недурные. Старалась, чтобы в ее обществе клиент хорошо себя чувствовал. Долгосрочная стратегия себя оправдывала. Клиенты приходили снова и снова. Одним из них был — пускай остается известен под этим и только этим именем — Влад. Пресловутая любовь с первого секса. Со всеми привходящими. Он вознамерился вытащить ее из грязи. Она не хотела. Он упорствовал. Она всячески пыталась от него отделаться. Это было нелегко, он полюбил ее токсичной любовью. Без Линды только в петлю. Она уже подумывала, не прикончить ли его, и зря: Влад пообещал подарить ей шикарный бордель, в котором она будет хозяйкой.

48

Господь обо мне печется и хочет вознаградить за постное детство. Дома на Хожей — по большей части пяти-шестиэтажные, в стиле раннего Гомулки. Изредка попадается “вставной зуб” — верх роскоши, жемчужина той эпохи. Я живу в таком зубе. Не случись бескровная революция, которая смела прежнюю систему, я бы — кто знает! — мог быть партийным функ-

ционером, которому от его маленькой (пятьдесят метров) квартирки до здания ЦК рукой подать. Пять минут пешком. Когда лет пятнадцать назад я поселился на Хожей, ничего интересного, несмотря на уйму окон вокруг, увидеть было нельзя. Понимаете, о чем я? И только вчера я был вознагражден за свое долготерпение. Молодая пара, снявшая или купившая квартиру напротив, полночи танцевала нагишом при незадернутых шторах. Бинокль прыгал у меня в руках, искажая картину... он большой, плечистый, она маленькая и худая.

49

Позвоночник ни к черту: странная боль, особенно, когда встаю. Дрожь распространяется от правой ноги по всему телу. Немота... во всяком случае, говорить трудно, даже очень трудно. Можно считать это послеоперационным осложнением, нарушение речи произошло во время электростимуляции; меня уверяли, что вот-вот пройдет само, но пока становится только хуже. Так или иначе, я все чаще впадаю в уныние, минуты эйфории столь редки, что, можно считать, их не бывает вообще. В чем дело? Выскочила грыжа; посмотрим, "пройдет ли сама". Остальное пустяки: немеют руки, отекают ноги и т. д., и т. п. Я был уверен, что такого рода недуги меня обойдут — не обошли! Раньше — когда я увлекался спиртным — как оно бывало: просыпаешься больной и выздоравливаешь. Иногда медленнее, иногда быстрее, но рано или поздно здоровье возвращалось. А сейчас будто стоишь на льдине: глядь, подплывает другая, крепкая, понадежнее, — прыг на нее, а она так же уходит из-под ног; в общем, все то же самое или еще хуже. Перепрыгиваю с льдины на льдину, от болезни к болезни. Лучше не становится. По частям выпадаю из действительности. Одна немота чего стоит. А если не немота, так жалкий беспомощный хрип. Сказать что-нибудь любой ценой. Успеть. Раньше я не понимал, что значит владеть речью, во скольких ситуациях без этого не обойтись. "Тебе незачем говорить, твое дело — писать"... мы шутили, пока положение не стало угрожающим. Много времени на это не понадобилось. А теперь... попробуйте-ка сами вызвать по телефону такси, купить продукты, объясниться на почте, написать книгу о любви к Зузе...

А ведь все должно было сложиться совсем иначе. Первая встреча — восторг. Вторая, третья, четвертая — то же самое. Наконец она сдается. Вы идете в кино. Когда предлагаешь сходить в кино или еще куда-нибудь, она неизменно отказывается, но в конце концов уступает, как будто речь идет неизвестно (а очень даже известно) о чем. Любовный роман не напишешь,

пока не влезешь в душу к другому человеку. Пока не лишишь его свободы. Я спал с Зузой, но она не была моей. Моя да не моя: не Зуза мне принадлежала, а ее тело. Я был в ней — но не с ней. Был очень близко, ближе некуда, но на самом деле она меня — всегда! — держала на расстоянии. Подобные сетования можно услышать от тех, что имея не имели. Подавляющее большинство сталкивается с молчанием тела. Тело молчит, а ведь столько — если б хотело — могло бы рассказать. Я что, принял восторг за любовь? Можно ли так ошибаться? Столетиями восторг был началом любви.

Потом первая совместная поездка. К ее родным на Возвращенные земли[1]. Специалисты по душераздирающим сюжетам утверждают, что он должен быть в полном неведении.

Время от времени что-то его смущает, что-то с чем-то не вяжется, но в целом он так ничего и не понял. Влюбленный по уши пастушок. Простофиля в безнравственном лживом мире. Мне такой вариант не интересен, ничуть не интересен. Он — ветеран эротических битв, влюбленный в телесное совершенство. Она знает о нем почти все, да и он о ней немало. Он твердый орешек, и она тоже. Она не позволяет себе сильных эмоций, он принимает восторг за любовь. Возможна ли любовь без восторга? В юности мы отвечали: нет. Тогда восторг был самым важным. Без оговорок. Главным условием любви. Круг женщин, по сути, был невелик — сводился к нескольким, слывшим красавицами, притом что умением распознавать красоту мы не отличались. Красоток атаковали неумело и слишком многих сразу — неудивительно, что облом следовал за обломом. Даже эти бездушные куклы видели, что ничего в нас нет. Множественное число в данном случае не означает, что я ограничиваюсь школьными воспоминаниями. Студентами мы еще оставались в плену своих — что тут скрывать — инфантильных представлений. Например, были заложниками формы. Всем хотелось, чтобы наши девушки не имели запаха, как те, которыми изредка удавалось полюбоваться на фото в иллюстрированных журналах. Чтобы их плоть была лишена физиологии. На худой конец, пусть бы пахли типографской краской. Что, не было такого рода иконографии? Была, только ущербная. С большими пробелами. Кто-то что-то видел. Кто-то что-то привез. Случайная встреча (необязательно над Наревом) помнит-

1. Условное название бывших территорий Третьего рейха, большая часть которых была передана Польше по условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций (1945), а также в результате двусторонних договоров с СССР (1945—1956).

ся спустя пятьдесят лет. Как тогда, как когда-то... Бассейн у нас в Висле... Девушка не привлекала внимания, поскольку не была ни стандартной красоткой, ни хрупкой длинноногой и длинноволосой блондинкой, ни обладательницей умопомрачительного купальника. Наоборот, на ней был хоть и состоящий из двух частей, но довольно закрытый черный купальный костюм. Не эластичный. Эпоха эластичных купальников приближалась семимильными шагами, но до польских земель еще не добралась. Молодая женщина просто сидела за столиком... как бы сказать поточнее... сидела раскрепощенно. Сидела, потому что сидела, сидела, потому что ей хотелось сидеть. Скажу еще иначе: сидела, не стесненная путами кокетства. Мол, посмотрите, как я красиво сижу, как лежит моя рука, как вскинута голова... нет, на это не было и намека, а уж тем более ни о какой зазывности речи не шло. В том, как чувиха (пардон, в ту пору так говорили) сидела, ощущалась внутренняя сила и отсутствие комплексов, и это, а не красота, завораживало. Я сидел близко, за соседним столиком. При чем тут столики? А вот при чем: упомянув, что представшая моему взору сцена происходила в бассейне, я забыл добавить: в кафе при бассейне — у нас в Висле там было весьма популярное кафе.

У брюнетки была куча знакомых — почему-то меня это раздражало, однако приходилось мириться: к ней то и дело кто-то подходил, здоровался — более или менее фамильярно, шептал что-то на ухо. Клянусь, она здесь знала всех, кроме меня. Мы с ней не обменялись ни словом, хотя, думаю, это было бы вполне реально. Я лечился от щенячьего похмелья, пил лимонад и лениво поглядывал по сторонам. Незнакомка пила пиво и жевала бутерброд с ветчиной. Да, да, припоминаю: кафе при бассейне недаром пользовалось успехом — туда захаживали, чтобы угоститься бутербродом с ветчиной, не только двадцать второго июля[1]. Ела она так же, как сидела, о крошках, падающих на ее грудь, я не вспоминал без малого пятьдесят лет...

(*Здесь рукопись то ли кончается, то ли обрывается.*)

1. В коммунистической Польше 22 июля (с 1945-го до 1989 г.) отмечался государственный праздник — День возрождения Польши: в этот день в 1944 г. Польский комитет национального освобождения издал Манифест к польскому народу, в котором была сформулирована программа строительства народно-демократической Польши.

Уоллес Стивенс

“Не каждый день мир выстраивается в стихотворение”

Стихи и афоризмы

Перевод с английского и вступление Григория Кружкова

Говоря о Стивенсе, непременно вспоминают его многолетнюю службу в страховом бизнесе, притом на солидных должностях: начальника отдела рекламаций, а затем вице-президента Хартфордской страховой компании. Дескать, вот поэт, всю жизнь носивший маску добропорядочного служащего, скрывавший свой поэтический темперамент за обличьем заурядного буржуа. Вот привычка, ставшая второй натурой; недаром и в его поэзии мы находим целую колоду разнообразных масок, которые “остраняют” лирические признания, отчуждают их от автора. Мы говорим прежде всего о названиях стихотворений Стивенса, таких, как “Человек с больным горлом”, “Печали Дона Йоста”, “Питер Пигва за клавикордами”, “Прилично одетый мужчина с бородой”, “Le Monocle de Mon Oncle” (“Монокль моего дядюшки”) и так далее.

Первый сборник Уоллеса Стивенса “Фисгармония” (1923) поразил читателя своей странностью. Он как будто выламывался из любой традиции — неоромантической, реалистической — или из новой только рож-

© 1997 by Literary Classics of the United States, Inc. New York, N. Y.
© Григорий Кружков. Перевод, вступление, 2016

дающейся традиции англо-американского модернизма Паунда и Элиота. Нужно было хорошо вчитаться, вчувствоваться в стихи Стивенса, чтобы осознать их укорененность в поэзии английского романтизма, прежде всего Вордсворта, Кольриджа, Шелли и Китса, их преемственность по отношению к американской традиции Эмерсона и Уитмена. Особенно интересна связь между Уитменом и Стивенсом.

Эгоцентризм Уолта Уитмена, его упорное настаиванье на равновеликости поэта и мира находило, как представляется, сильный отклик в душе Стивенса. Но там, где Уитмен с полной уверенностью в своем праве пишет: "Славлю себя и сам себя воспеваю", Стивенс как будто бы тоже заканчивает свое стихотворение на высокой мажорной ноте: "Я миром был, в котором я ступал; / Все исходило от меня. Таков / Я был — непостижимый и простой", — а потом, подумав, озаглавливает стихотворение так: "Вечер во дворце Хуна". Тем самым полностью подрывая смысл сказанного. Кто такой этот Хун, владелец дворца? Не родня ли Кубла Хану, построившему, как известно, свой царственный чертог в Занаду, как о том повествует очнувшийся от опиумного сна Кольридж? Другими словами, не приснилось ли это все поэту? Еще проще: не бредит ли автор?

И так всегда. Стоит Стивенсу увлечься, воспарить, как тотчас, опомнившись, он сам *одергивает* себя, иронически переосмысляя свой порыв. Вот еще одна комическая маска — женевский доктор, который, встав лицом к лицу с океаном, "...трепета не испытал / Пред этим явным бешенством стихий". И тут же автор добавляет:

> И все-таки его пытливый ум
> Был сбит с резьбы упорством и числом
> Косноязычных варварских валов.
>
> Столпы и купола его ума,
> Внезапно треснув, рухнули в потоп.
> Профессор высморкнулся и вздохнул.

"Я царь — я раб — я червь — я бог!" Стивенс чувствует оба плеча весов. Он торжествует поражение человека в схватке со стихиями мира.

> Закончилась битва с солнцем,
> И плоть моя, старая лошадь,
> Уже ничего не помнит.
>
> *Печали Дона Йоста*

Ирония не мешает романтической струе в стихах Стивенса. Как считают критики, большое влияние на него оказал самый романтический из "прóклятых поэтов", Жюль Лафорг (1860—1887). Единственные изданные при жизни книги Лафорга называются "Жалобы" и "Подражание государыне нашей Луне".

Перечитывание первой книги Стивенса убеждает: именно на эти жалобы и подражания настроена его "Фисгармония". В отличие от Лафорга, по-

эта целиком лунного, у Стивенса мы видим некое динамическое состязание, "перетягивание" Солнца и Луны, но все же с явным перевесом Луны, лишь она — вдохновительница и матерь его Музы.

У Лафорга — это Богоматерь Вечеров, которой он жалуется:

Фу, солнечный экстаз! Природа, право слово,
Ты лимфатических и пошлых сил полна.
Но солнце скроется — и вот уже волна
Лиловых сумерек меня лелеет снова,
Как ангела больного:
О Богоматерь Вечеров...[1]

У Стивенса "Богоматерь Вечеров", Луна, также ассоциируется со святой Марией.

Когда усталым вечером ноябрьским
Она скользит своим лучом по веткам,
Едва касаясь неподвижных веток,
Когда распятый бледный Иисус
Нам предстает так близко — и Мария,
Чуть тронутая инеем, таится
В пещерке из увядших палых листьев,
Когда меж туч сиянье золотое
На миг дарит иллюзию тепла
И сладостные сны приносит спящим...

Луна — мать пафоса и состраданья.

Объяснение Луны

Лафорг в стихотворении "Эпикуреец":

Я счастлив задарма! Блажен, кто создает
Себе при жизни рай, на случай, если тот,
Который в небесах — вранье и небылица
(Чему, признаюсь вам, не стал бы я дивиться)[2].

Стивенс в своих записных книжках: "Когда теряется вера в Бога, поэзия занимает ее место — искупительницы жизни".

Сочетая в одно пафос и иронию, гармонизируя их, Стивенс — гений нюансировки, равного которому нет во всей американской поэзии. Его влияние на таких крупных поэтов следующих поколений, как Элизабет Бишоп, Джеймс Меррилл, Джон Эшбери, — основополагающее. Один из лучших современных поэтов США, Чарльз Симик, на вопрос журналиста, кому он первому показывает новое стихотворение, отвечал: "Я его показываю Эмили Дикинсон и Уоллесу Стивенсу".

1. Перевод Е. Комиссаровой.
2. Перевод Е. Баевской.

Похороны Розенблюма

Несчастный старый Розенблюм усоп,
И тысячи носильщиков несут,
Впечатывая шаг —
Аж гром в ушах! —
Его достойный гроб.

Итак,
Они несут иссохший труп,
Обезображенный грехом,
На темный холм.
Гремит их слитный шаг.

Да, Розенблюм усоп!
Носильщики несут его на холм
И дальше, прямиком
На небо тащат
Неуклюжий гроб.

По деревянным трапам в пустоту,
Наследники мирской тщеты,
Обид и злоб,
Они несут,
Шагая в небо, темный гроб.

На них тюрбанов короба
И меховые сапоги,
Чем выше, тем мороз лютей,
По пустоте
Гремят шаги.

Медь дребезжит,
И дудок вой
Звенит в ушах.
По небу нескончаемой тропой
Идут — гремит их шаг.

Туда, где вечный разнобой
У слов с судьбой,
Где бедный Розенблюм
Преобразится в ветер верховой
И стихотворный шум.

Гомункул и *la belle* Étoile

Вот над Бискайской бухтой заморгала
Зеленая вечерняя звезда —
Заветный светоч пьяниц, вдов, поэтов
И леди, собирающихся замуж.

От этого свеченья рыбки в море
Упруго изгибаются, как ветки,
И мчатся врассыпную — вверх и вниз,
Направо и налево.

Свет этот направляет мысли пьяниц,
Надежды вдов и грезы юных леди,
Скольженье рыб,
Фантазию поэтов.

И то же изумрудное свеченье
Философов чарует, оставляя
Им лишь одно бездумное желанье —
Купаться и купаться в лунном свете.

При этом тешась тайною надеждой,
Что могут возвратиться к умным мыслям
В любой момент тишайшей этой ночи
И насладиться перед сном раздумьем:

Не выгодней ли это, чем потеть
В тяжелых одеяниях магистров,
Сосредоточиваться на пупке
И наголо брить голову и тело?

Быть может, истина, в конце концов,
Не тот летучий, изможденный призрак,
А соблазнительная красота —
Вся страсть и обещанье плодородья,

Которая одна смогла б явить
В сиянье этих звезд над побережьем
При помощи простых и зримых слов —
То, что они так долго, тщетно ищут?

Воистину сей свет благоприятен
Познавшим сокровенного Платона,
Как изумруд, который исцеляет
Тревогу сердца и смятенье мысли.

Анатомия скуки

Мы происходим из земли. Земля
Нас родила — в числе других последствий
Распутства своего. Она и мы
Одной природы. Значит, и она,
Как мы, стареет, и бредет к концу,
И умирает так же, как и мы.
Чем краше листопадная пора,
Тем громче ветер кличет нас и тем
Острей в душе уколы холодов.
Над пустотой небес другая высь
Видна — еще пустынней и страшней.

А тело обнаженное бежит
Навстречу солнцу и находит в нем
И нежность, и утеху, и печаль;
А вслед спешат другие — принести
Свои фантазии на пир затей
И звуки с музыкою тел смешать
В неистовом стремлении к иным
Причудливым и новым чудесам.
Да будет так. Но тот простор и свет,
В которых сердцу ласка и обман,
Струятся с самых страшных и пустых
Небес. Дух видит это и скорбит.

Обычные женщины

Они собрались — кто их звал? —
Из чадных лет на яркий свет,
На звон гитар
Они пришли в дворцовый зал.

От беспросветной прозы дней,
От маяты на луч звезды
Они пришли,
Сбежав от скуки и нужды.

А здесь — мерцает бархат лож
И струны дзинь, и тинь-тинь-тинь,
И лунный луч
Сквозь шторы цедится, тягуч.

И платьев их прохладный шелк
Едва шуршал и не мешал
Устам шептать
Свой невозможный мадригал,

Когда с балкона, очи вздев,
Они в зенит на алфавит
Зверей и птиц
Смотрели сквозь узор дерев.

И разбирали по складам,
Что суждено, что быть должно,
Тирли-ли-о! —
Сквозь ночи яркое стекло.

А худощавый музыкант,
Кудряв и юн, играл, игрун,
Как заводной,
И не щадил ни душ, ни струн.

В прическах башенных сверкал
То пышный бант, то бриллиант,
Как жар костра,
И волновались веера.

И пылкий шепот уши жег,
И тусклый взгляд просил наград
У смуглых рук,
И плыли пятна свеч вокруг.

Они собрались — кто их звал? —
Из чадных лет на яркий свет,
На звон гитар
Они пришли в дворцовый зал.

Афоризмы

Передать ощущение свежести и яркости жизни — достойная задача для поэта. Дидактическая цель оправдывает себя в уме учителя, философская цель — в уме философа. Дело не в том, что одна цель оправдана так же, как другая, а в том, что цель бывает чистой или нечистой. Ставить перед собой чистую цель — задача чистой поэзии.

Шелковые одеяния поэзии извлечены из червей.

Когда теряется вера в Бога, поэзия занимает ее место — искупительницы жизни.

Поэзия — форма меланхолии. Или скорее меланхолия — одна из “autres choses solatieuses”[1].

Жизнь не может быть основана на принципе, потому что она по своей природе основана на инстинкте. Но и принцип всегда в наличии; жизнь — это непрестанная борьба между принципом и инстинктом.

Важна вера, а не Бог.

В жизни нет ничего, кроме того, что вы думаете о ней.

В жизни нет ничего прекрасного, кроме самой жизни.

Сентиментальность — это промашка чувства.

Окончательная вера — это вера в выдумку, про которую ты знаешь, что она выдумка, потому что ничего иного в мире нет. Самая великолепная истина та, про которую знаешь, что она выдумана, и сознательно в нее веришь.

Разум разрушает, поэт должен строить.

Жить в мире, но вне обыкновенных представлений о мире.

То, что описывает поэт, суть символы его самого или его разных “я”.

Стихотворение должно быть чем-то бóльшим, чем умственная концепция. Оно должно быть откровением природы. Концепции искусственны, ощущения сущностны. (У меня нет убеждений, у меня есть только нервы.)

Не каждый день мир выстраивается в стихотворение.

Поэт глядит на мир почти так же, как он глядит на женщину.

1. Другие утешительные вещи (*ст.-франц.*).

Может быть, более ценно приводить в ярость философов, чем шагать с ними в ногу.

Я не думаю, что нужно настаивать на нормальности поэта, да, к слову сказать, кого-либо иного.

Поэзия — это преодоление бедности и изменчивости мира, зла и смерти. Это усовершенствование мира, удовлетворение, обретенное в непоправимой убогости жизни.

Meine Seele muss Prachtung haben[1].

Бог есть символ чего-то, что может принимать и другие формы, например, форму высокой поэзии.

Если разум — зал, в котором мысль — некий говорящий голос, это должен быть чужой голос.

Каждому оригинальному художнику нужно иметь мужество оставаться дилетантом.

Романтизм в поэзии все равно что декоративное в живописи.

Великое стихотворение — это освобождение от реальности.

Литература основывается не на жизни, а на предположениях относительно жизни, в числе которых и данное предположение.

Романтик — первая фаза сумасшествия (в необидном смысле).

Поэт — это бог. Вернее, юный поэт — бог, старый поэт — бездомный бродяга.

Поэтическое ви́дение жизни шире, чем любое стихотворение; понимание этого — начало понимания самого духа поэзии.

Жизнь интересна; помимо этого, в ней ничего нет.

1. Моя душа должна быть величавой (*нем.*).

В конце концов, воображаемый мир полностью лишен интереса.

Не стоит тратить время на то, чтобы быть современным, — есть много куда более важных дел.

Человек, задающий вопросы, стремится достигнуть такой точки, когда больше не нужно задавать вопросы.

Легче копировать, чем думать, — отсюда мода. Кроме того, сообщество оригиналов уже не сообщество.

Поэзия есть исцеление разума.

Нет ничего более неприемлемого для американской литературы, чем ее английские истоки, ведь у американцев другая, не английская восприимчивость.

Поэзия — реакция на ежедневную потребность привести мир в порядок.

От стихотворения не требуется, чтобы оно имело смысл; у большинства вещей в природе его нет.

Новизна (а не новинка) — может быть, высшая индивидуальная ценность в поэзии. Даже показушная новизна новой поэзии имеет свою ценность.

Достоинство в поэтах так же утомительно, как и в прочих людях.

Искусство намного шире, чем область прекрасного.

Слабость сюрреализма в том, что он выдумывает, а не открывает. Сказать, что устрица играет на аккордеоне, — значит что-то выдумать, а не открыть.

Великий источник поэзии заключен не в другой поэзии, а в прозе, в реальности. Но требуется поэт, чтобы открыть поэзию в прозе.

Жан-Пьер Камю

Новеллы

Перевод с французского и вступление Елены Морозовой

Жан-Пьер Камю (Jean-Pierre Camus, 1584—1652) принадлежит к наиболее плодовитым авторам своего века. Его творчество представлено более чем 250 сочинениями, среди которых несколько томов проповедей, религиозные трактаты, 36 романов и 21 том новелл общим числом 950. Уроженец Парижа, в 24 года ставший епископом Белле, пламенный проповедник, основатель трех монастырей, неутомимый деятель Контрреформаций, депутат Генеральных Штатов от духовенства (1614), в конце жизни он удалился в приют для неисцелимых больных, где посвятил себя молитвам и помощи страждущим.

Духовный ученик и последователь епископа Франсуа де Саля (св. Франциска Сальского), Камю начал писать благочестивые романы, дабы, по его словам, противостоять "сочинениям нечестивым, хотя и приятным с виду", которыми он считал современный ему прециозный роман. Однако его многословные назидательные вымыслы успеха не имели, и он обратился к популярному в то время жанру трагической истории, мрачной новеллы, наполненной кровавыми ужасами и загадочной мистикой, где как нельзя ярче

© Елена Морозова. Перевод, вступление, 2016
Опубликовано при любезной поддержке Института Франции в России.

нашел свое отражение противоречивый и эмоциональный стиль барокко. Черпая свои сюжеты всюду, включая судебные хроники и материалы громких процессов, Камю перерабатывал их в духе христианской морали с целью преподать читателю душеспасительный урок. Поучения, назидательные выводы и ссылки на авторитеты, роднящие трагические истории Камю со средневековыми "примерами" (exempla), соседствовали с описаниями нечеловеческих жестокостей и отвратительных зрелищ, предвосхищая постулат де Сада о необходимости во всей красе показывать порок, дабы пробудить к нему отвращение. В рассказах Камю никто не избегает справедливого наказания, ибо роль неумолимых судей автор отводит Богу и Провидению, чья богатая фантазия постоянно изыскивает новые способы явить свое могущество и наказать порок, чтобы читатель, ужаснувшись неотвратимости божественного возмездия, немедленно ступил на стезю добродетели. Не чужд Камю и юмор, хотя тогдашние читатели наверняка видели его не там, где видим сегодня мы: для нас сочетание вдохновенного морализаторства и жутких подробностей кровавых злодеяний зачастую создают эффект исполненной черного юмора детской страшилки.

Первый сборник новелл Камю под названием "Необычайные происшествия" (Les événements singuliers) вышел в 1628 году и в ближайшие три десятилетия выдержал восемнадцать переизданий и два издания в переводе на английский. Не меньшим успехом пользовались и последующие сборники, сделавшие автора едва ли не самым читаемым писателем в тогдашней Франции.

Зловонный сожитель

Из сборника "Кровавый амфитеатр", 1630

ОТБЕЛИТЬ мавра и извести пятна на шкуре леопарда значительно проще, чем привести к добру того, кто закоснел во зле. Безрассудный, страдал я за беззакония свои, сказал царь и пророк[1], но раны мои зарубцевались; жестоко осудил Даниил старца, оклеветавшего Сусанну[2], и упрекнул его за то, что состарился он в днях злых. И вопиял Спа-

1. Ветхозаветный царь Израиля Давид, бежав от гнева Саула к Анхусу, царю Гефскому, притворился безумным. (1 Цар. 21: 13–15) (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. История Сусанны, обвиненной вожделевшими ее двумя старцами в прелюбодеянии и спасенной пророком Даниилом, уличившим старцев во лжи, изложена в Книге пророка Даниила, гл.13.

ситель, и плакал над могилой зловонного и гниющего Лазаря[1], но еще более смердел грешник, погрязший в непотребстве и порочных привычках. В этом рассказе, который я не без основания помещаю среди трагических историй, вы увидите, как из-за презренной плоти мы можем ввергнуть в погибель нашу бессмертную душу.

В одном городке королевства, название коего я умолчу, дабы не обижать ни край, ни его жителей, проживал некий принципал, возглавлявший коллегиал, где юношей обучали изящной словесности (не знаю только, обучали ли там добрым нравам); принципала сего мы назовем Эпафродитом. Не станем уточнять, был он мирянином или лицом духовным, дабы из-за пороков одного не возводить хулу на все сословие. Умом он обладал быстрым, был красноречив и силен в греческом, латыни и философии. А еще он заботился о том, чтобы привлекать в вверенный ему коллегиал хороших учителей, и сам так прекрасно, старательно и усердно учил учеников своих, что очень многие по его дисциплинам преуспевали. Но если бы Богу было угодно, чтобы он имел не только обширные познания, но и прекрасную душу и чистую совесть, тогда бы у нас не было причин рассказывать о его ужасной кончине и ставить его в один ряд с теми, кого, как уверенно можем мы сказать, осуждают все.

Недостойная и распутная жизнь его завершилась бесславно, а страшное проклятье Господа, павшее на него после смерти, наверняка покажется вам неотвратимым и удивительным. Рожденный в провинции, где все славились особым пристрастием к выпивке, он имел слабость к вину. Питие обычно сопровождалось обжорством, и, хотя пил он только хорошее вино и ел только лучшее, поглощал он столько всего, что тело его походило на бурдюк, наполненный яствами и напитками. А еще он пристрастился к игре. Но погубили его женщины. Рухнув в бездну следом за теми, кто уподобился Давиду, Соломону и Самсону[2], он позабыл и мудрость свою, и ученость. Тридцать лет он сожительствовал с женщинами, постоянно их меняя, и развратил немало жен и девиц, не привязавшись ни к одной из них. Иногда он заводил сожительниц за пределами коллегиала, а иногда содержал их при себе, живя с ними словно с законными супругами.

1. История Лазаря изложена в Евангелии от Иоанна, гл. 11.
2. Ветхозаветным царям Давиду и Соломону и герою Самсону, отличавшимся любвеобилием, в наказание за содеянный грех были посланы многие скорби.

Он не заботился ни об огласке, ни о дурном примере, который подавал нежной юности.

Но некая ловкая и сообразительная особа, в расцвете молодости и красоты, сумела в конце дней его заполонить собою все его помыслы. Совсем потеряв голову от любви, он больше не мог жить без своей любезной и стал таким ревнивым, что стоило ей куда-нибудь отойти, как он думал, что ее похитили или же соблазнили, а стоило кому-нибудь посмотреть на нее, как в нем тотчас поднималась тревога. На головы скольких невинных школяров обрушился гнев его, сколько их понесли наказания от учителя своего всего лишь за то, что осмелились поднять робкий взор на ту звезду, чей свет был столь мил учительскому взору? Он видел соперника в собственной тени; а если на щеку сей особы садилась муха, готов был заплатить любую цену, дабы узнать, какого она пола, и окажись, что мужского, он бы немедля ее прихлопнул. Семь или восемь лет обладал он этой змеей, оберегал ее, словно бесценное сокровище, и сторожил, словно волшебный дракон, охранявший золотые яблоки в саду Гесперид.

Наконец, избежав правосудия земного и небесного, он подошел к концу жизненного пути, и смерть, пожелав взять свое, призвала его на суд, коего не избежать никому и где каждый получит по заслугам. Посмотрите же, сколь великий запас гнева собрал сей несчастный в житницы свои для Страшного суда, презрев сокровища доброты и долготерпения Господа. За время долгой болезни, предшествовавшей смерти, его не раз посещали монахи и служители Господа, усердно пекшиеся о спасении души его; они справились у лекарей и, узнав, что болезнь его смертельна, стали уговаривать его подумать о душе своей и об имуществе. Сначала он лишь смеялся над их речами и утверждал, что чувствует себя хорошо и вовсе не столь плох, как они думают. Но, наконец, почувствовав, что силы его покидают и жизнь близится к закату, он внял упрекам, прислушался к спасительным словам и приготовился к таинству причастия. Чтобы получить отпущение, ему пришлось пообещать выгнать из дома ту, что превратила его жилище в приют непристойности и нечестия; человек же, уговаривавший его, оказался так настойчив и ловок, что, поймав его на слове, стал ковать железо, пока горячо, и потребовал, чтобы тот без промедления выгнал сожительницу.

Однако несчастная сия, всегда готовая пустить слезу, при этом известии разразилась бурными рыданиями и, преумножая отчаяние, кричала, бесновалась, буйствовала и рвала на себе волосы, желая доказать свою безграничную привязанность к тому, кого она любила единственно из выгоды и чье плачевное со-

стояние было ей известно. К такой уловке презренная прибегла с целью еще крепче прилепить его к себе, если он выздоровеет, или получить как можно большую долю по завещанию, если дни его сочтены. И, безусловно, надежды плутовки оправдались, ведь он решил отдать ей все, как если бы она являлась его законной женой; а чтобы никто у нее обманным путем ничего не выманил, он передал ей ключи от всех замков, бросив тем самым богатства свои, накопленные долгим и усердным трудом, в дырявый мешок. Невозможно описать, сколь велики были печаль и жалость умирающего, понимавшего, что его прекрасная звезда должна исчезнуть с глаз долой; все же пришлось ему призвать сурового и неумолимого исповедника, дабы он разлучил его с той, что навсегда завладела его душой. Ибо прежде, чем душа его воспарит и дух покинет бренное тело, в согласии с требованиями святой церкви ему надобно отринуть ее от себя. Однако просьба сия оказалась лишь двуличием, уловкой с целью получить отпущение; едва исповедник покинул его, оставил в ожидании дня завтрашнего, когда он получит предсмертное причащение, как несчастный грешник снова призвал эту ведьму, и та вернулась к нему в дом. Бросившись к ногам его, она целовала их и орошала слезами, и он, не в состоянии перенести притворное ее страдание, протянул ей слабеющую руку, и та стала целовать ее и омывать слезами, постоянно испуская горестные вздохи. Эпафродит же, вместо того чтобы оплакивать грехи, совершенные по ее наущению, проливал слезы жалости, а льстивая особа старалась приободрить его, уверяя в непременном выздоровлении; и, словно оракулу, внимал обманутый больной словам, исходившим из любимых уст. Душа его приготовилась расстаться с телом, силы оставили его, но, обманутый несбыточной надеждой, он уповал, что вскоре воспрянет духом. И вот, несмотря на обещание, данное исповеднику, он вновь поклялся никогда с ней не расставаться и обратился к ней с греховными словами любострастия, кои я не осмеливаюсь передать, а потом попросил поцеловать его в губы, лелея надежду, что средство сие ему полезней, чем любая помощь лекаря, ибо поцелуй этот способен не только удержать в теле его душу, но и вернуть ее обратно, если та уже ее покинет, а также исцелить его и восстановить его силы.

Бесстыжая женщина исполнила его желание, и, обвив его шею своими легкими руками, поцеловала его: и так он сильно прилепился к своему кумиру, что душа его то ли от натуги, то ли от изнеможения, то ли от избытка чувств отделилась от тела, и он скончался на груди сей пропащей особы.

О Боже, как не похожа эта смерть на кончину Моисея, испустившего дух с поцелуем Господа на устах, и как мерзкий

поцелуй ее отличался от святого поцелуя первых христиан, о которых говорит нам апостол! Мы не знаем, куда, вылетев изо рта его, устремилась его душа, сие от нас сокрыто, но и не мудрствуя лукаво легко догадаться, что отправилась она не по той дороге, по которой поднимаются к славе небесной. Итак, душа Эпофродита умчалась туда, куда ей было суждено, а женщина, ставшая причиной сего ужасного несчастья, сжимала в объятиях хладное как лед и недвижное тело.

Оставим же ее вопиять и оплакивать свое несчастье, а сами посмотрим, как небесный гнев обрушился на жалкое тело грешника. Не больше часа прошло с той поры, как душа покинула сие тело, но оно уже стало источать такое сильное зловоние, что не только комната, но и весь дом сделались непригодны для жилья из-за нестерпимой вони. С трудом нашли того, кто согласился обрядить мертвеца.

Тело положили в гроб, но запах тления просачивается через дерево, и смрад распространяется повсюду; гроб замазывают дегтем, воском, мастиковой смолой, на стыки досок накладывают полоски кожи и приклеивают их прочным клеем — ничего не помогает. Предложили положить тело в свинцовый гроб, но, когда речь зашла о расходах, все стали отнекиваться и никто не хотел идти на издержки; с трудом нашли чистильщиков выгребных ям, согласившихся за большие деньги предать покойного земле. Его похоронили в церкви; и, хотя гроб зарыли на глубину целых шести футов, а сверху накрыли могильной плитой, церковь сразу наполнилась таким мерзостным духом, что пришлось извлечь его и закопать на кладбище. Тотчас в воздухе разлилась ужасная вонь, и все, кто шел в церковь, стали обходить кладбище стороной. Тогда ночью гроб выкопали, оттащили в поле и там закопали; но владельцы поля посчитали это чьей-то злой шуткой и, не желая терпеть у себя столь дурно пахнущий предмет, бросили усопшего в реку, воды которой мгновенно напитались ядом, отчего рыба там подохла и сгнила.

Тело покойного, вызывавшее омерзение и недовольство людей, дало наследникам повод оспорить завещание, дабы лишить гадкую женщину плодов ее хитрости и бесстыжести. Доказательство ее дурного поведения нашли без труда, ибо она не скрывала, что жила с покойным как с мужем, прижив от него нескольких детей; так что ее лишили наследства и приговорили вернуть все, что она унесла с собой. Некоторые полагают, что, оставшись ни с чем, она умерла от раскаяния, другие же утверждают, что она прожила еще несколько лет, впав в ужасающую нищету.

Плачевные последствия невоздержанности свидетельствуют, что порок, именуемый прелюбодеянием, является наиболее гнусным из всех пороков, ибо он разрушает тело, душу,

достояние, честь и репутацию того, кто ему привержен. По словам апостола[1], ни блудник не проникнет в Царствие небесное, ни неправедный, иначе говоря, по истолкованию святого Иеронима[2], только тот, кто прожил жизнь целомудренно, узрит Господа; предупреждение это относится прежде всего к распутникам, на них мечут громы и молнии святые апостолы. Долой, собаки паршивые и бесстыдные! Истинно говорю я вам, что прелюбодеи, блудники и нечестивцы никогда не попадут в Царствие небесное.

П*оединок*

Из сборника “Кровавый амфитеатр”

БОГАТЫЙ, благородный, достойный и всеми уважаемый Флодоард, чьи владения находились в краю, что граничит с Шампанью, Бургундией и Лотарингией, мирно жил в свое удовольствие в окружении друзей; но вот явился тиран сердец, именуемый амуром, смутил его покой и разорил его. Флодоарда покорила красавица Седрина, дочь человека с меньшим, чем у него, состоянием, однако равного ему по знатности и положению в обществе. Но, надменная и легкомысленная, девушка не отвечала на чувства Флодоарда и обращалась с ним столь сурово, что наверняка погасила бы любовь менее пылкую, чем у него. Однако родители, более благоразумные, нежели их ветреная дочь, считали эту партию весьма выгодной для нее и, почитая союз с Флодоардом за честь, пообещали ему руку Седрины. Благородный Флодоард обрадовался, ибо надеялся, что, получив горделивую девицу в жены, сумеет перебороть презрение, коим она платила за его привязанность, а радости брака породят в ее сердце ответные чувства; как мог, он торопил заключение сего союза, и после помолвки Седрина стала его невестой.

В это же время вельможный Артабан, рождением и положением своим гораздо выше Флодоарда, объявил себя поклонником Седрины и, не считаясь ни с чем, решил жениться на ней. Действительно, он несколько раз видел Седрину в Париже и воспылал к ней страстью, но его место в обществе

1. Апостол Павел говорит об этом в Первом послании к коринфянам (гл. 5, 6) и в Послании к Ефесянам (гл. 5).
2. В беседах и письмах св. Иероним доказывал превосходство целомудренной жизни.

было неизмеримо выше места, занимаемого семьей девушки, поэтому никто не верил, что он снизойдет до нее и возьмет ее в жены; многие, и Флодоард в первую очередь, считали, что выходки, коими Седрина испытывала его терпение, причиною имели надежды на будущее, ибо Артабан своими ухаживаниями льстил ее тщеславию и так убедительно говорил о том, что она станет его супругой, что девица поверила ему. Стоило только Артабану попросить ее руки, как имя Флодоарда исчезло из ее памяти, словно звезда на восходе солнца. И прежде человек этот не занимал целиком сердце Седрины, а теперь она и вовсе вычеркнула его оттуда. Ее родители, также ослепленные возможностью столь блистательного союза, не поразмыслив как следует, решили отказаться от своего обещания, и стоило Артабану попросить руки их дочери, как они тотчас согласились, не думая о том, как несправедливо они поступают по отношению к Флодоарду. Уязвленный изменой Седрины, пылая гневом на Артабана, коварно лишившего его невесты, он решил последовать примеру наших кавалеров, привыкших вершить правосудие со шпагой в руке, и стал искать того, кто пожелал бы выступить его секундантом и присутствовать на поединке с Артабаном. Но он никого не нашел, ибо вельможа сей занимал в обществе положение, недосягаемое для простых дворян. Убедившись, что помочь себе может только он сам, он отправился к Артабану и, сдерживая рвущийся из души гнев, уважительно, как и подобает говорить со знатным сеньором, в достойных выражениях объяснил, какое зло тот ему причинил. Но так как Артабан ответил ему презрительно, Флодоард заявил, что он не новичок на поле брани и имеет честь носить шпагу, а потому не позволит обращаться с собой пренебрежительно и, не отказывая Артабану в почтении, намерен защитить собственную честь. Поняв, что Флодоард желает свести с ним счеты с глазу на глаз, Артабан осыпал его насмешками; надменная и хвастливая речь соперника разъярила Флодоарда, и он воспылал жаждой мести. В конце концов Артабан, окруженный челядинцами, готовыми по первому его знаку разрубить непрошеного гостя на куски, заявил, что не намерен скрещивать шпагу с тем, кто стоит неизмеримо ниже его по положению. Единственная милость, кою он, отдавая должное отваге Флодоарда, может ему оказать, — так это позволить ему уйти через дверь; но, если тот еще раз заявится с подобными речами, он вышвырнет его в окно, а слуги поколотят его палками. Смертельно оскорбленный, Флодоард был готов умереть в страшных муках, лишь бы хоть немного утолить свою месть. Он ушел, затаив обиду и обдумывая, как жестоко отомстит

Артабану; но, к сожалению, положение Артабана в обществе было слишком высоко: он был подобен неприступной крепости, которую пытался одолеть немощный воин.

Тем временем обворожительная Седрина, не удовлетворенная природной красотой своей, прибегала к всевозможным ухищрениям, желая сделать свое лицо еще прекрасней, и везде, где только можно, не забывала убирать себя многочисленными украшениями, дабы еще больше усладить взор и сердце обезумевшего от любви Артабана. Опасаясь, как бы его родственники не стали чинить ему препятствий и не обратились за помощью к королю, вельможа торопился сыграть свадьбу. И вот в несколько дней все было обговорено, и обручение состоялось. А пока шли приготовления к свадьбе, чем же был занят Флодоард, не отказавшийся от мести? Чтобы избежать утраты владений, он составляет дарственную на одного из своих братьев и вместе с четырьмя хорошо вооруженными друзьями в полном снаряжении пускается в путь, чтобы нанести противнику решительный удар; но он никого не посвящает в свой замысел и всем говорит, что хочет попрощаться с жестокосердой возлюбленной и сказать ей последнее прости. Слух о том, что он приедет вернуть слово, наполнил надменную красавицу великой радостью, и она встретила его ласково, как никогда прежде; он осыпает ее комплиментами и заверяет, что рад ее удаче и в восторге, что ей представилась такая выгодная партия. Ни Седрина, ни Флодоард не жалеют красивых слов, но каждый из них говорит не то, что думает, и старательно таит свои истинные мысли. Наконец Флодоард, укоризненно улыбаясь, с поклоном возвратил ей слово, на что та с привычным высокомерием ответила градом исполненных презрения острот, свидетельствовавших, что она уже чувствовала себя на недосягаемой высоте и оттуда пренебрежительно взирала на пресмыкавшегося во прахе Флодоарда.

Но Боже, сколь переменчива Фортуна, сколь стремительно вращается ее колесо! Видел я гордеца, молвит божественный сочинитель[1], что превозносился над людьми и высился, будто кедры ливанские, прошел мимо — и нет его! О, цветок красоты, сколь рано ты отцветаешь! О, сильные мира сего, вы похожи на стекло: стоит ему заблестеть на свету, как оно тотчас становится хрупким. Когда Седрина отправилась провожать Флодоарда, тот, улучив момент, стремительно полоснул ее по лицу бритвенным ножом, нарочно припрятанным

1. Парафраз из Псалмов Давида (Пс. 36:35–36).

в рукаве, и на лилейно-белой коже появилась кровавая полоса, а лилии мгновенно превратились в алые розы. Свершив свою месть, Флодоард вскочил на коня и, спасая жизнь, умчался в Австразию[1], граница с которой проходила в шести или семи лье от его владений. Он знал, что там Артабан не сможет его преследовать, ибо он пребывал в ссоре с правителем тамошнего края и с принцами его дома, обладавшими во Франции большим влиянием.

Мы же вернемся к Седрине, понявшей, что с небес, куда она вознеслась благодаря удаче и красоте, она вмиг рухнула в пропасть. Что ж, красавицы, вольно вам уповать на прелести свои, непостоянные, словно зыбучие пески; и удар кинжала, и увечья при падении, и болезнь любая способны, подобно грозе неумолимой, губящей все в деревне, разрушить надежды ваши.

Пока девица пребывала в отчаянии, новость о несчастье дошла до Артабана, он примчался и, увидев ее с заплывшим глазом, иссеченным носом и обезображенными щеками, содрогнулся от страшного зрелища. Теперь лишь с ужасом взирает он на ту, которой ранее поклонялся, словно божеству. В ярости он клянется всем самым святым, что есть на небе и на земле, что не будет ему покоя до тех пор, пока он не смоет сию непоправимую обиду кровью Флодоарда и собственной рукой не прервет дни его. Но узнав, что Флодоард нашел убежище в Австразии, он по названным нами причинам прекратил погоню, а так как гнев одолевал его по-прежнему, он отправил к Флодоарду человека с посланием, где требовал со шпагой в руке ответить за зло, причиненное Седрине; позабыв о своей родовитости, он был готов встретиться с ним на равных, в том месте, которое тот назначит, и с тем оружием, коему тот отдаст предпочтение. Флодоард принял картель[2] с подобающим почтением, поцеловал его и заверил посланца, что если бы Артабан не оказал ему такой чести, а дал бы ему сатисфакцию на словах, то он из уважения к его титулу попытался бы приглушить свою боль; но раз тот милостиво изъявил готовность скрестить с ним шпагу, он почитает долгом своим защищаться и поцеловал клинок. Указав место для поединка неподалеку от границы, он сказал, что сражаться они

1. Так во времена Меровингов называлась часть Франции, лежащая к востоку от Арденнских гор и Мааса, главным городом которой был Мец. Избегая топографической точности, Камю нередко использует старинные названия.
2. Картель — письменный вызов на поединок.

будут пешими, оружием же выбрал шпагу и кинжал; дворянин, доставивший вызов, попросил привести с собой секунданта, и Флодоард быстро нашел уязвленного Артабаном жителя Австразии, с радостью готового припомнить обидчику давнее оскорбление. Они бьются; чтобы не расписывать долго сей поединок, скажу, что секундант Флодоарда быстро вывел противника своего из строя и, обезоружив его, бросился на Артабана, но Флодоард крикнул, чтобы тот не трогал его и не отбирал у него славы победителя. "Даже если вас будет сто, — гордо отвечал Артабан, — победить меня не удастся, ибо я хочу убить вас обоих". Услышав такое бахвальство, секундант Флодоарда бросился вперед, чтобы отправить Артабана на тот свет, но Флодоард криком отвлек его внимание, помешав ему воспользоваться создавшимся преимуществом. — "Раз уж вы хотите подарить ему жизнь, — говорит секундант, — пусть хотя бы отдаст оружие". — "Ни за что, — отвечает Артабан, — даже если мне придется потерять десять тысяч жизней". — Услышав эти слова, Флодоард, не дожидаясь, пока секундант начнет теснить Артабана, яростно на него набросился и пронзил ему глотку, заставив его выплюнуть душу вместе с кровью. Потом, подхватив шпагу, Флодоард отправился из Австразии в Германию, где разместил нынешнее свое состояние — ту часть имущества, которую брат убедил его взять, понимая, что король никогда не помилует Флодоарда, а из-за знатных и влиятельных родственников Артабана во Франции никто не сможет поручиться за его жизнь.

Так Седрина единовременно потеряла обоих поклонников, счастье и красоту. Из-за своего изуродованного лица она стала не просто некрасивой, а безобразной, и потому ей пришлось выйти замуж за младшего отпрыска бедной семьи, который по положению своему был настолько ниже Флодоарда, насколько сей последний был ниже по положению Артабана. Урок красавицам: не стоит взращивать в себе ни спесь, ни гордыню, ни непостоянство. А вельможам, какими бы могущественными они ни были, следует помнить, что нельзя обижать малых мира сего, нельзя наносить им тяжких оскорблений, иначе они могут пойти на крайности. Никому не ведомо, на что способно отчаяние, однако ответ его не станет от этого ни более предсказуемым, ни менее грозным, чем удар молнии. Даже самые мудрые не могут ни предусмотреть, ни избежать того, на что способны жаждущие мести. Ибо, говоря коротко, тот, кто презрел собственную жизнь, всегда одержит верх, когда возжаждет забрать жизнь другого.

Три головы

Из сборника “Ужасные зрелища”, 1630

НЕИСПОВЕДИМЫ пути Господа и чудны дела Его, когда сострадает Он кающимся и когда заносит карающую длань над закоренелыми грешниками. Господи, справедлив Ты, и суд Твой праведен! Кто может постичь промысел Твой, кто может считать себя Твоим советчиком? То милостив бываешь Ты, то суров, когда желаешь внушить людям, что нет таких средств, способных защитить их от предначертанного Провидением...

В германской провинции, что соседствует с богатыми городами Гамбургом и Любеком, хозяйничал некий коварный разбойник, прославившийся своими злодеяниями. Он совершал кражи и убийства, и никто не мог его уличить, ибо был он необычайно хитер, изворотлив и, ловко меняя облик, скрывал свои преступления; поэтому, хотя его и подозревали в совершении злодейств, доказать ничего не могли. Но когда чаша грехов его переполнилась, Господь употребил очень необычное средство, дабы передать его в руки правосудия, кое и покарало его за лиходейство.

Как-то раз разбойник пришел в Оснабрюк, оставив далеко позади те места, где он, задумав совершить преступление, набивался к прохожим в приятели, выпрашивал у них милостыню или измышлял какой-либо иной хитроумный способ, дабы втереться к ним в доверие, а затем лишить жизни. И в Оснабрюке ему неожиданно захотелось поесть телячьих голов. Он идет к мяснику, покупает у него три головы и кладет их в котомку, сплетенную из суровых нитей наподобие садка для рыбы; в Италии, Испании, Германии и иных местах, где ткут мало холста, в таких сетках обычно носят фрукты и прочую пищу. Ничего не подозревая и ни о чем не думая, он шел к себе домой, неся на плече сетку с головами, и вдруг услышал за спиной вопли ужаса, брань, проклятия и призывы схватить убийцу и разбойника и позвать палача; но презренный негодяй не догадывается, отчего поднялся такой крик. Со всех сторон сбегаются люди поглазеть на ужасное зрелище, самые смелые подбегают к нему, тормошат его и спрашивают, где он раздобыл и куда несет три человечьи головы, что болтаются у него за спиной. Расхохотавшись, он отвечает, что это у них на плечах вместо человечьих голов телячьи, ибо они почему-то принимают телячьи головы, которые он несет в котомке, за человечьи. Но тщетно отбивается он от толпы, тщетно твердит, что всего лишь купил эти головы на

бойне: его хватают за шиворот и тащат к судье; тот ведет те же речи и отправляет его в тюрьму.

Сначала разбойник думал, что все эти немцы перепились, и завтра, когда они проспятся и перестанут колобродить, суд вынесет разумное решение. Пока он сидел в тюрьме, принесли головы, а когда стали осматривать, в одной тотчас узнали голову купца, недавно выехавшего из Оснабрюка и убитого в дороге, в другой голову гражданина Любека, имеющего торговлю в Оснабрюке, а в третьей голову жителя Бремена. Нашлось немало свидетелей, заявивших, что знали этих людей. На следующий день свидетелям устроили очную ставку с узником, обвинившим их в том, что они пьяны, хотя в тот день вина они не только не пили, но даже и не нюхали. В отчаянии смотрел узник на телячьи головы, в то время как все, и свидетели, и служители правосудия, видели на их месте головы человечьи; людей же, коим они принадлежали, узнали и назвали по именам. По просьбе узника вызвали мясника, продавшего ему вчера телячьи головы; мясник явился в суд; когда же узник спросил его, правда ли, что день назад он продал ему три телячьи головы, мясник, с гневом глядя на него из-под насупленных бровей и ругательски его ругая, ответил: "Довольно, злосчастный убийца и палач, не смей взваливать на меня свое преступление; вчера я продал тебе три телячьих головы, и все мои товарищи тому свидетели. Но я не продавал тебе человечьих голов, не продавал голову господина такого-то, ведь в этом городе у меня не было друга лучше, чем он. Не возводи же на меня напраслину, ибо я скорее отдал бы свою жизнь, нежели забрал жизнь друга". И хотя мясник привык к виду крови, он горько заплакал, печалясь о смерти своего друга. И судья, и свидетели, и все остальные думали, что узник сошел с ума, раз он принимает человечьи головы за телячьи; а узник думал так же про своих обвинителей, ибо в самом деле видел только купленные им три телячьи головы, а все остальные видели головы человечьи и опознали их.

Арестованного подвергли допросу с пристрастием, но, бесстыжий, как настоящий убийца, он ни в чем не признался, ибо, глядя на телячьи головы, был по-прежнему убежден, что, когда к судьям вернется рассудок, они признают его невиновность. Но несчастный видел только руку людскую и, подобно Валтасару[1], не заметил десницу Божью, что, начертав на стене

1. История персидского царя Валтасара изложена в Книге пророка Даниила, гл. 5.

вердикт и приговор, со всей тяжестью опустилась на него. И снова его спросили, откуда у него эти головы, и он, услышав такой вопрос, рассмеялся и ответил, что это телячьи головы. Тут некоторые подумали, что сей человек сумасшедший, однако убедившись, что на все иные вопросы он отвечал вполне здраво, решили, что разум не покинул его. Его опять допрашивают, он все отрицает и ни в чем не сознается; но постепенно его начинает мучить совесть, и на лице его проступают следы пороков, укоренившихся в душе его. В конце концов его признали бродягой, но так как схватили его с тремя человечьими головами, то постановили, что он виновник смерти этих людей или пособник убийцы, и приговорили к повешенью. Разбойник же упорствовал в своих показаниях вплоть до вынесения приговора; но внезапно, смягчившись, словно плавкий свинец, он понял, что это Бог воспользовался столь необычным и небывалым способом, дабы отдать его в руки правосудия и покарать по заслугам за его преступления. Охваченный раскаянием за свою худую жизнь, он добровольно признался во всех своих злодеяниях, в трех убийствах, в которых его обвинили, и в прочих душегубствах, не говоря уж о бесчисленных грабежах. Его повели на казнь, и он вел себя стойко и благодарил Бога, даровавшего ему время для раскаяния.

О чудо! Он испустил дух только после того, как три головы обрели свой прежний облик в глазах судей и свидетелей и снова стали тремя телячьими головами. Господь явил сие чудо, дабы показать злодеям свою необыкновенную и удивительную прозорливость, подтверждающую, что никто не избежит его суда.

Справедливая месть

Из сборника “Исторические заметки”, 1632

СЕНЬОР Эмилио из королевства Неаполитанского, владевший богатыми землями в Апулии и вокруг города Лечче, безоглядно влюбился в красавицу из названного мною города и потерял покой и разум. Но женщина эта, целомудренная и красивая, обнаружив, сколь черно и зловонно пламя его любви, избегала встреч с ним, словно он был настоящим чудовищем, и, подобно змее, прятала уши, дабы не слышать его чарующих прелестных речей. Тогда он решил силой добиться того, что не смог получить с помощью любви. А так как под рукой у него было несколько наемников, готовых ее похитить, он вознамерился увезти ее в поместье

друга своего Квирина, уединенное и хорошо укрепленное, дабы там вволю и без помех ею насладиться. Квирин сей, равно как и сам Эмилио, обретался при дворе вице-короля Неаполя и часто составлял компанию другу в его распутных утехах; думается, это он предложил Эмилио поделиться с ним добычей, ибо он предоставлял свой дом для задуманного злодеяния.

Все произошло так, как замыслил Эмилио, и скромная Пантен, похищенная наемниками и доставленная в замок, оказалась во власти негодяя, поджидавшего ее с необоримым вожделением. Ни заклинания, ни мольбы, ни слезы, ни проклятия, ни брань, ни сопротивление ее не стали препятствием для варвара, который, в нарушение всех законов учтивости и приязни, воспользовался ее слабостью и подверг ее жестокому и постыдному насилию. Несколько дней подряд Эмилио наслаждался ее прекрасным телом, но душа ее ему не принадлежала; не дождавшись ни единого знака благорасположения от похищенной им женщины, он отправился разузнать, намерен ли муж ее, Лино, преследовать его за содеянное преступление, и убить его, если тот не откажется от своего замысла.

Лино обратился с жалобой к местному судье, но тот, по малодушию или же будучи подкупленным, хлопотать не стал, что побудило Лино броситься к ногам вице-короля Неаполя и просить правосудия за нанесенное ему оскорбление. Но Эмилио велел своим приятелям обмануть вице-короля и убедить его, что не он похитил несчастную влюбленную женщину, а она сама последовала за ним, так что злодеяние его показалось скорее шуткой, нежели преступным умыслом. Поэтому жалоба Лино ни к чему не привела, ведь, как мы сказали, истину от вице-короля скрыли. А Эмилио, как ни в чем не бывало, появился в Неаполе, словно вернулся после очередного любовного приключения.

Пока Эмилио отсутствовал, Квирин, в чьем доме оставалась прекрасная Пантен, также пожелал вкусить наслаждения со стыдливой красавицей, и, не сумев добиться своего волокитством, взял ее силой. Сие гнусное деяние свершилось на глазах у Иды, жены Квирина, коя, преисполнившись ненависти к Пантен, решила от нее избавиться, хотя та была нисколько не виновата в неверности и бесстыдстве ее мужа. Ида силой заставила несчастную пленницу принять яд, и та скончалась в таких конвульсиях, что только слепой мог бы усомниться, что ее отравили. Без ума от любви к усопшей, Квирин столь же сильно сожалел о ее смерти, сколь сильно был в нее влюблен. Он не сомневался, что удар нанесла жена,

тем более что ревнивая Ида не только не намеревалась это отрицать, но даже ставила постыдный сей поступок себе в заслугу, полагая, что таким образом избавила свой дом от посрамления. Разъяренный Квирин набросился на нее и, невзирая на то, что она во чреве носила его ребенка, так жестоко избил ее, что в тот же день у нее случился выкидыш, и она скончалась в неописуемых муках, став первой жертвой мести за невинно пролитую кровь.

Узнав о смерти Пантен, Эмилио тотчас помчался в Апулию, и, полагая Квирина виновником случившегося, как только увидел друга, так сразу, ничего не спросив, нанес ему смертельный удар кинжалом, и тот свалился мертвым к его ногам. И тогда все дети и родственники Квирина поднялись против него и отправились к вице-королю Неаполя жаловаться на убийцу. Не желая потакать столь вопиющим нарушениям благопристойности и общественной безопасности, вице-король велел схватить Эмилио и, узнав в подробностях об истинной причине трагических смертей, о которых мы рассказали, передал дело в руки правосудия. Эмилио обвинили в похищении и убийстве и приговорили к отсечению головы на площади Неаполя, где казнили преступников. А вице-король своей властью присудил конфисковать все имущество Квирина, Иды и Эмилио и передать его детям, рожденным Пантен от Лино, и те через несчастья матери стали очень богаты.

Таково возмездие Господа, отмстившего за невинно пролитую кровь, вознаградившего потомство добродетельной матери и покаравшего злодеев за их преступления. Возможно, некоторые умы возмутятся и дерзко спросят, отчего Господь не смилостивился над добродетельной Пантен, подвергшейся стольким мучениям и бессердечному обращению; но кто мы такие, чтобы оспаривать решение Господа, способного обратить в камень детей Авраамовых и увенчать чело гонимых избранников? Поелику верим мы, что страдания, перенесенные нами в этом мире ради любви к Нему, позволят нам вечно пребывать в славе Господней.

Александр Мелихов

Творяне всех стран, соединяйтесь!

Классический труд "Национализм" (СПб., 2010) британского историка Эли Кедури вышел в России через полвека после публикации на английском, но за это время только нарастил актуальности. В какой мере националистические страсти питаются идеями философов, а в какой сами их порождают, об этом можно спорить, однако Кедури исследует прежде всего идеи: Гердер, Фихте, Шлейермахер... Все немцы, но это лишь самые громкие имена.

Кедури называет национализм идеологией, а его политику – идеологической, для которой такие низменные категории, как интересы, необходимость или целесообразность, считаются недостаточными – они должны быть порождены и оправданы метафизическими системами. Когда два эти ремесла еще не смешивались и творцы чарующих грез не вмешивались в практическую политику, все выглядело куда изящнее. Разве это не прекрасно, когда вместо прозаических целей обороны или завоевания, экономического процветания или умиротворения конкретных государств перед политиками ставится задача сохранения всемирного разнообразия – прямо прото-ЮНЕСКО какое-то: поскольку Господь выделил нации, они не должны объединяться. "Ибо каждой нации Господь прямо определил конкретное предназначение на земле и вселил в нее конкретный дух, чтобы восславить себя через каждую нацию только ей одной свойственным образом" (Шлейермахер).

Нации, таким образом, суть отдельные *естественные* существа, которым надлежит оберегать свою самобытность в отдельных государствах, а многонациональные империи, по мнению Гердера, являются государствами испорченными, *развращенными*. Оскверняет не только совместное проживание, но даже пользование чужим языком – прежде всего французским, поскольку к концу XVIII века именно французский язык считался языком высшего общества: "Так выплюнь же, перед порогом выплюнь противную слизь Сены. Немецкий твой язык, мой немец!" (Гердер).

© Александр Мелихов, 2016

После наполеоновских завоеваний не вызывали смеха даже филиппики "отца гимнастики" Фридриха Яна, публично утверждавшего, что изучение французского языка толкает девушек на проституцию, — языку приписывалась почти мистическая власть над умами и душами. Если народ переходит на иностранный язык, то он усваивает с ним и иностранные пороки (но почему-то не достоинства: евреи, заговорившие на языке титульных наций, стали вызывать лишь еще большее подозрение).

Итак, подытоживает Кедури, по мнению первых националистов, человечество естественным образом разделено на нации, и язык — главнейший критерий, по которому нация имеет право формировать собственное государство, и притом в тех границах, которые она сочтет зоной распространения своего языка. "Такой акцент на языке, — пишет Кедури, — преобразовал его в политическое дело, ради которого люди готовы убивать и уничтожать друг друга, что прежде было редкостью. Языковой критерий осложняет к тому же жизнеспособность сообщества государств". В самом деле, одна из важнейших миссий государств — вносить четкость в человеческие отношения, проводить недвусмысленные границы между территориальными и прочими притязаниями. "Но если язык становится критерием государственности, ясность о сущности нации растворяется в тумане литературных и академических теорий и открывается путь для двусмысленных претензий и неясных отношений" — даже спор о различии между языком и диалектом может сделаться поводом для войны! А уж спор исторических школ тем более должен решаться в окопах историками в камуфляже. "Ничего иного не приходится ждать от теории национализма, которая открыта учеными, никогда не стоявшими у власти и мало что понимавшими в необходимости и обязательствах, присущих взаимоотношениям между государствами".

Да, мы тоже помним, как самой пламенной поборницей Его величества рынка оказалась гуманитарная интеллигенция, заведомо никогда ничего не производившая и ничем не торговавшая. Националисты же пытались и пытаются из заведомо размытого — культуры — изготовить четкое: государство, из облака выковать сталь.

"Расы, языки, религии, политические традиции и связи так перемешаны и запутаны, что нет убедительной причины понять, почему люди, говорящие на одном языке, но чья история и отношения различны, должны образовывать одно государство, или почему люди, говорящие на двух различных языках, но сплоченные историческими обстоятельствами, не должны образовывать одно государство", — пожалуй, эти слова Кедури и подводят итог его критике национализма как идеологии.

Во избежание недоразумений: люди во все времена были патриотами, то есть предпочитали свое и своих чужому

и чужим, но только националисты додумались объявить нацию высшей, почти сакральной и чуть ли не единственной самоцелью, ради которой не жаль никаких жертв. И если бы этой сказке предались одни лишь интеллектуалы, на них можно было бы не обращать внимания: изобретение социальных панацей — любимое их развлечение и утешение средь горестей, забот и треволненья. Ужас в том, что национализм породнился с демократией, если только не был ею и порожден, — стремлением простых людей самим распоряжаться в своем государстве. А трагическая социальная природа не терпит простоты.

Обычно в оправдание культа национального самоопределения националисты ссылаются на межнациональные конфликты внутри многонациональных государств, не замечая, что эти конфликты в огромной степени являются плодом их собственного вероучения. И, что еще более важно, конфликты внутренние — это чаще всего драки и погромы, а конфликты межгосударственные — это полномасштабные войны, крайне затруднительные внутри одной империи. По вполне обоснованному мнению Кедури, национальное самоопределение не избавило ни один народ ни от бедности, ни от коррупции, ни от тирании, а часто лишь усугубило их и закрепило, снабдив тиранов дополнительными идеологическими вожжами. Национальные же меньшинства в новых национальных государствах, как правило, стали подвергаться гораздо худшей дискриминации, чем это было в "развращенных" империях: "Вместо того чтобы укреплять политическую стабильность и политические свободы, национализм на территориях со смешанным народонаселением провоцирует трения и взаимную ненависть".

Более того, национализм сеет смуту даже в империях, предоставляющих меньшинствам обширные культурные права: "Культурная, языковая и религиозная автономия возможна для различных групп многонациональной империи только в том случае, если она не укрепляется и не оправдывается националистическим учением. Подобного рода автономия существовала в Османской империи несколько столетий (эта система называлась "миллет") именно потому, что о национализме в ту пору еще никто ничего не знал".

Теперь мы знаем, к чему он стремится и на что способен и, словно издевки ради, по-прежнему считаем чем-то священным право наций на самоопределение, которое литератор Ленин провозгласил ради разрушения многонациональных "буржуазных" государств, — то есть всех, кроме его собственного, — а президент Вудро Вильсон — похоже — из благородного, но неосуществимого желания уравнять сильных и слабых: "Это принцип справедливости по отношению ко всем народам и национальностям, а также их права жить друг с другом на равных условиях свободы и безопасности, независимо от того, сильны они или

Александр Мелихов. Творяне всех стран, соединяйтесь

слабы". И это при том, что именно борьба сильных за влияние на слабых, чья кротость, как выяснилось, порождалась лишь бессилием, спровоцировала Первую мировую войну, да и во Второй "благородная нарезка" европейской карты существенно облегчила задачу агрессоров, противопоставив им вместо крупных сильных государств россыпь малых стран, которые было очень соблазнительно проглатывать по одиночке.

Геллнер: "Новый международный порядок, установленный во исполнение принципа национализма, имел все пороки системы, которую он сменил, плюс — целый ряд своих собственных. Последствия этого не заставили себя ждать. Как только укрепилась идеологическая диктатура в России и был установлен откровенно националистический режим в Германии, все здание рухнуло как карточный домик. Военное сопротивление Польши измерялось неделями, Югославии (официальное) и Греции — днями. Другие, вновь созданные, национальные государства вообще не сопротивлялись (удивительным исключением была только Финляндия). Гитлер и Сталин легко поделили между собой разделявшие их территории, не встретив почти никакого сопротивления — по крайней мере, со стороны государственных структур".

Кедури: "С уверенностью можно сказать, что создание национальных государств, унаследовавших положение империй, не было прогрессивным решением. Их появление не способствовало ни политической свободе, ни процветанию, их существование не укрепляло мир. По сути, национальный вопрос, который, как надеялись, будет решен с возникновением этих государств,- лишь обострился".

Припечатывая национализм подобными формулировками, Кедури вместе с тем отказывается даже обсуждать, какие общие причины объясняют его возникновение: "Этот поиск общего объяснения, обобщения можно назвать социологическим соблазном". Однако лично для меня этот соблазн неодолим, ибо, лишь понимая социальные функции националистических страстей, мы можем подыскать более безопасные альтернативные формы их утоления. Так вот, мне кажется, что **универсальная функция, которую национализм пытается выполнять везде и всюду, это экзистенциальная защита личности,** ее защита от чувства своей кратковременности и бессилия перед безжалостным мирозданием. И с тех пор как сильно прохудилась экзистенциальная защита, даруемая религией, многократно обострилась человеческая потребность прильнуть к чему-то сильному и хотя бы потенциально бессмертному, способному оставить след в истории. Подавляющему большинству такое суррогатное бессмертие проще всего заполучить через причастность к нации: **национализм, собственно, и есть суррогат религии**. Иными словами, борьба за национальное самоопределение — это

вовсе не борьба за экономическое процветание, свободу или чистоту нравов, но, выражаясь помудренее, борьба за историческую субъектность.

Концентрирующуюся чаще всего в исторических личностях, при этом почти безразлично, вошедших в историю со знаком плюс или со знаком минус. Тем более что общечеловеческих плюсов пока что не предвидится: ведь их обычно выставляют за победу над кем-то, но не может же человечество восторжествовать над самим собой! Вот освобожденные от советского диктата монголы и устанавливают памятник Чингисхану, французы никак не могут забыть Наполеона, мы — Сталина, а сербы называют улицу в Белграде именем Гаврило Принципа, спровоцировавшего череду поистине чудовищных бедствий (боснийские же сербы к столетию его преступления водружают ему бронзовый памятник).

Правда, именем одного из отцов электрической цивилизации, Николы Теслы, в сербском Белграде назван аэропорт, да и в Подгорице (главный город Черногории), и в Загребе (столица Хорватии), и в Скопье (столица Македонии) имеются улицы его имени. Видите, скольким народам сразу один-единственный гений укрепил экзистенциальную защиту! Серб по национальности, Тесла родился в Хорватии, учился в Австрии и Чехии, а реализовался в Америке, и не каждый вспомнит, что вся история его становления на самом деле протекала в одной стране — в Австро-Венгерской империи. А если бы все перечисленные страны уже тогда были разделены государственными границами, еще неизвестно, как сложилась бы его судьба. Хотя даже в самом счастливом случае реализовать свой дар в маленьком государстве он все равно бы не сумел, ибо грандиозные проекты, для которых был рожден Тесла, для небольших государств неподъемны. Наш Королев тоже не обрел бы бессмертие, если бы не имел в своем распоряжении целую промышленную империю.

Отделяясь от империй, малые народы не укрепляют, но ослабляют свою экзистенциальную защиту, не укрепляют, но ослабляют свою историческую субъектность — оказываются еще дальше от исторического творчества, от возможности оставить бессмертный след в истории. В Большой Игре великих держав, чье величие измеряется прежде всего возможностями наносить неприемлемый ущерб, они все равно остаются пешками. И что гораздо страшнее — **яблоками раздора.**

Поэтому национальное самоопределение должно быть низведено из права в простое пожелание, чья осуществимость целиком зависит от цены, которую за его исполнение придется заплатить миру, — непременно с учетом возрастающей либо падающей способности самоопределяющихся народов взращивать собственные таланты, кои уже давно пора объявить **общим достоянием человечества** наряду с выдающими-

Александр Мелихов. Творяне всех стран, соединяйтесь!

ся красотами природы и архитектурными шедеврами. Зато экзистенциальные нужды меньшинств в многонациональных государствах должны сделаться предметом самого щедрого внимания: следует всячески поощрять их утоление в созидательной, а не агрессивной исторической деятельности. Для чего необходимо открывать как можно более широкую дорогу их особо одаренной молодежи к элитарному образованию, к работе в высокой науке и технике, в высокой культуре, в бизнесе, в спорте. Ибо каждый представитель национального меньшинства, вошедший в имперскую элиту, это хорошее ведро холодной воды на всегда готовые разгореться угли националистической обидчивости.

* * *

Итак, национализм тщится осуществить экзистенциальную защиту народа, то есть ослабить, а лучше вовсе убить его внутреннее ощущение своей мизерности и бессилия. И в этом своем стремлении он совершенно прав. **Но он совершенно неправ в убийственной примитивности своих методов** — ниоткуда не следует, что для достижения этой необходимейшей цели непременно требуется независимое государство, в котором безраздельно царит одна нация и один язык. Не замечая других способов самоутверждения, кроме силовых, властных, национализм слишком часто ставит свой собственный народ на грань исчезновения в провоцируемых им же войнах, из которых нация выходит невосполнимо обедневшей и материально, и духовно. Да, Германия снова "процветает" — без Томасов Маннов, без Гильбертов и Гейзенбергов. Потери России просто неисчислимы, Набоков правильно приравнивает ее катастрофу к гибели античных Афин. Ну а что потеряла Финляндия, мы даже не успели узнать.

Стремление национализма, по еще одному классику — Геллнеру, совместить границы государства с границами культуры приводит к страшному обеднению этой самой культуры

Тем не менее ситуация беспомощности порождает национализм так же закономерно, как инфекция высокую температуру, и любой народ будет страдать (и наслаждаться) национализмом до тех пор, пока не обретет иной иллюзии причастности к чему-то могущественному и почитаемому — именно этим в первую очередь сегодня и объясняется "европейский выбор" малых и просто недостаточно сильных народов (как будто цивилизационный выбор можно сделать в одностороннем порядке — группу культур объединяет в цивилизацию **внутреннее** ощущение совместной избранности). Но если бы такой выбор, пускай сколь угодно иллюзорный, действительно нес миру успокоение, его можно было бы только поддерживать всеми мыслимыми словами и делами. Однако многомудрый Кедури еще у самых истоков этого выбора на пороге собственного ухода из жизни успел напоследок по-

качать головой с очень серьезным сомнением. Его диалог с английским политологом Джорджем Урбаном был опубликован с большим опозданием ("Проблемы Восточной Европы", № 41–42, Вашингтон, 1994), однако и двадцать лет спустя лишь набрал горькой актуальности.

Вот несколько важных цитат.

"Не существует в человеческой природе или истории ничего такого, что позволило бы утверждать, что, если вы грузин или узбек, вы в силу одного этого должны ставить на карту свое здоровье и жизнь, доходя до пределов своих физических возможностей, ставить себя на грань умирания только ради того, чтобы наслаждаться жизнью в независимом государстве. История некоторых недавно возникших государств и групп, защищающих независимость, свидетельствует, что в прошлом эти группы не чувствовали потребности в *государственной* независимости, а государства, которые в какой-то момент обретали независимость, вовсе не обретали при этом ни процветания, ни свободы, ни чего-либо еще, что позволяло бы вести достойное существование. Ныне литовцы, латыши, эстонцы, молдаване, грузины, армяне — все хотят иметь независимые государства. ...Если исчезнут свойственные советской системе оправдания русского господства над этими окраинными республиками, или если эта система изменится вследствие глубинных реформ, или если республики отделятся и союз распадется — все равно в центре Евразийского материка сохранится в высшей степени могущественная Россия. Вероятнее всего соседи так или иначе будут ощущать ее мощь. Национальная независимость армян и украинцев все равно оказалась бы иллюзорной".

В прошлом действительно целые страны передавались в приданое в династических браках, и этого никто не замечал, как мы не замечали смены генсеков. Целые страны еще и завоевывались, но в этом участвовала только армия. А Макиавелли прямо учил завоевателей ничего не менять в системе управления и налогообложения, чтобы народ *ничего не заметил.*

"Инонациональное правление было и остается в мировой истории скорее правилом, нежели исключением, так что европейское — в данном случае русское правление в каких-то районах Азии ничего нового из себя не представляет. Я готов признать, что для европейских народов, таких, как прибалты и украинцы, привнесенная из Западной Европы идея национальной автономии и независимости приобрела в последние двести лет столь мощную притягательность, что теперь ее следует принимать в качестве серьезного фактора, влияющего на прочность советской империи и баланс международных сил. Я не говорю, что это плохо, если национальное освобождение сопряжено с освобождением личности и конституционным правлением. Но если иметь в виду население азиатской части Совет-

Александр Мелихов. Творяне всех стран, соединяйтесь!

ского Союза, то далеко не очевидно, что национальная автономия и обретение национальной государственности будут отвечать его интересам наилучшим образом. В европейской истории национальные государства не являются чем-то нетипичным. Скорее они – продолжение характерного для Европы после исчезновения Западной Римской империи положения, которое допускало наличие феодальных членений, свободных городов, суверенных республик и монархий. Однако для Азии типично иное политическое устройство – Китайская империя, империя Великих Моголов, Оттоманская империя. Все это обширные разнородные территории, управляемые контролируемой из одного центра 'номенклатурой'. Ни национализм, ни идея национального суверенного государства не проросли на собственно азиатской почве; не являются они и непреодолимым устремлением человеческого духа. Это скорее европейский импорт, не приспособленный к местным условиям".

Не внутреннее стремление, а европейский импорт – это было сказано крупнейшим британским специалистом четверть века назад, это не пропаганда российского ТВ.

"С точки зрения практической политики поощрять национальные движения в Советском Союзе означает надеяться на чистое везение – ведь возникает нечто, что в дальнейшем нельзя будет держать под контролем. Подъем национальных сил и создание национальных государств – отнюдь не обязательно благо. Взять, например, последствия развала империи Габсбургов. В 1918–1919 годах там с энтузиазмом приняли идею покончить с Австро-Венгрией и осуществить принцип самоопределения, как он был сформулирован в четырнадцати пунктах Вудро Вильсона. Оттоманская империя тоже распалась на части при сходных обстоятельствах. Но то, что возникло в итоге, было не конгломератом избавившихся от плохого правления и нормально живущих бок о бок стран, демонстрирующих преимущества независимости, а скорее лоскутное одеяло из слабых государств, в которых, за исключением Чехословакии, индивидуальные свободы не имели защиты, которые не отличались умеренностью во внешней политике и были слишком хилыми, чтобы противостоять гитлеровской или сталинской агрессии. Последствия этого распада оказались куда хуже болезней, которые они, как предполагалось, должны были излечить".

"Движения национального 'обновления' XIX столетия, такие, как созданная Джузеппе Мадзини организация 'Молодая Италия', и вправду сперва отождествляли идею индивидуальной эмансипации с идеей национальной свободы. В 1848 году было широко распространено убеждение, что между этими идеями нет никаких различий и что состоящие из свободных личностей свободные нации создадут свободный и справедливый международный порядок. Но вскоре обнаружилось, что это

было иллюзией: независимость нации и свобода личности оказались очень разными понятиями. Во-первых, возникшие на основе национальной идеи государства усвоили различные формы национального мессианства, их внутренняя политика оказалась деспотической, а внешняя — нетерпимой. Во-вторых, невозможно так перекроить карту земного шара, чтобы в итоге получились только лишь гомогенные в национальном отношении государства. Это особенно очевидно в Восточной и Центральной Европе, где на территории Хорватии имеются значительные анклавы сербского населения, в Словакии и Румынии — венгерского и т. д. Неприятие политически и географически возможного под властью Оттоманской и Габсбургской империй и идеологические претензии национальных движений, которыми они не могли поступиться, привели к разрушительным для нашей цивилизации двум мировым войнам".

"В политику идеологический стиль привносят интеллектуалы, вернее — интеллектуальные manqués *(manqué – неудачник)*. Гитлер, как мне кажется, был таким интеллектуальным *manqué*".

"Следует различать культурное и политическое начала. Это как раз и противоречит доктрине национализма, утверждающей, что они обязательно взаимосвязаны и что без политической независимости невозможно создать национальную культуру. Это абсурд. Множество человеческих групп имели и имеют национальные культуры, не обладая политической суверенностью. Идея, что страна или группа людей, управляющая другой страной или группой, обязательно навязывают последним свой язык и свои обычаи — очень недавнего происхождения. Вне всякого сомнения, этого не было в Оттоманской империи и в империи Габсбургов; то же самое можно сказать об Индии времен британского владычества. Национальная культура, безусловно, может существовать и при отсутствии национальной независимости — взять хотя бы Бельгию или Швейцарию".

"Малые национальные движения вызывают к жизни малые государства, и это создает определенные опасные ситуации, которые мир вряд ли может себе позволить. Когда в 1919 году четырнадцать пунктов Вудро Вильсона в какой-то мере были воплощены в жизнь, нестабильность в Европе усилилась, поскольку вновь созданные государства были слишком малы, чтобы иметь возможность защитить себя. Вне зависимости от того, предстояло ли им столкнуться с экспансионизмом нацистской Германии или большевистской России, это были небольшие государства, граничившие и с могущественной Германией, и с могущественной Россией. Такая великая держава, как Россия, всегда будет источником опасности для своих малых соседей, и, возможно, то же самое справедливо в отношении объединенной Германии, сколь бы либеральными и демократическими ни были ее внутренние ин-

Александр Мелихов. Творяне всех стран, соединяйтесь!

ституты. Всегда будут возникать обстоятельства, при которых крупное государство, граничащее со слабой страной, будет испытывать искушение подчинить ее своей воле".

"Повернемся к балансу сил: верх наивности само допущение (принятое за основу миротворцами в 1919 году), что между Германией и Россией можно основать независимое польское государство и оградить его от неизбежно конфликтных державных интересов этих крупных государств. Германии и России понадобилось лишь двадцать лет, чтобы вновь заявить о своих интересах, жертвой которых стала польская независимость. Ни в коей степени не предполагая возвращения в России Сталина, а в Германии Гитлера, я лишь напоминаю, что Берлин и Москва никуда не исчезнут с карты Европы и что у этих столиц будут собственные внешнеполитические интересы, которые в одних случаях будут делать их союзниками, а в других — противниками. Во всех случаях Польше предстоит постоянно находиться между ними в подвешенном состоянии, а это для любой страны положение малоприятное и опасное. В 1919 году американские, французские и английские устроители послевоенного мира поверили, что Польша сможет пережить столкновение интересов держав и что расчленение Австро-Венгрии и создание на ее месте гетерогенных в национальном отношении государств-наследников сможет содействовать прочному миру. Это было в лучшем случае исторической аберрацией, в худшем же — чванством победителей".

"Как историк, для которого прошлое является единственным источником знания, я должен предупредить против ошибочного принятия нынешней мирной картины за действительность во всей ее сложности. Готов согласиться, что ваши молодые итальянцы или немцы на самом деле не способны даже вообразить, что им придется обратить оружие против своих соседей. Но если вы подумаете о том, как изменчивы могут быть настроения людей, когда они собираются в толпу и когда к ним обращаются не как к отдельным личностям, а как к толпе, ваш оптимизм потребует поправок. Поведение футбольных болельщиков — это только в высшей степени мягкое проявление иррациональных массовых эмоций, хотя безумные действия многих английских болельщиков умеренными никак не назовешь. Когда англичане проиграли матч с командой ФРГ в полуфинале соревнований за мировой кубок в 1990 году, а было это за 700 миль отсюда, в Брайтоне, около трехсот немецких зрителей, преимущественно студентов, были спасены полицией от ярости обезумевшей толпы английских хулиганов. Можно задуматься, не пойдут ли такие субъекты под влиянием шовинистической пропаганды на войну против своих соседей и не станут ли они драться с яростной жестокостью".

"Массовый энтузиазм того или иного рода может овла-

деть любой группой населения. Я прекрасно могу понять причины, толкнувшие жителей Восточного Берлина, Лейпцига, Праги и Бухареста на демонстрации против их нечестивых правителей, и заслуживает восхищения, что повсюду, за исключением Румынии, гнев демонстрантов не привел к кровопролитию. Но ситуация может меняться со скоростью молнии. Советские реформы не только развязали страсти против Москвы и ее приспешников — они восстановили азербайджанцев против армян, узбеков против киргизов, украинцев против русских, причем конфликты этого рода по интенсивности ничем не уступают столкновениям прежних времен. Припомните, какая судьба постигла армян в руках турок в 1915 году; вспомните о других жесточайших нападениях одной национальной группы на другую, нередких в мусульманских районах нашего мира, и преимущества национального самоопределения, ведущего к отдельной государственности, придется серьезно поставить под вопрос".

"Абсолютная независимость или полное подчинение власти централизованного деспотизма — это не единственная альтернатива; важно, чтобы между государствами существовало равновесие сил, поскольку это единственная надежная защита от всеобщего хаоса.

Баланс сил устанавливается не между нациями, а между государствами, так как лишь они обладают суверенитетом. Как только проясняется, какие интересы государства могут служить предметом переговоров для создания международной стабильности и какие вообще не подлежат обсуждению, поскольку государство не может пожертвовать ими, не ставя под угрозу свою сущность и свое выживание, оно может прийти к соглашению о балансе сил с другими государствами, которые аналогичным образом формулируют свои позиции. Именно так в духе взаимной терпимости сохранялся международный порядок вплоть до 1914 года.

Малые нации, не обладающие независимой государственностью — ваши армяне и молдаване — должны очень серьезно подумать об издержках, связанных с ее обретением и найти путь и способы мирного сосуществования внутри какого-то обширного и демократического государства, возможно, конфедеративного, вроде Габсбургской монархии. Это может не удовлетворить полностью националистические требования, но создаст в Центральной Европе безопасное убежище для нескольких малых наций, которые в отсутствие подобной структуры продолжали бы биться друг с другом, вновь и вновь попадая под власть и влияние могущественных соседей на Востоке или на Западе. Сейчас Югославия, Австрия и Италия, наряду с другими странами обсуждают возможность формирования подобной ассоциации, и это — ободряющий признак".

Если такой признак и проявлялся, то я его не заметил.

Александр Мелихов. Творяне всех стран, соединяйтесь!

"Представление о малой вероятности войны между демократическими странами — это иллюзия. В широком смысле это то же самое заблуждение, в которое впал Кант, когда в 'Вечном мире' высказал идею, что войны сделались бы невозможными, если бы все государства были республиками и объединились бы во всеобщую 'лигу наций'. В далеком от изобилия мире неизбежно возникают конфликты интересов между партиями, народами, государствами, которые по абсолютно законным и убедительным (с их точки зрения!) причинам будут домогаться каких-то владений или преимуществ. Вспомните объяснение Руссо, что тирания возникла, когда первый человек окружил оградой свое жилище. Если мы примем это, то не будет натяжкой и утверждение, что само существование государств уже отягощено чем-то вроде 'первородного греха'. Гавел ошибочно полагает, что демократические институты сами по себе могут служить гарантией мира; для этого нужны сильные армии и решимость их использовать. Пелопонесская война была развязана знаменитейшей из демократий...

Урбан: Но она не была направлена против другой демократии..."

Прелестное замечание: если не против демократии, то не беда.

"Это верно. Но важно, что афинские демократические институты не защитили афинян от соблазнов власти, грабежа и обогащения. Аналогично, демократические институты Соединенных Штатов не предотвратили Гражданской войны между Севером и Югом".

Здесь будет очень своевременно напомнить, что в апреле 1861 года в Соединенных Штатах Америки возникли свои ЛНР и ДНР под именем Конфедерации Штатов Америки. Так началась война между Севером и Югом. Серьезные люди напирают на экономические причины: рабство на Юге препятствовало модернизации и единому рынку рабочей силы; хлопок Юга с руками отрывали в Европе и прежде всего в Англии, а промышленная продукция Севера особым спросом не пользовалась, поэтому Север был заинтересован в "защите отечественного производителя", а Юг — в свободной торговле, и каждый прикрывал свои интересы благородными лозунгами, — серьезные люди знают все. Серьезные люди знают, что никто не хотел доводить дело до войны, что Линкольн в инаугурационной речи обещал не применять силу против южных штатов и не отменять рабство, только пригрозил защищать федеральную собственность оружием. Юг тоже предложил заплатить за конфискованное федеральное имущество и заключить мир, но Линкольн отказался вступать в переговоры с "сепаратистами", ибо это означало бы признание их легитимности (знакомо?). Сторона, первая применившая силу, потеряла бы поддержку нейтральных штатов, и после миролюбивой речи президента пять штатов проголосовали против отделения.

Правда, на территории отделившихся штатов кое-где остались гарнизоны, подчиненные Кие... пардон, Вашингтону. Несколько фортов сдались, но форт Самтер в бухте Чарльстон отказался сложить оружие. Выдержать долгую осаду он не мог из-за нехватки припасов, и "федералы" отправили туда "гуманитарный конвой", поклявшись, что не станут доставлять людей и оружие. "Сепаратисты" или не поверили, или не пожелали, чтобы капитуляция оттягивалась на неопределенный срок, но 12 апреля 1861 года начался обстрел форта, который через 34 часа был вынужден сдаться. Только тогда Линкольн объявил южные штаты в состоянии мятежа, начал морскую блокаду их побережья и призвал в армию 75 тысяч добровольцев. Акция устрашения произвела впечатление — за отделение проголосовали еще три штата.

Серьезные люди понимают, как и почему действуют другие серьезные люди, — они не понимают только людей нормальных. Кто никогда не поставит на карту жизнь и благополучие свое и своих близких ради каких-то цен и тарифов, если не будет считать свое дело не просто экономически выгодным, но Правым Делом непременно с Самых Больших Букв. Вот как изображено начало Гражданской войны в американском "Тихом Доне" — в "Унесенных ветром". Романтический дух там, как и всюду, воплощают женщины, понятия не имеющие о рынках и тарифах, — они лишь верят и гордятся своими мужчинами: "И как могут они не одержать сокрушительной победы, когда борются за правое, справедливое дело. И это Правое Дело не менее дорого им, женщинам, чем их мужья, отцы и сыновья; они служат ему своим трудом, они отдали ему и сердца свои, и помыслы, и упования, и отдадут, если потребуется, и мужей, и сыновей, и отцов и будут так же гордо нести свою утрату, как мужчины несут свое боевое знамя".

Как и большинство революций, это была революция достоинства, ибо все прагматические мотивы говорили, как всегда, одно: победа если и возможна, то ценой таких жертв и такого разорения, каких не окупит никакое военное торжество. Однако чтобы идти на такие жертвы, необходимо не только верить в собственную правéдность, но и считать противника чудовищем, который не просто следует собственным интересам, а стремится тебя уничтожить без всякой пользы для себя. Когда знающий человек (из своих же!) говорит благородной Мелани, что в северных тюрьмах для пленных дела обстоят далеко не так худо, как в южных, — у янки-де хоть отбавляй и одеял, и еды, и медикаментов, она вскипает: не может быть, янки нас люто ненавидят, и наши пленные погибают там от холода и голода без всякой медицинской помощи. А между тем "янки" воюют всего лишь рационально: эти защитники частной собственности уничтожают здания, где противник может согреться, еду, которой он может прокормиться (что наивным душам представляется бессмыслен-

Александр Мелихов. Творяне всех стран, соединяйтесь

ной злобой). Война очень быстро начинает диктовать свои законы и чистым, и нечистым. Нехватка рабочих рук заставляет гуманистов отдавать в аренду каторжников, создавая на частных предприятиях маленькие ГУЛАГи; необходимость сохранить плоды победы заставляет поборников демократии лишать избирательного права своих политических оппонентов — не у нас одних были лишенцы.

Поэтому, поминая злодеяния советской власти, нужно почаще задумываться, что в них порождалось идеологией, а что войной, Тридцатилетней войной 1914–1945-го: все войны начинаются и ведутся в состоянии коллективного психоза, в котором только и возможно расчеловечивание противника, с кем еще вчера торговали и выпивали. В состоянии психоза никого не удивляет, что за одну ночь человек может обратиться в чудовище — ведь в сказках это бывает сплошь и рядом.

"Точно так же как (давайте уж опровергнем еще одну излюбленную гипотезу) войну между Германией и Великобританией в 1914 году не предотвратило то обстоятельство, что обе эти страны имели высокоразвитые экономические связи и находились примерно на том же уровне промышленного развития. Неверно, что войны предотвращаются общими цивилизованными устоями. Германия, Франция, Италия и Британия принадлежат одной и той же цивилизации, и, тем не менее, они дважды в этом столетии вцеплялись друг другу в глотки. Таким образом, я вновь возвращаюсь к утверждению, что только баланс сил и публично провозглашенная готовность защищаться с оружием в руках могут предотвратить войну".

"Мы хранили на своей территории ядерное оружие, начиная с Хиросимы, но это не предотвратило разрушительных 'обычных' войн в Корее, Вьетнаме и Ливане, войны между Ираном и Ираком. Под зонтиком ядерного сдерживания народы и правительства нашли вполне возможным и выгодным развязывать войны. Я не вижу, почему заранее исключается подобный же исход для Европы. Под сенью ядерного оружия конвенциональная война может произойти и в Европе".

"Если уж война развязана, нельзя исключить никаких альтернатив, включая использование ядерного оружия в Европе. Моя идея состоит в том, что нам не следует обманывать себя своей собственной риторикой. Попросту неверно, что внутренняя организация какого-либо государства является или когда-либо была гарантией против войны. Советский Союз и с многопартийной системой может быть более или менее милитаристским — то же относится к Германии и к любому другому государству".

"Страсти нынешнего националистического возрождения рано или поздно, возможно, исчерпают себя, а стремление обрести гражданский мир и процветание останется непреодолимым, но мир и процветание в наше время не-

достижимы без широкого сотрудничества с различными национальными группами и без равновесия сил между государствами".

* * *

Что такое равновесие сил, понятно, — это возможность уничтожить друг друга, и с этим дело обстоит совсем неплохо. Но что такое сотрудничество с различными национальными группами? Какое и с какими? Если, как я полагаю, национализм рождается из ощущения беззащитности и мизерности, то наиболее почтительные и миролюбивые жесты, вопреки привычной практике, следует адресовать не сильным, а слабым, ибо именно слабость провоцирует гиперкомпенсацию националистического психоза. Правда, осуществлять столь рациональную политику способны только те, кто сам психоза избежал...

Но, поскольку нашу экзистенциальную защиту разрушает не столько ненависть к нам, сколько пренебрежение, то сегодня, когда Россия снова внушает страх, у нее возрастают и шансы вернуться к рациональности. А вот для малых народов закрыт и этот путь ослабления националистического психоза: чтобы ощущать себя творцами истории на силовом поприще, им остается или подзуживать сильных друг против друга, или **искать самоутверждения на поприщах творческих**, о чем они пока что не догадываются. Националистов никакие поприща, кроме борьбы за власть ("независимость"), не интересуют, но творцы способны переманить у них какую-то часть публики, если сотворят нечто настолько масштабное, что это уже обретет признаки исторической субъектности, — прорвутся в космос, победят на Олимпиаде, получат Нобелевскую премию...

Однако творцы, похоже, еще никогда не считали себя самостоятельной силой. Националисты с их культом силы и власти уже давно объединились против творцов (хотя бы тем, что низводят их до службы своим примитивным целям) — почему бы наконец и творцам не объединиться против националистов? Выбросив лозунг в духе Велимира Хлебникова: "Творяне всех стран, соединяйтесь!"

Если уж не всех стран, то, по крайней мере, тех, что наиболее остро нуждаются в исторической значительности.

Экзистенциальная защита сильных и слабых народов — тех, кто обеспечивает мировое равновесие сил, и тех, кто на это равновесие почти не влияет, должна выстраиваться на совершенно разных принципах: у сильных на рациональности, у слабых на творчестве.

Хотя успехи на творческом поприще и сильным облегчают возможность не впадать в обидчивость и мстительность.

Марк Копелев

Война и мир

Взгляд изнутри

...Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал...

М. Булгаков *Мастер и Маргарита*

В феврале 2002 года на сцене Метрополитен-оперы состоялась премьера оперы “Война и мир”. Даже те, кто с оперой Сергея Прокофьева не знаком, а только читал роман Толстого, понимают, что для театра, рискнувшего воплотить это действо на сцене, создать спектакль по такому грандиозному эпическому произведению — труд адовый. Зрелище почти на 4 часа. Большое количество эпизодов. Шестьдесят восемь (!) основных ролей. Балы, война, русские войска, французские войска, уланы и драгуны, гренадеры и кирасиры, гусары и казаки, фузилеры и вольтижеры, маркитанты, фуражиры, партизаны, горожане, ополченцы, хоры, балет, миманс и прочая, и прочая, и прочая... По сцене двигаются большие массы народа, сталкиваются, воюют, танцуют, убивают друг друга... И при этом еще и поют. Дурдом. Страшный сон для режиссера-постановщика. Лев Николаевич ворочается в гробу, потому как старик оперу не жаловал и обзывал всякими нехорошими словами.

“The New York Times” накануне премьеры сообщала:

На глубине трех этажей под Линкольн-центром русская армия учится маршировать!

В финальной сцене заняты 346 человек и лошадь!

Завербовано 160 безработных актеров! Заметьте — не приняты на работу — “to hire”, не рекрутированы — “to recruit”, а *завербованы – “to enlist”.*

Наняты дополнительно костюмеры почти со всего Бродвея...

© Марк Копелев, 2016

Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации данного текста на страницах журнала.

Под костюмерные занята подземная пожарная станция...

Как очевидец, свидетельствую, что все так и было — сам работал в этой бывшей пожарной станции, переоборудованной под костюмерную, и даже был там начальником. Это уже другая часть истории, из-за которой я, собственно, и взялся за перо и про которую расскажу чуть ниже.

Так вот, премьера. По сцене, которая представляет собой вращающийся купол, как бы половину земного шара, перемещаются туда-сюда эти самые 346 человек, также лошадь и 160 завербованных безработных актеров, которые работниками МЕТ не являются, а потому на огромной сцене этого театра ориентируются не слишком хорошо. Тем более что по куполу, очень, кстати, выразительному с точки зрения художественного замысла, двигаться весьма неудобно. Тем более в полутьме.

Близится финал. Тринадцатая, заключительная, картина — "Смоленская дорога". Под мощное оркестровое вступление, изображающее разбушевавшуюся пургу, в густых вечерних сумерках по Смоленской дороге бредет отступающее французское войско. Убогие, замерзшие люди в драных мундирах. Партизанский отряд во главе с Денисовым, Долоховым и Щербатым атакует конвой, охраняющий колонну русских пленных, и освобождает их. Французы в панике бегут. В музыке — победные литавры и трубы во славу русской армии.

И вдруг, в неверном свете метели, от беспорядочно отступающего французского отряда отделяется солдат и, вместо того чтобы вместе с товарищами по боям удалиться за кулисы, закрыв лицо руками, как бы преодолевая суровые порывы зимних российских ветров, начинает пятиться в направлении зрительного зала. Ну, заблудился французик в полутьме незнакомой сцены. Заигрался. И все бы ничего, но потерявший ориентировку завербованный безработный не заметил в темноте, что между ним и залом разверзся глубокий овраг оркестровой ямы. Куда он, естественно, к изумлению первых рядов партера и оторопевшего дирижера, со всего маху и навернулся.

Читатель, наверное, думает, что я сейчас начну описывать, как этот незадачливый солдат свалился прямо на головы не ожидавших такой подлянки оркестрантов. Не спорю — это было бы соблазнительно. Здесь есть где разгуляться. Несчастный падает в оркестр, визжат скрипачки и виолончелистки, звенят тарелки, грохочут барабаны, хрюкают тромбоны и тубы, с треском рушатся пюпитры, матерятся фаготы и валторны, и так далее, и тому подобное... Но нет. Нет, нет, нет, друзья мои. Это ведь Метрополитен-опера. Здесь охрана труда. Не дай бог, что-то подобное случится — засудят к чертям собачьим. Здесь, с одной стороны, профсоюз музыкантов, с другой — профсоюз работников сцены, с третьей — гильдия

актеров... То есть подобные случаи предусмотрены, последствия просчитаны, и все меры предосторожности загодя приняты. Над оркестровой ямой со стороны сцены натянута страховочная сетка, и даже при всем желании сигануть в оркестр ничего не получится. Наш незадачливый герой благополучно в эту сетку и свалился. Но как дисциплинированный актер, чтобы не привлекать к себе внимание и не нарушать ход спектакля, затаился там и не шевелится. А поскольку все это произошло в темноте под вой метели и музыку победы русского оружия, то кроме оркестра и первых рядов партера никто, в общем, потери бойца не заметил.

И все, возможно, проскочило бы тихо-мирно, но герлфренд этого безработного, которая тоже была занята в последней сцене, не обнаружив своего любимого в отступающей за кулисы колонне, начала его искать. И тут ей кто-то сказал, что, мол, не волнуйся, darling, все в порядке, пал смертью храбрых — в оркестровку гикнулся. От этого ошеломляющего известия darling впадает в неуправляемое буйство, поднимает дикий хай, крича, что у него, дескать, больное сердце, что он плохо видит и вообще, наверняка, умер. "He died, he died... — путаясь в соплях, повторяет она. — He is dead!" Ну а что, скажите на милость, она должна думать? Человек сверзился в яму — и тишина. Ничего не видно, ничего не слышно... Ясен пень — кирдык. И как любая женщина, потерявшая на войне мужа, она рыдает, обливается слезами и угрожает всех засудить.

Шум из-за кулис перекидывается в зал. Подбитый влёт на высокой ноте творческого парения, Валерий Абисалович Гергиев останавливает и так уже полузахлебнувшийся оркестр, помощник режиссера дает занавес, зрители из первых рядов заглядывают в оркестровку, пытаясь увидеть, куда исчез человек, зрители средних и задних рядов, видя, что первые ряды столпились у барьера и на что-то показывают в оркестровой яме, тоже встают, пытаясь понять, что случилось, музыканты тычут страдальца-француза в задницу смычками — мол, давай уже вылезай, война окончена, а тот свернулся в сетке калачиком и признаков жизни не подает.

А за кулисами своя жизнь: постановщики спектакля — режиссер Михалков-Кончаловский, художник Георгий Цыпин, художник по костюмам Татьяна Ногинова, приготовившиеся выходить на поклон пожинать лавры, каждый в своем углу держатся за сердце, пьют валидол и на фоне бьющейся в истерике герлфренд-ши рисуют себе ужасные картины, как их будут судить и на какое количество миллионов. А главное — КОГО и ЗА ЧТО. Кончаловский думает, что, конечно же, его за то, что неправильно что-то смизансценировал, да и вообще режиссер, как известно, всегда за все отвечает. Цыпин небезосновательно считает, что крайним

будет он из-за этого проклятого купола, на котором еще на репетиции несколько актеров чуть ноги себе не переломали. Ногинова полагает, что, возможно, что-то было не в порядке с костюмом — актер запутался в складках или что-нибудь еще в этом роде... Тут прибегает генеральный менеджер Метрополитен-оперы мистер Джозеф Вольпе, который в директорской ложе репетировал перед зеркалом позы для торжественной речи о дружбе народов Америки и России, и тоже начинает биться в падучей и рвать на груди волосы, потому что уж он-то точно за все ответит. И за увечье актера, и за разгром русских войск под Аустерлицем, и за войну 1812 года в Европе, а может быть, даже (угораздил же бог связаться с русскими) за пакт "Молотова—Риббентропа".

В конце концов с помощью пожарных француза извлекли из сетки, спектакль кое-как закончили, и на поклон мистер Вольпе вышел, ведя за руку ошалевшего от свалившейся на него славы молодого актера:

— Этот отступающий французский солдат, — сквозь зубы пошутил Вольпе, — сбился с пути в русской метели.

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Американцы любят незатейливые шутки.

На следующий день нью-йоркские газеты широко осветили этот драматический эпизод войны 1812 года. Один заголовок мне особенно понравился:

Много солдат пало в Отечественной войне 1812 года, но ни один из них не пал в оркестровую яму!..

Мог ли безработный бродвейский лицедей мечтать о таком сногсшибательном успехе на одной из самых престижных сцен мира?! Какой там Хворостовский! Какое там нетребко! Что вы!

Этот эпизод стал ярким заключительным аккордом в той безумной симфонии событий, которые ему предшествовали. Скажу больше: если бы он не произошел, его следовало бы придумать, потому что это был естественный, органический финал всей этой свистопляски, что происходила на протяжении десяти месяцев, пока шла подготовка к этому историческому спектаклю. К происшедшему на премьере лично я никакого отношения не имею. Это взгляд из зала. Снаружи, так сказать. Но зато я имею некоторое отношение к тому, что происходило ранее, задолго до премьеры. О чем и хочу рассказать. Назовем это "взгляд изнутри".

Кто может знать, отчего случаются те или иные события. Где-то, что-то, абсолютно к тебе отношения не имеющее, произошло, и ты вдруг оказываешься втянутым в водоворот каких-то бессмысленных действий, вынужден что-то предпринимать, барахтаться в этом мутном потоке, взбивать пену, сам того не желая. Отчего? Почему?

А не почему! Просто, извините за затертую цитату, "Аннушка разлила масло". Ну скажите, что может быть общего

между мной — никому не известным портным — и внезапно возникшей дружбой главного дирижера Метрополитен-оперы замечательного Джеймса Ливайна с еще более замечательным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым? Связь, конечно, есть — все происходит в стенах Метрополитен, но это классическое единство места и времени ничего не объясняет. Они где-то там, наверху, в высях почти что горних, а портной, как ему и положено, сидит на своем портновском месте и шьет костюмы. Казалось бы, "что он Гекубе, что она ему?" Ан нет! Разболтанный трамвай событий, дребезжа стеклами, идет по соседней улице, и вот уже руководство Метрополитен, очарованное талантом и мужским обаянием брутально-мужественного Валерия Абисаловича, а также ветром перемен, веющих над Россией, решило ставить оперу Сергея Прокофьева "Война и мир".

Опять же — ну, решило и решило... Мне-то что? Наше дело портняжное — штаны шить, ваше — спектакли ставить. Поставили, между прочим, неплохо, но рассказывать о таких событиях должны рецензенты, газетчики, театральные и музыкальные критики, а не портные из пошивочного цеха Метрополитен-оперы. И строки мои никогда не появились бы на свет, если бы этот дребезжащий трамвай не наехал на меня.

Здесь, чтобы читатель понял все последующее, необходимо объяснить, каким шальным ветром, меня, режиссера, проработавшего более двадцати пяти лет в театре, в кино и на телевидении, выпускника одного из лучших театральных ВУЗов страны занесло в этот пошивочный цех.

Когда в 1985 году за клеветнические высказывания о советской власти меня с волчьим билетом выперли с Новосибирского телевидения и перекрыли все возможности дальнейшей работы по профессии, я, чтобы как-то выжить, стал шить джинсы, платья, куртки, прочий ширпотреб и продавать это на вещевом рынке. Получалось, видимо, неплохо, потому что товар не залеживался, нехватки покупателей не было, а зарабатывать я стал в пять-десять-пятнадцать раз больше, чем зарабатывал, будучи режиссером высшей категории на телевидении. Поначалу было стыдно стоять на барахолке среди спекулянтов и фарцовщиков, тряся самопальными портками. Мешали интеллигентские комплексы — мол, быть торгашом нехорошо. Но классики марксизма знали, о чем говорят, когда писали о "бытии" и "сознании". Наблюдая изнутри новую жизнь вокруг себя, я постепенно осознал, что ничего зазорного в том, что я продаю изделия, созданные собственными руками, нет и что это более безобидное и честное занятие, чем оболванивание широких народных масс телевизионной отравой.

Однако для людей творческих, к коим я отношу себя, деньги все-таки — не самое главное. Что-то такое непонятное "кипит, свиристит и

произрастает" в тебе, требуя выхода. И если не находит, последствия бывают непредсказуемые, вплоть до самых печальных. Примеров тому — тьма.

Но я выжил. Не вскрывал вен, не бросался под поезд, не пил горькую, как это водится у людей творческих профессий. Такое нечеловеческое мужество так впечатлило моих бывших коллег по бывшей телевизионной профессии, что в перестроечные годы они сняли часовой фильм, печальную документальную сагу о моей "трагической" судьбе. Назывался фильм "Портной", был представлен на Первом международном фестивале неигрового кино в Ленинграде и получил несколько призов. Призы, конечно, никакого отношения ко мне не имели, но фильм был настолько убедителен, что я сам почти поверил в то, что я — Портной. И когда сытый по горло волшебной страной, так ловко превращающей режиссеров в портных, я эмигрировал в США, то в службе, которая помогает иммигрантам устроиться на работу, ничтоже сумняшеся, заявил, что я — *tailor* и работать собираюсь именно в этом качестве. Не объяснять же в самом деле, что я режиссер, что меня уволили за то, что я что-то не так ляпнул, что-то не так сказал, не так подумал и бла-бла-бла... Не поймут, не поверят... Да и кому это здесь интересно. Америка смотрит вперед, а не назад.

Но так случилось, что именно в то время, когда сердобольные американцы подыскивали мне работу, фильм "Портной" показали по одному из национальных телевизионных каналов. Оказывается, он был куплен каналом NBC на том фестивале в Ленинграде. Что я — бывший режиссер, я особо не распространялся, поэтому кураторы, занимающиеся моим трудоустройством, увидев фильм, были настолько потрясены невероятной скромностью клиента, что, не приходя в сознание, стали искать ему (то есть мне) работу в сфере искусства по прямой режиссерской специальности. К сожалению, все режиссерские места на Бродвее и в Голливуде оказались заняты, остались только портновские, и клиенту одно из таких мест было предложено. Так я оказался в MET.

Не могу сказать, что подобная смена профессии меня очень огорчила. Во-первых, я был к этому готов — понятно же, что иммигрантов с распростертыми объятиями не ждут нигде. Во-вторых, без хорошего знания живого английского языка в режиссуре делать нечего. Это я тоже прекрасно понимал. В-третьих, и это главное, я к тому времени уже очень сильно разочаровался в деятельности, которой занимался прежде. Более того, все, связанное с лицедейством, стало вызывать у меня брезгливое отвращение. Что-то жалкое и паскудное есть в мышиной возне больных самолюбий и неудовлетворенных амбиций, царящих в мире искусства. Про помойку, которая называется "сред-

ства массовой информации", думаю, даже и объяснять ничего не надо. Просто включите телевизор и посмотрите. Если у вас есть глаза, уши и к ним в придачу пара извилин, сами все увидите.

Мои новые коллеги по швейной машинке и непосредственное руководство костюмерного цеха довольно быстро разобрались, что никакой я не портной. Это видно сразу, стоит человеку взять в руки ножницы. И хотя о своем позорном режиссерском прошлом я и тут предусмотрительно помалкивал, посматривали на меня с подозрением. Что-то нехорошее, социально-чуждое было в этом русском. Однако работал я не хуже других, и меня до поры до времени не трогали.

В Америке есть такое понятие: over qualification. То есть слишком высокая квалификация для данной позиции. В переводе с английского бюрократического на человеческий русский это означает "слишком умный". Быть слишком умным не рекомендуется — ни в России, ни в Америке, ни даже в каком-нибудь Мозамбике. Съедят. Причем не только в Мозамбике. Умников не любят нигде. Но, как говорится в известном анекдоте, "умище-то, умище не спрячешь". Ум, он иголками торчит во все стороны, как у Страшилы из "Волшебника Изумрудного города". А начальники, особенно начальники мелкие, народ недоверчивый. Слишком умный подчиненный — угроза авторитету. Ходит тут и как-то подозрительно улыбается. Мнение на лице. Неприятно... Поэтому супервайзер поляк Николай, отпетая сволочь и антисемит, да и прочие труженики иглы и наперстка относились ко мне... как бы это лучше сказать... с некоторой классовой настороженностью. Они-то все профессиональные портные, а этот... чёрте что: понятно, что ничего не умеет, но делает в конце концов все нормально. Непостижимый парадокс... Начальник же костюмерного цеха в лице человека с замечательной для оперного театра фамилией Ричард Вагнер (впрочем, можно сказать и Рихард — это, собственно, вопрос орфоэпии) особенного внимания на меня не обращал. Что меня вполне устраивало. "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь".

Надо сказать, что этого Ричарда Вагнера в отличие от ТОГО (который Рихард) вообще не очень занимали оперные дела. Целыми днями он сидел в своем кабинете и раскладывал пасьянс, который в просторечии называется "солитёр". В свободное от "солитёра" время он по компьютеру следил за делами на бирже, покупал-продавал какие-то акции и в цех наведывался не слишком часто. Когда же ему предложили от этой полезной деятельности отдохнуть, отправив на пенсию, положение мое несколько осложнилось. Его заместительница, бывшая актриса Лесли Вестон, назначенная вместо него начальником цеха, чувствуя родствен-

ную душу, относилась ко мне с симпатией и часто повторяла: "You waste your time here!" — мол, "ты зря теряешь здесь время". Ей однажды в руки попала книжка "Red Blues" известного американского издательства "Holmes & Mayer", в которой рассказывалось о десяти (естественно лучших) представителях русской эмиграции последней волны. В том числе и обо мне. Глупостей там было наворочено немеряно, но, прочитав книжку, Лесли прониклась ко мне вполне объяснимым уважением, поскольку американцы, впрочем не только они, любят знаменитостей. А я таковой в ее глазах являлся — не про каждого же пишут книжки и снимают фильмы. Любуясь собственным демократизмом, она часто говорила: "You deserve better". Что в переводе означает: "Ты достоин большего". Такие утверждения, как вы понимаете, приятно слышать, они повышают самооценку и способствуют пищеварению. С пищеварением у меня и так было все в порядке, а объяснить, что этого "большего" я по горло нахлебался в родной стране и что у меня от него изжога — не хватало английского. Да и вообще, добровольный отказ участвовать в этих крысиных бегах лежит почему-то вне сферы понимания большинства людей. Мерилом успеха в современном мире являются не пушкинские "покой и воля", а карьера, деньги и количество упоминаний в средствах массовой информации. Понять, что меня вполне устраивает мое положение, Лесли была не в состоянии.

У американских начальников есть одно качество, коренным образом отличающее их от начальников российских: стремление использовать творческий потенциал сотрудника максимально. Лесли такой потенциал во мне ощущала, и ей очень хотелось меня облагодетельствовать. Однажды она попыталась это сделать, назначив ответственным за изготовление костюмов к опере Вагнера (Рихарда) "Лоэнгрин". Однако я довольно ловко увернулся, подставив эквадорца Освальдо, который, в отличие от меня, начальником стать о-о-очень хотел. Ну и флаг в руки.

Но вернемся к "Войне и миру". Понятно, что для воплощения такого монументального произведения на сцене нужны немалые средства. Всю огромную массу народа, занятого в спектакле, надо одеть. А декорации! А оркестр! А гонорары дирижеру, постановщикам, певцам! Бешеные деньги для любого театра! Даже для такого, не привыкшего их считать, как Метрополитен-опера. Поэтому у руководства возникла замечательная идея поставить оперу совместно с Мариинским театром. Дружба Ливайна и Гергиева цвела и колосилась, как марихуана на колумбийских плантациях, год наступал прокофьевский, а поскольку расходы на постановку делятся пропорционально, то вроде как и дешевле выйдет. Да и жест красивый в свете намечавшейся было дружбы на-

родов США и России. Валерий Абисалович Гергиев так прямо и сказал: "Для нас,– сказал он, – это дело чести! Это дело репутации Мариинского театра и моей личной". Вот так без обиняков и заявил! Ну а когда дело касается личной репутации Гергиева, то какие могут быть разговоры. Тем более что проклятые пиндосы тогда еще не были причиной всех российских бед и дружить с ними было легко, приятно и даже престижно. То есть резоны для постановки были. А главное – деньги нашлись. Обладатель персонального кресла номер 101, расположенного прямо за спиной дирижера в первом ряду партера Метрополитен-оперы, страстный поклонник оперного искусства господин Альберто Вилар пообещал отстегнуть с барского плеча около четырех миллионов долларов на постановку. Деньги немалые даже для Америки.

Решили так: постановка будет осуществлена в двух театрах. И в Метрополитен, и в Мариинском. Дирижер, режиссер-постановщик и исполнители главных ролей одни и те же. Состав, разумеется, звездный: дирижер Гергиев, режиссер Михалков-Кончаловский, художник – Георгий Цыпин, князь Болконский – Дмитрий Хворостовский, Наташа Ростова – Анна Нетребко, Пьер Безухов – Гегам Григорян. В других ролях – Сэмюэл Реми, Василий Горелло, Виктория Ливенгуд, Елена Образцова, Владимир Огновенко и другие звезды помельче. Хоры, массовки, миманс, балет – свои в каждом театре. Декорации тоже. Это понятно, сцены разные. А вот костюмы решили шить в России в мастерских Мариинского театра. Зарплаты портных Метрополитен и портных Мариинки несравнимы даже в десятом приближении, поэтому экономия на изготовлении костюмов обещала быть весьма существенной.

Сказано – сделано. Обмерили наших актеров и отправили все мерки в Петербург. Нас, метрополитеновских портных, попросили себя не беспокоить. Что ж, не беспокоиться, так не беспокоиться. У нас и без того забот хватает. Да и вообще, что нам, простым смертным, до ветров, которые веют на вершинах Олимпов и Парнасов. Небожители сами по себе – мы сами по себе. Есть в этом непересечении высший смысл и разумность мироустройства.

До поры до времени эти ветры и веяли где-то там, далеко в вышине. Я приходил на работу, надевал наушники, слушал хорошие аудиокнижки, не особенно вникая в то, что происходит вокруг. Именно этим работа меня и устраивала. Как говорил герой Папанова в "Белорусском вокзале": "Хорошо было в армии... Командуют налево – повернулся налево. Шагом арш – пошел. Куда, зачем – там знают. Идешь, главное, в ногу, *а думаешь о своем...*" Вот я и старался идти в ногу. Руки делали свою работу, а я думал о своем. О чем? Да, обо всем! О жизни, об искусстве. О Фото-

графии... К тому времени я серьезно увлекся этим удивительным искусством, найдя в нем отдушину и спасение от нудного каждодневного швейного труда. Это ведь только со стороны кажется, что работа в Метрополитен сплошной праздник. На самом деле это обычная рутина, и шить штаны на Доминго или Паваротти ничуть не интереснее, чем на какого-нибудь бухгалтера из новосибирского ЖЭКа. А душа, как ни крути, требует, говоря высоким штилем, "реализации творческого потенциала". Портновская работа в силу своей немногословности давала возможность спокойно размышлять о "высоком". Много ли вы можете назвать фотографов, да и вообще людей, которые 7-8 часов в день думают о "высоком"? Им думать некогда — надо бегать, суетиться, искать заказы, а найдя, подстраиваться под требования и далеко не безупречный вкус заказчика... А "служенье муз", как в свое время справедливо заметил Александр Сергеевич, суеты не терпит. Я не расставался с камерой ни днем, ни ночью, я был свободен, ни от кого не зависел, я не был связан никакими обязательствами, мог снимать что хочу, как хочу, и за свои раздумья еще и получал довольно приличную зарплату. Это ли не счастье! К тому периоду, кстати, относятся мои лучшие портретные работы, а также бессмертный шедевр "Письма с того света" — книга, которую я тогда написал.

Но, как пел мой безвременно ушедший друг Марик Фрейдкин: "...Жизнь на то нам и дана, чтоб терпеть ее подлянки..." Счастье длиться вечно не может. В один прекрасный день из "Петербурга с любовью" пришли пошитые в Мариинке костюмы. 300 ящиков!!! Повторяю — прописью: ТРИСТА!!! Почти 2000 костюмов, обуви и головных уборов!!! Это без учета тех, которые еще надо будет пошить на исполнителей основных ролей, коих по либретто, как уже было сказано, значилось более шестидесяти. Чтобы было понятно, объясняю: такое количество костюмов пошивочный цех Метрополитен-оперы отшивает в среднем за четыре-пять сезонов. Как бы не больше.

Итак — 300 ящиков. Открыли. И вот тут-то Россия предстала перед ошеломленным взором американцев во всей своей первозданной распиздяйской красе. Возможно, кто-то из американцев и слышал что-то о Викторе Степановиче Черномырдине, как-никак бывший премьер-министр, но с высказываниями этого Великого человека явно знаком не был. Потому что это был как раз тот самый случай, когда *"хотели, как лучше, а получилось, как всегда!"*

Дело в том, что, когда в Метрополитен шьется костюм, на него заводится специальное досье, книга, которая на американском театральном жаргоне называется *bible*. То есть библия. В этой *библии* собираются все сведения о костюме: эскизы, образцы тканей, выкраски, имена и размеры всех актеров, когда-либо ис-

полнявших эту роль, фотографии каждой детали одежды, фотографии всего костюма в целом, фотографии актера в этом костюме и так далее, и так далее, и так далее. Здесь же объяснений на все 300 ящиков была пара жеваных листков, написанных от руки. На русском языке! На каждую деталь костюма в Метрополитен пришивается специальная этикетка – лейбл, на которой написаны название оперы, год постановки, какой акт, что за персонаж и имя исполнителя. Если исполнитель меняется, пришивается новый лейбл, а старый в обязательном порядке остается. В нашем же печальном случае на внутренней стороне воротника мундира или там сюртука обслюнявленным химическим карандашом было коротко и ясно написано: "Иванов". Или, скажем, "Семенов-Задунайский". Кто этот Иванов, кто этот Задунайский – князь Болконский, Пьер Безухов, Долохов или Платон Каратаев – непонятно. То есть это МНЕ не понятно! Мне, изучавшему "Войну и мир" еще в девятом классе. А большинство американцев вообще слыхом не слыхивали, кто такие князь Болконский, Наташа Ростова или там Анатоль Курагин и что за заварушка была в Европе в 1812 году, потому как "Войну и мир" у них в школах не проходят. Впрочем, большинство из них и своих-то классиков не шибко знают. На моем жизненном пути в Америке я встретил не более десятка американцев, знавших, кто такие Томас Вулф, Уильям Фолкнер, Уильям Сароян или Уолт Уитмен. Нет, что есть такой русский писатель Толстоевский они слыхали, но чтобы вот так, в деталях, в подробностях... Это вовсе не означает, что все американцы "тупые", как сладострастно утверждает и сам не слишком "острый" сатирик Задорнов. Есть образованные, интеллигентные, вполне начитанные американцы. Только в пошивочном цеху Метрополитен работают почему-то не они. Другое дело, конечно, если вы зайдете в российское швейное ПТУ номер, скажем, сто семьдесят восемь и спросите: "Кто такая Анна Павловна Шерер?" Уверен, что вам тут же все наперебой кинутся объяснять...

Впрочем, я отвлекся.

Перед руководством МЕТ встала проблема: что же со всем этим делать. Подход к решению проблем в Америке простой – были бы деньги. Есть деньги – нет проблемы! Все остальное временные трудности. Проблема всегда одна: как достать деньги. В Метрополитен-опере для этого существует даже специальный департамент, работники которого с утра до вечера заняты тем, что обзванивают и всячески обхаживают богатых людей, чтобы потом вытрясти из них деньги на нужды оперного искусства. Но в данном случае это было не актуально благодаря обладателю персонального кресла номер 101.

Для начала необходимо было на каждый костюм составить *bible*. Описать, сфотогра-

фировать, обозначить все размеры и т. д. Наняли четырех человек. Зарплата 25 долларов в час. Достали эти жеваные бумажки с объяснениями на русском языке. Попытались перевести. Переводчик-американец, промучившись три дня, сказал, что, это, конечно, вроде русский язык, но какой-то очень странный, и перевести это он не в состоянии. Тут Лесли вспомнила обо мне и принесла эти бумажки.

— Это русский язык? — спросила она.

Я посмотрел. Текст был написан кириллицей.

— Русский.

— Почему же переводчик ничего не понимает?

Я посмотрел еще раз: *Чикчиры синие. Ташка красная с желтой отделкой. Вальтрап синий с желтой отделкой. Кивер: этишкет и кутас белые, шнуры на доломане и ментике желтые, кушак с гомбами. Лядунка на панталере с двумя протравниками медным и стальным – черная кожаная...*

Я искренне пожалел переводчика. Русский язык-то он, наверное, знал. Но для того чтобы понять эту хренотень, одного знания русского было недостаточно. Нужно было еще, как минимум, в течение трех лет изучать историю костюма в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии под руководством таких корифеев, как Николай Павлович Акимов, Март Фролович Китаев, Эдуард Степанович Кочергин. Впрочем, Кочергин в ту пору, когда я учился, был еще просто Эдик. Судя по бумажке, художник по костюмам Мариинского театра прошла ту же школу.

Как мог, я попытался объяснить это моей начальнице.

— И что, ты все это знаешь? — недоверчиво спросила она.

— Ну... Более-менее. Чикчиры — штаны с кожаной вставкой, типа рейтуз. Для верховой езды, в основном. Ташка — это такая армейская сумка. Вальтрап... То, что здесь есть вальтрап, говорит, что это костюм гусара, драгуна или улана. Конника, одним словом... Лядунка — кожаная коробочка для патронов...

— Так, — сказала Лесли, — я тебя освобождаю от твоей портновской работы и прикрепляю к группе, которая разбирает костюмы. У тебя фотоаппарат с собой?

Вопрос был чисто риторический — все в нашем цеху знали, что аппарат у меня с собой всегда.

— Конечно.

— Будешь переводить, объяснять, что есть что, и фотографировать костюмы. Сейчас иди, купи нужную пленку. Чек принесешь. Все расходы будут покрыты. Всё. С завтрашнего дня приступай.

Вот таким образом я попал в группу, которая занималась "Войной и миром".

Работа оказалась непыльной. Я сидел в углу, слушал аудиокнижки, пока бригада собирала костюм, потом они вешали его передо мной, и я нажимал на кнопку фотоаппарата. Когда о чем-то спрашивали, я переводил и объяснял, что́

данное название означает. Не всегда это было легко. Скажем, перевести на английский язык слово "лапти" еще кое-как можно, обозначив их, как "peasant shoes". А вот "кокошник" или, к примеру, тот же "армяк" и объяснить, чем он отличается от "казакина" или "зипуна" — задача почти непосильная. А "онучи", а "охабень", а "понёва", а "запона", "приволока", "шушпан"... Не всякий русский знает эти названия. А если и знает, то плохо себе представляет назначение этих предметов. Можете ли вы вот так, с лету, объяснить разницу, скажем, между *ментиком и доломаном?* И почему на одном три ряда пуговиц, а на другом пять? Многие названия я уже и сам позабыл, и поэтому, если меня спрашивали, к примеру, что такое *кивер*, я просто брал этот головной убор и говорил — "вот это *кивер* и есть, вот это *этишкет*, вот это *кутас*, вот *репеек*, вот *султан*, а вот эта хреновина называется *гренада о трех огнях* и означает, что кивер принадлежит гренадеру". Впрочем, про *гренаду* — это больше для понту, чтобы поразить окружающих своими недюжинными познаниями. Коллеги мной восхищались, а я, как идиот, купался в этом, не подозревая, какую мину под себя подкладываю. Как заметил один проницательный человек: "В каждом из нас ровно столько тщеславия, сколько ему недостает ума". Увы, это так. Тщеславие и глупость идут рука об руку. Но об этом позже.

Для начала решили просто развесить костюмы по размерам. Выделили громадный репетиционный зал, привезли раки (рак — это такая штука на резиновых колесиках для перевозки и хранения костюмов) и бодро принялись за дело. Развесили первую часть костюмов, полюбовались на проделанную работу и пригласили актеров на первую примерку. И тут вдруг выяснилось, что системы размеров в Америке и в России не совпадают. То есть это было известно всем и раньше, но, когда что-то известно *всем*, в голову это как-то никто не берет. Не зря говорят, что русские и американцы очень похожи. Идиотизма и раздолбайства полно и там, и там. В голову не взяли по обе стороны Атлантики. Актеров обмерили по американским стандартам, а сшили исходя из российских. Причем речь идет не о переводе сантиметров в дюймы, или наоборот, а о принципиально иной методике обмера и обозначения размеров.

Стали думать, что делать. А что делать? Теперь надо было обмерить готовые костюмы, и конвертировать российские размеры в американские. Наняли еще четырех человек, за те же 25 долларов в час, стали снимать размеры. При этом выяснилось, что костюм, сшитый, скажем, на какого-нибудь Смита, этому Смиту уже не подходит. Стало быть, нужно либо перешивать, либо подбирать что-то по размеру. Если подбирать, то окажется, что каких-то костюмов не хватает, а каких-то больше. Значит, все-таки перешивать. А это уже придется делать нам,

портным Метрополитен. Перешивать, как правило, сложнее и дольше, чем сшить новый, хотя бы потому, что, для того чтобы перешить, надо вначале распороть то, что есть, а потом перекроить и собрать обратно. То есть намечавшаяся экономия на костюмах таяла и исчезала, "как сон, как утренний туман".

Я наблюдал всю эту чехарду, не вмешиваясь. Жизненный опыт научил меня не лезть не в свое дело. "Сказали направо, пошел направо. Сказали налево, пошел налево. А думаешь о своем... Там знают!" Хотя ТАМ знали довольно приблизительно. Ну да не мое дело. Только один раз я позволил себе дать совет. Когда наша дружная бригада стала нумеровать костюмы родов войск, я посоветовал помечать не только сам костюм, но и каждую его деталь одним и тем же номером. Мол, если какая потеряется, то ее будет легко идентифицировать по этому номеру.

— O! Great idea! It's very smart! You are very clever.

Ну, ну... Clever так clever... Додуматься до такой вещи — задача не для заурядных умов, конечно. Закупили специальные бирочки на защелках и стали крепить к костюмам. Слава моя росла!

В трудах и заботах подошел конец сезона. Разбирать костюмы начали в феврале. К концу мая стало ясно: чтобы справиться с таким объемом переделок, существующих мощностей Метрополитен не хватит. Надо было что-то предпринимать. На Олимпе заштормило. Любовь любовью, дружба между народами тоже прекрасно, но ложки все-таки врозь. Деньги счет любят. Надо было выходить из создавшейся кислой ситуации с наименьшими потерями. Совещания в кабинете генерального менеджера театра мистера Вольпе собирали через день.

В Метрополитен-опере, кроме оркестра и труппы, которые уезжают на гастроли, в отпуск все уходят в одно и то же время. В последнюю среду июня с утра мы начинаем консервировать швейные машинки, чистить, смазывать, накрывать чехлами, собирать инструменты (они у каждого свои), и где-то после трех часов с нами прощаются до следующего сезона.

Но на этот раз мое утро началось иначе. Не успел я разобрать свою машинку, как меня вызвали к начальнику цеха.

— Марк, — торжественно начала Лесли. — Мы решили создать дополнительный цех, который будет работать только на "Войну и мир". Мы арендуем помещение, покупаем швейные машинки и нанимаем еще двенадцать человек портных. Что ты думаешь?

Я неопределенно пожал плечами. То, что двенадцать человек получат работу, конечно, прекрасно. Но с каких это пор для организации нового цеха интересуются мнением простого портного? Пусть даже фотографа и бывшего режиссера. Я начал подозревать, к чему идет дело. Трамвай с угрожающим скрежетом, дребезжа стеклами, выворачивал из-за угла.

— Нам нужен начальник этого цеха. Мы здесь посоветовались. Все в один голос говорят, что ты — лучшая кандидатура.

"Вот, блин, допрыгался, — подумал я. — Да на хрена же это мне надо".

— Нет, Лесли, — сказал я. — Спасибо, конечно, за доверие, но нет... я не хочу.

— Почему? — удивилась Лесли. В ее голосе было столько искреннего непонимания, что мне даже стало смешно. Ну действительно, человеку предлагают повышение, вероятно добавляют зарплату, а он отказывается. Как это понимать?

— Нет, нет, — сказал я, — это большая ответственность. Я не хочу. Я не справлюсь... Я плохо говорю по-английски... И потом, — нашел я нужный аргумент, — я же не знаю женского костюма. Я же мужской портной.

Это заставило начальницу задуматься.

— Ладно, иди, — сказала она.

"Слава богу, — подумал я, — пронесло".

Но радовался я рано. Через час меня опять вызвали.

— Значит так, — сказала Лесли. — Ты будешь супервайзером, а твоим заместителем по женским костюмам мы назначаем Людмилу.

Людмила — это моя жена. Она тоже работает в костюмерном цехе Метрополитен, но в другом статусе. Я штатный работник, а она — так называемый временный, хотя и проработала к тому времени в театре уже пять лет. Статус "временный" вовсе не означает, что как специалисты они хуже. Среди них есть портные, квалификация которых наверняка повыше моей. Разница заключается в том, что "временные" работают так же, как мы, но получают меньше, и, когда в цеху нет работы, их без всяких церемоний увольняют. А в следующем сезоне, в начале августа, приглашают обратно. Театру такое положение выгодно. Нас, постоянных работников, прикрывает профсоюз, у нас коллективный контракт, по которому администрация Оперы, хочет не хочет, должна предоставить нам 48 недель занятости. Невыполнение контракта со стороны администрации чревато штрафами, забастовкой, причем не только портных Метрополитен, но и портных всех бродвейских театров, которые входят в этот профсоюз. У нас есть больничные, персональные дни, пенсионные планы, другие льготы, а у "временных" ничего этого нет. Звериный оскал капитализма. Как правило, "временных" увольняют где-то в конце апреля — начале мая. В то время, когда происходил этот разговор, Люда уже два месяца спокойно сажала цветочки на бэк-ярде нашего дома в Нью-Джерси, сидя на пособии по безработице, которое хоть и немного меньше ее обычной зарплаты, но ведь зато и не работаешь.

— Сомневаюсь, что она согласится, — сказал я.

— А ты позвони.

Я набрал номер.

– Слушай, тут такое дело... – я в нескольких словах обрисовал обстановку.

– Ты что, шутишь? Зачем нам это надо? – сказала моя умная жена.

– Вот и я о том же. – Я пытаюсь ей объяснить, но она, похоже, не понимает, как это возможно: они повышают нас в должности, можно сказать, осчастливливают, карьеру предлагают, а мы отказываемся...

Понятно, что разговаривали мы на русском языке, но Лесли, видать, уловила, о чем идет речь.

– Может, вы не поняли? Объясни ей, что мы назначаем вас супервайзерами. – В ее голосе звучало искреннее непонимание, чего эти русские выпендриваются.

– Почему же не поняли? – сказал я. – Поняли. Вы назначаете нас супервайзерами... Ну и что?

– ...и повышаем вам зарплату! – со значением сказала Лесли, решив, видимо, что не сказала самого главного, что все дело именно в этом. – Ты будешь получать на двести долларов в неделю больше, а она на сто.

Я пожал плечами. Денег много никогда не бывает, но надо же реально оценивать соотношение между деньгами и усилиями, которые придется приложить, чтобы их заработать. И возможными последствиями.

– Ты ей, ей скажи, – уже слегка раздраженно сказала, указывая на телефон, начальница, решив, что когда речь заходит о деньгах, то такие вопросы лучше обсуждать с женщинами. Конечно, она была права. Но не в этом случае.

– Она говорит, что они зарплату нам увеличивают, – сказал я в трубку.

– Да ну их на фиг с их зарплатой, – сказала жена. – Там больше головной боли будет, чем денег. Ты же видел, что там творится.

– Ты понимаешь, – сказал я, взглянув на Лесли, – тут уже, похоже, говно начинает копиться. Они действительно не понимают, почему мы не хотим.

Людмила помолчала.

– Да, попали... Доумничался, – упрекнула она меня. – Ты вот что... Раз уж нельзя отвертеться, скажи, если это нужно ей, мы возьмемся. Лично ей. Она все-таки тетка неплохая. А если это нужно театру, пусть идут подальше, обойдутся без нас.

Я положил трубку и передал Лесли слова моей мудрой жены.

– Это нужно мне, – твердо сказала начальница.

– Тогда у меня два условия. Ты даешь мне право самому нанимать и увольнять людей и берешь на себя все разборки с профсоюзами в случае их увольнения. O'key?

Разборки с профсоюзами в Америке – это серьезно. Без согласования с ними ни взять человека на работу, ни уволить его нельзя. Во всяком случае, в Метрополитен это так. Оговаривая это условие, я оставлял себе пространство для маневра, ибо знал о внезапно

возникшей у моих соотечественников в Америке тяге к решению спорных вопросов посредством суда. А нанимать я собирался именно русскоязычных портных. Не отдавать же рабочие места в чужие руки. Да и работать сподручнее.

— O'key, — подумав, сказала Лесли. — А второе?

— А второе, когда все это закончится, ты вернешь нас на наши места и больше не будешь пытаться осчастливливать.

— Как хотите, — недоуменно пожала плечами Лесли.

На том и порешили. Мне было сказано, чтобы я искал людей, составил список необходимого оборудования и был готов с восьмого октября начинать работу. С тем мы и отправились в отпуск.

Все лето я занимался тем, что подыскивал нужных людей. В результате по рекомендации своих друзей, то есть, попросту говоря, по блату, я набрал двенадцать человек русских, среди которых профессиональным портным была одна Шурочка Артемчук. Причем именно за этого единственного настоящего портного ее муж, одесский еврей Гриша, попытался всучить мне взятку:

— Я тебя отблагодарю, — со значением сказал он.

Ну как было не взять? Не взятку, конечно, а Шурочку.

В моей будущей команде были художники, экономисты, программисты, музыканты и даже один мастер по холодильным установкам.

Может возникнуть вопрос, чем я руководствовался, набирая столь странный контингент. Поскольку я и сам нисколько не портной и всю эту шитейную премудрость осваивал самостоятельно, то считаю, что в шитье важно не столько знание, сколько мозги с нормальными причинно-следственными связями и руки, растущие из правильного места. Если это есть, человек справится с любой работой. Не боги горшки обжигают — не мной сказано. В совдепии большую часть своей печальной истории, прожившей в условиях жесточайшего дефицита всего на свете, все, как известно, немножечко портные. В портновском деле есть только один предмет, который требует скрупулезного знания и соблюдения технологии — это фрак. Имеется в виду пиджак, смокинг, сюртук, кардиган, вицмундир и т. п. Для того чтобы его сшить, нужна школа. Необходимо знать, как прокладываются и простегиваются борта, чтобы они красиво округло лежали, как заделываются лацканы, как крепится воротник, какая сторона у него проклеивается и тому подобные хитрости. Но в предстоящей работе шитья фраков не предполагалось, это были переделки и подгонка уже готовых костюмов, а ежели, паче чаяния, такая необходимость вдруг возникла бы, у меня была Шурочка. Да я и сам к тому времени уже имел некоторый опыт в изготовлении этого мудреного предмета.

В первый понедельник августа мы возвращаемся из отпуска. Все обнимаются, целу-

ются, никто еще не успел надоесть друг другу, все хорошо и прекрасно, горизонт окрашен в радужные тона. Но... Как верно заметил мудрый Игорь Губерман:

Вся наша склонность к
оптимизму –
От неспособности представить,
Какого рода завтра клизму
Судьба решила нам поставить.

Не успел я расконсервировать свою машинку, как меня вызвали к начальнице.

– Ну, приступай, – сказала Лесли.

– Как приступай? – удивился я. – Ты же говорила, что начинать надо с восьмого октября...

– Ты понимаешь, – глаза начальницы подозрительно забегали, – тут такое дело...

А произошло вот что: разобранные, скомплектованные, развешанные по темам, по актам, по размерам костюмы во время нашего отпуска какая-то мудрая голова распорядилась отдать в химчистку. В принципе ничего экстраординарного тут нет, это рутинная процедура – костюмы в MET чистятся чуть ли не после каждого спектакля. Но в данном случае опять никто не взял в голову, что костюмы шились в России и что на них нет ни единого лейбла. И вместо двух тысяч скомплектованных, пронумерованных костюмов я получил почти десять тысяч разрозненных наименований, поскольку, как всем понятно, костюм состоит из нескольких предметов, и кремовые чикчиры с красным гренадерским мундиром и белоснежной батистовой сорочкой в один барабан в химчистке не засунешь.

Что теперь со все этим добром делать было непонятно ни мне, ни начальству, глаза которого слегка голубели при встречах со мной. В верхах, наверное, что-то решалось, но до моего сведения пока ничего не доводилось, и я сидел один в огромном репетиционном зале, смотрел на развешанные в беспорядке по ракам костюмы и думал о неистребимой российской привычке вляпываться в одно и то же дерьмо по многу раз. Ведь давал же себе зарок держаться от руководящих мест подальше.

По идее всю работу следовало делать заново. То есть опять обмеривать, комплектовать, развешивать по номерам. Но тогда этим занималось восемь человек, а у обладателя персонального кресла 101 господина Вилара дела к этому времени пошли хуже некуда. За 2000 год он потерял 65 % стоимости своих активов, в 2001-м – еще 50 %. За два с половиной года его состояние уменьшилось в 12 раз. Так, во всяком случае, утверждал журнал "Форбс". (*A propos*: к моменту выпуска спектакля злосчастный любитель оперы в результате какого-то мошенничества уже имел персональное место в другом Метрополитен – Метрополитен коррекшн центр – тюрьме, что неподалеку от его предыдущего места работы на Уолл-стрит. Видимо, у этого достой-

ного человека было пристрастие к организациям имеющим в названии слово "Метрополитен").

От бурь на Олимпе больше всех страдают не боги, а простые смертные. Финансирование спектакля существенно сократилось, и вместо восьми или хотя бы шести человек, да пусть даже и четырех-пяти, мне для разбора этих завалов выдали двух не отличавшихся особой сообразительностью американцев, один из которых был грек, а другая блондинка. Эта разноязыкая команда сидела напротив и смотрела на меня оловянными глазами: мол, ты начальник — говори что делать... Сказать мне было нечего.

Решили начать с того же, что и предыдущая команда: развесить по номерам, благо я в свое время предложил все части одного костюма пометить одним номером. Работа облегчалась тем, что уже были *bibles*, хотя кардинально это проблемы все равно не решало. Работу, которая делалась в течение пяти месяцев восемью работниками, говорящими на одном языке, сделать за месяц силами трех, говорящих на разных, представлялось затруднительным. В истории человечества уже был подобный прецедент. Чем он закончился, хорошо известно: Вавилонская башня так и не была построена.

Не буду подробно рассказывать, как я выходил из этой ситуации. С одной стороны, чтобы не увязнуть в ненужных подробностях, с другой — чтобы не показаться нескромным, поскольку проблему эту я все-таки умудрился решить. Для интересующихся скажу только, что я просто сменил алгоритм учета костюмов и придумал, как его компьютеризировать. В результате вся работа по подбору костюмов практически свелась к нажатию трех кнопок. Процесс упростился, и количество переделок сократилось во много раз.

Но не зря в народе говорят: "Все беды от большого ума". Упростился-то он упростился, но тем самым я опять подвел под себя и под свой коллектив опасную мину. Штат двенадцать человек был определен, исходя из представлений начальства о количестве переделок. А в результате внедрения моей системы весь процесс практически свелся к необходимости укоротить рукава или удлинить брюки, для чего достаточно было трех-четырех человек. Ответственный грамотный начальник, радеющий об интересах производства, должен был, наверное, часть работников уволить. Если бы я хотел делать карьеру, я бы, вероятно, так и поступил. Но мне, по причинам, изложенным выше, это счастье даром было не нужно. К тому же у меня уже были моральные обязательства перед моим коллективом, и лишить их работы из-за собственной глупости я не имел права. Следовало придумать что-то, чтобы начальство не догадывалось, что мы вместо того, чтобы усердно трудиться, валяем дурака. То есть соз-

дать видимость кипучей работы при отсутствии оной. В принципе, дело для бывшего советского человека несложное — мы там всю жизнь этим успешно занимались.

Помещение для нового цеха театр арендовал на 26-й улице Манхэттена, в то время как сам МЕТ расположен в Линкольн-центре на 65-й. Процесс протекал так: закройщики делали примерку в основном здании, прикрепляли бумажку с перечнем переделок, затем костюм переправлялся на 26-ю улицу, мы с ним работали и, сделав, отправляли назад в театр. Другими словами, кто-то из руководства низшего и среднего звена все время толкался в нашей цеху — привозил костюмы, увозил костюмы, выяснял всякие технологические вопросы, то есть мог видеть, сколь прилежно мы трудимся. И настучать руководству повыше. Стучать — любимое занятие американцев. Даже в России, где по доносам пересажали полстраны, я никогда не сталкивался с такой исступленной страстью. Американцы не стучат — они бегают наперегонки, кто вперед. Можно, конечно, объяснить это повышенной тягой к справедливости, и, вероятно, так оно и есть, но у россиян моего круга стучать всегда считалось делом недостойным. Следовало как-то сократить количество визитов чрезмерно честных людей в нашу синекуру.

Я уже говорил ранее, что в портновской команде нашей были специалисты в разных областях человеческих знаний. В том числе талантливый молодой программист Андрюша Плетенецкий, занимающийся сейчас какими-то сугубо секретными, судя по количеству данных им подписок о неразглашении, разработками в компании "Microsoft". А в то время он и его семья только-только прибыли в эмиграцию и ему нужна была хоть какая-то работа. Так почему бы и не портным? Многие начинают с уборщиков. Он, правда, не знал с какой стороны вдевать нитку в иголку, но вполне успешно работал в нашем дружном коллективе, пришивая пуговицы и лейблы, делая другую мелкую работу не хуже, чем я в свое время. Когда возникла идея электронного подбора костюмов, он написал программу, сделал демонстрационный диск, который я и предъявил начальству с объяснениями как и что. Мы тут же прослыли Russian genius, и ныне эта программа, как мне говорили, работает в Метрополитен уже и на других спектаклях. Но это так, к слову, в качестве похвальбы. Так вот, чтобы сократить количество начальственных звонков и посещений, я попросил Андрея сделать сайт, где было бы расписано все движение костюма от примерки до полной готовности, красиво этот сайт оформить — чтобы там и цветные графики, и логотип Метрополитен, и эффектные картинки, — а для пущего понта еще и заковыристо запаролить. С этим я пришел к Лесли и сказал:

— Лесли, я понимаю, что мой ужасающий акцент вызывает у тебя раздражение и ре-

шать вопросы по телефону трудно и некомфортно.

– Да нет, да что ты... – попыталась возразить толерантная, с головы до ног политкорректная Лесли. Но я пресек возражения в зародыше.

– Нет, нет, Лесли, – я скорбно поджал губы, – я понимаю, как тяжело разбираться в том, что я говорю. Поэтому – вот сайт, вот пароль. В любую минуту ты можешь выйти в интернет и посмотреть, в каком состоянии находится костюм, где он, на какой стадии готовности, когда будет доставлен в театр. Да и у мистера Вольпе, – намекнул я, – будет к тебе меньше вопросов. Он ведь тоже может посмотреть, как идет работа...

Сейчас, когда я пишу эти строки, подобный подход к работе стал рутиной. Тысячи, сотни тысяч фирм, организаций, бизнесов создают свои сайты. Но на дворе был 2001 год, это было внове, и работа произвела фурор. Наши акции поднялись на немыслимую высоту. Начальство получило новую игрушку и уверовало в то, что "если эти толковые русские ребята из пошивочного цеха так лихо решают неразрешимые проблемы, то уж костюмы они как-нибудь сделают". Визиты и звонки прекратились, нас оставили в покое. Мы бодро укорачивали рукава и брюки, Андрей каждый день обновлял информацию на сайте, а у нас появилась возможность устраивать в рабочее время дни рождения, отмечать праздники и вообще вести привольную жизнь – посещать выставки, ходить по вернисажам, благо 26-я улица находится недалеко от района галерей Сохо и Гринич-виллидж. Член нашего дружного коллектива, замечательный художник Люся Успенская смогла закончить один из своих чудесных квилтов, который впоследствии был выставлен в музее "Modern Art", куда, как вы сами понимаете, попасть непросто; Андрей Плетенецкий сумел перетоптаться, пока его не пригласили в Калифорнию в Силиконовую долину, а нашего специалиста по холодильным установкам, Витю Яковлева, взяли на работу в музей Гуггенхайма для обслуживания сложнейшего температурного хозяйства этой знаменитой картинной галереи. Шурочка Артемчук и ее муж одессит Гриша продолжают на каждый мой день рождения вручать мне взятку в виде коньяка и коробки конфет, хотя я уже давно не начальник, кроме водки ничего не пью, а конфеты, по причине диабета, не употребляю. Да я уже и в MET три года как не работаю... Все мои попытки прекратить этот поток благодарности успеха не имеют.

Остальные ребята, за исключением пары уж совсем бестолковых, после окончания этой эпопеи остались в основном цехе Метрополитен и работают там по сей день. Так что объективная польза от нашей кипучей деятельности безусловно была.

Был и побочный выход в виде спектакля "Война и мир" на сцене Метрополитен со звездами мировой оперы в главных ролях. Справедливо-

сти ради следует сказать, что в этом, конечно, не только наша заслуга — Гергиев, Кончаловский и другие тоже немного постарались. Но и мы, несмотря на всю неразбериху, со своей задачей достойно справились, частично реабилитировав в глазах американцев Россию, к которой мы, собственно, отношения уже не имеем. Разболтанный трамвай со свистом проскочил мимо, слегка задев по касательной.

Для меня же главным результатом стало то, что на одной из выставок цифровой фототехники в основном выставочном центре Америки — Джавиц-центре, которую мы посетили, конечно же, в рабочее время, я приобрел свою первую профессиональную цифровую камеру. Событие, возможно, и не соизмеримое по масштабу с постановкой оперы Прокофьева, но вслед за героем Булгакова хочется повторить: "Как знать, любезный Никанор Иванович, как знать...". Ведь благодаря именно этой камере появились мои портреты Иосифа Бродского, Василия Аксенова, Мстислава Растроповича, Петра Вайля, Андрея Синявского, Михаила Барышникова, Алексея Германа, Киры Муратовой, Марка Фрейдкина и других. Часть из этих замечательных людей уже ушла, оставив зияющие дыры в пространстве, а портреты остались, частично заполняя ту пустоту, которая образовалась с их уходом. А могли бы и не появиться, не возникни сердечная дружба двух дирижеров; если бы и руководство MET не решило ставить "Войну и мир"; если бы мне не пришлось выкручиваться из абсолютно дурацкой ситуации с костюмами; если бы в результате этого не образовалось свободное время для посещения Джавиц-центра и еще миллион всяких "если бы", "если бы", "если бы"... Цепочки подобных событий можно вязать до бесконечности, ибо все в нашем бестолковом мире взаимосвязано.

Кстати, опера, несмотря на сумасшедшие затраты и дикую нервотрепку, прошла всего восемь раз и была снята с репертуара без особых надежд на восстановление. Да и дружба народов, к сожалению, пошла на убыль. Какое масло было разлито, какая Аннушка в этом виновата — мне неизвестно.

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио “Свобода”

Adam Gopnik *As Big As the Ritz. Scott and Zelda go on inspiring new books* // The New Yorker, Sept. 22; Therese Anne Fowler “Z”. — St. Martin’s Press, 2013); Maureen Corrigan *So We Read On: How the ‘Great Gatsby’ Came to Be and How It Endures.* — Little, Brown, 2014

Одно из знаменитых выражений американского писателя Скотта Фицджеральда гласит: “В жизни американцев не бывает второго акта”. Это выражение стало расхожим, опровергая еще более расхожее мнение о том, что в Америке каждому человеку дается в жизни вторая попытка. Объясняя ошибочное толкование фицджеральдовской цитаты, литературный критик Адам Гопник пишет в статье “Большой, как Ритц”, опубликованной в журнале “Нью-Йоркер”:

Фицджеральд имел в виду не вторую попытку, а буквально второй акт — как в классических пьесах, где обычно второй акт проходит без эксцессов, медленно подводя все линии пьесы к моменту катастрофы. Писатель считал, что в стремительной американской жизни нет места для срединного спокойного развития жизненного сюжета. Однако и ошибочное истолкование часто оказывается верным: Бикс Байдербек создал высокую музыку и умер в 29 лет; Стивен Крейн написал одну великую книгу и исчез; карьера Орсона Уэллса в Голливуде угасла после двух фильмов. И сам Фицджеральд (ставший знаменитостью в двадцать четыре года, а в сорок четыре умерший и надолго забытый) является одним из примеров своего переиначенного высказывания.

Если второй акт и отсутствовал в жизни Фицджеральда, то эпилог оказался долгим. Причем и самого писателя, и его жены Зельды. Экстравагантные, талантливые, красивые как Адонис и Афродита,

они сияли в 20-х, погибли в 40-х, исчезли из виду в 50-х, но уже в 60-х обрели новую легендарную судьбу. При жизни, в их эпоху джаза и сухого закона, Скотт и Зельда вечно были предметами критики и издевательств: и со стороны светских хроникеров, и со стороны друзей (даже близких), а Скотт получал оплеухи и от критиков. Адам Гопник пишет:

При жизни все любили плевать в их кофе, точнее, в их стаканы с самогонным джином. А через три четверти века они стали не просто душераздирающей сноской к своей эпохе, но неумирающей легендой Запада, которая вдохновляет авторов на всё новые книги, статьи, романы и кинофильмы.

В конце 50-х годов знаменитый критик Эдмунд Уилсон, который в течение всей жизни Фицджеральда был его литературным палачом, заметил и назвал "абсурдом" тот факт, что Скотт – его университетский друг, пьяница и клоун – стал в глазах публики чем-то вроде умирающего и возрождающегося бога Адониса. "Подобное удивление, – пишет Адам Гопник, – было характерно и для друзей Дилана Томаса, и для друзей Перси Шелли, и, наверное, для друзей самого Адониса".

К настоящему времени о паре Скотт-Зельда и о самом Фицджеральде написаны сотни работ, обследованы все стороны творчества, быта (включая финансовое положение), любовной жизни и, конечно, характеров. Но вот что подметил Адам Гопник:

Даже в академической литературе авторы часто принимают Фицджеральда за того, кем он сам себя считал. Он вечно каялся в своей глупости, в пьянстве, называл себя неудачником. На самом деле его афористичная интеллигентность была тоньше прямых формулировок. Его глаза были проницательней, а суждения – мудрей, чем считало большинство его знакомцев, включая Эдмунда Уилсона.

Вот, например, пассаж из записной книжки Фитцджеральда: "Очень важно, – пишет он, – что столица Соединенных Штатов – не в Нью-Йорке. В 1863 году это спасло Союз от страстей толпы. Но, с другой стороны, интеллект перетек в Нью-Йорк, и без критики изнутри наша политика стала ребяческой".

Сэлинджер удивил многих, сказав, что в Фицджеральде его привлекла "сила интеллекта". С тех пор образ писателя переосмысливают многие авторы. Самый недавний урожай работ о Скотте и Зельде делится на две категории. Первая – попытка представить Фицджеральда автором поп-культуры, сравнивать его с автором детективов Дэшелом Хэмметом, например, а его роль в литературе – с ролью композитора Кола Портера в музыке. Вторая категория – попытки изобразить Зельду художником, доведенным до сумасшествия жестокостью ее времени и эгоцентричностью мужа, притеснявшего ее творческую потенцию, даже когда он делал вид, что служит ей.

Яркий пример первой категории – книга литературного

радиокритика Морин Корриган "Мы всё еще читаем. Как родился и почему выжил 'Великий Гэтсби'". По выражению Адама Гопника, "автор съёживает Фицджеральда до современного вкуса". Книга Корриган полна любви к роману, что делает ее много привлекательней сухих академических исследований, но автор представляет роман "Великий Гэтсби" бульварным чтивом, хоть и высочайшего класса. Именно благодаря этому, по ее мнению, роман и стал так популярен. В подтверждение своей идеи она пишет о любви Фицджеральда к детективам и об их возможном влиянии на него (хотя лучшие детективы того времени — в частности, того же Хэммета — были написаны после публикации "Великого Гэтсби"). Адам Гопник возражает Корриган:

"Великий Гэтсби" — роман об убийстве таблоидного типа. Но он долго живет как раз потому, что написан в абсолютно антитаблоидном стиле. Фицджеральд — тонкий стилист, и его стиль — осознанно поэтическая проза. Может быть, самое прекрасное, что он создал — отдельные фразы и абзацы, которые остаются в памяти, как стихи. Эдмунд Уилсон подготовил посмертное издание избранных произведений Фицджеральда и в конце книги собрал целую коллекцию таких фраз и пассажей — на ста пятидесяти страницах.

"Франция, — говорит один из персонажей Фицджеральда — была землей; Англия — народом, а Америка — была... готовностью души".

Из писем Фицджеральда очевидно, что главное влияние на него оказали английские романисты "эдвардианской эпохи": Голсуорси, Маккензи и особенно Джозеф Конрад. И в своем исповедальном эссе "Крушение" Фицджеральд оплакивает гибель романа, который оттеснило, в частности, массовое кино:

Я наблюдал, как роман, который для меня был самым сильным и самым гибким способом передачи мыслей и чувств одним человеком другому, подчинился механическому и коммунальному искусству, способному отражать лишь самые банальные мысли, самые простые эмоции.

Примером новых книг о Зельде Фицджеральд является бестселлер Терезы Фоулер, названный первой буквой имени Зельды — "Z". Адам Гопник пишет:

Роман "Зет" — часть заметной тенденции сделать Зельду символической героиней феминисток, женщиной большого потенциального таланта, лишенной возможности его применить. Зельда бесспорно обладала литературным даром, но считать ее чьей-то жертвой и думать, что она сошла с ума по чьей-то вине — это старомодно-романтическое отношение к трагедии. Трагические фигуры писательниц, таких как Вирджиния Вулф или Сильвия Плат, остаются трагическими и при благоприятных обстоятельствах — в достатке, в кругу любящих друзей или при нежном, внимательном муже (как это было с Вирджинией Вулф). Нынешний культ Зельды вызывает обиду за

других писательниц ее времени, которые в гораздо худших условиях сумели осуществить свой талант, — за Дон Пауэлл, например, и Аниту Лус, которые полностью исчезли из виду.

Адам Гопник теоретически, конечно, прав. Но ведь легендами не назначают. Наверное, некоторые современники Скотта и Зельды Фицджеральд были более достойными кандидатами на легендарность. Но именно эта пара была Адонисом и Афродитой (нет, Адонисом и Персефоной) "потерянного поколения".

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

В одном из прошлых выпусков рубрики (посвященном изданиям о человеческом мозге) речь шла о книге Себастьяна Сеунга “Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть”. Книга эта вышла в серии “Universum” издательства “БИНОМ. Лаборатория знаний”. В этом выпуске — еще о нескольких книгах той же серии.

Издательство представляет серию “Universum” так: *О науке, ее прошлом и настоящем, о великих открытиях, борьбе идей и судьбах тех, кто посвятил свою жизнь поиску научной Истины.* Сразу три из вышедших в последние два года книг посвящены генетике и генетикам: *Расшифрованная жизнь. Мой геном, моя жизнь* **Крейга Вентера**, *Мой неповторимый геном* **Лоны Франк** и *Биография жизни. От первой клетки до генной инженерии* **Адама Резерфорда**. Не обойдена вниманием и актуальная физика: *Частица на краю Вселенной* **Шона Кэрролла** рассказывает о том, как охота на бозон Хиггса ведет нас к границам нового мира. А особый интерес представляют две “метанаучные”, выходящие за рамки отдельных дисциплин книги.

Первая из них — *Теории всего на свете* (под ред. **Д. Брокмана**;

пер. с англ. **Н. Майсуряна** и **А. Капанадзе**. — М., 2016. — 400 с.). Это сборник коротких (в среднем по 3 книжных страницы) эссе, в которых более ста известных ученых (**Нассим Талеб**, **Ричард Докинз** и др.) отвечают на вопрос, заданный им в 2012 году издателем и редактором сайта Edge **Джоном Брокманом**: *Какое объяснение вы считаете самым глубоким, элегантным и красивым?* В результате получалась пестрая мозаика из самых разных тем, рассмотренных с самых разных точек зрения: естественный отбор Дарвина, квантовая физика, Большой Взрыв, природа сознания и т. д. Вот названия лишь некоторых из текстов:

Сила абсурда, Бессознательные умозаключения, Невероятная неопределенность, Роевой интеллект, Субъективная среда, Границы интуиции, Космическая сложность, Глубокое время...

Самое простое и показательное название — пожалуй, у текста профессора химии Оксфордского университета **Питера Аткинса**: *Почему всё происходит.* Впрочем, и вся книга в оригинале называется несколько иначе, чем в русском переводе: *This Explains Everything. Deep, Beautiful, and Elegant Theories of How the World Works* ("Это объясняет всё. Глубокие, прекрасные и элегантные теории того, как устроен мир"). И общий "месседж" книги состоит как раз в том, что фундаментальные объяснения воспринимаются нами как более достоверные, если они не только логически просты, но и эстетически красивы.

Впрочем, "элегантность" теории, конечно, вовсе не гарантирует ее истинности. Особенно это заметно в современной физике: ньютоновская простота работает только на "среднем" уровне, а на уровне микро- и макромиров сложность теории возрастает пропорционально уменьшению или увеличению размеров пространства исследуемого мира. И ничего похожего на $E = mc^2$ пока не видно.

Другая книга той же серии на фоне этой выглядит как-то совсем несерьезно: **Марк Абрахамс** *Это невероятно! Открытия, достойные Игнобелевской премии* (пер. с англ. **Б. Козловского** и **А. Капанадзе**. — М., 2015. — 334 с.). Автор — основатель так называемой *Ig Nobel*

Prize (*ignoble* — "постыдный"; по-русски это название существует также в не вполне корректном варианте "Шнобелевская премия"). Игнобелевская премия с 1991 года присуждается параллельно с Нобелевской и представляет собой своего рода издевательскую пародию на нее: здесь отмечаются не самые серьезные и фундаментальные исследования, а, наоборот, самые мелкие и смехотворные. Объектами научного интереса становятся движения крадущейся кошки, дистанция между лежаками на пляже, прически посетителей парка аттракционов, музыка чипсов, нездоровое пристрастие некоторых жуков к бутылкам (когда жуки принимают их за самок), зевота у черепах, развязавшиеся шнурки (где и как люди реагируют на них у других), использованные чайные пакетики, способы нарезки бутербродов с ветчиной (чтобы хлеба и ветчины получалось ровно пополам), кража книг из библиотек (оказывает-

ся, чаще всего пропадают книги по этике) и т. п.

Безусловно, с точки зрения далекого от науки человека все эти "приколы" выглядят большей частью не только смешно, но и просто как-то глупо. Однако во всей полноте общую тональность книги оценить могут те, кто реально занимался или продолжает заниматься конкретными научными исследованиями. Для человека, знающего, как работает современная наука, вся эта вполне заслуженная ирония наверняка воспринимается с долей горечи: ведь подавляющее число рядовых научных сотрудников выполняет работу примерно того же масштаба и уровня осмысленности. В индивидуальных научных планах доминируют темы типа "Анализ влияния чего-то на изменение чего-то другого при таких-то условиях" (этот стандарт обыгран в названии известного американского фильма начала 70-х: "Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки"). И только в совокупности эти частные исследования дают (или не дают: ведь "в науке отсутствие результата – тоже результат") какую-то картину более общего уровня, уже на основании которой единицами выдающихся ученых делаются выводы и открытия, потенциально достойные настоящей Нобелевки.

То есть подлинная ирония в том, что в науке – прежде всего в фундаментальной – невозможно отличить исследования осмысленные от бессмысленных. И элегантность книги Абрахамса прежде всего в том, что все работы в ней вполне реальные: к каждой главе дается библиография, отсылающая к статьям на описываемую тему, опубликованным во вполне авторитетных научных изданиях: "Журнал сравнительной психологии", "Журнал экспериментальной биологии", "Журнал психосоматических исследований", "Поведение животных" и т. д. То есть каждое из этих абсурдных, на первый взгляд, исследований в актуальном научном контексте представляет собой маленький кирпичик, который, возможно, кому-нибудь для чего-нибудь и сгодится.

Можно сказать, что наука устроена вполне по Гоголю: *Эта книжечка* (или статейка) *вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.* И, может, без этой книжечки (или статейки) и "Мертвых душ" (или теории относительности) не появилось бы.

Пенелопа Фицджеральд
Penelope Fitzgerald
[1916—2000]. Английская писательница, лауреат Букеровской премии [1979].

Автор романов *Книжная лавка* [*The Bookshop*, 1978], *На воде* [*Offshore*, 1979] и др.
В *ИЛ* опубликован ее рассказ *Хирухарама* [2012, № 12] и роман *У Фредди* [2014, № 12].
Роман *Голубой цветок* публикуется по изданию *The Blue Flower* [Harper Collins Ltd., 1995].

Ежи Пильх
Jerzy Pilch
[р. 1952]. Польский писатель, публицист, драматург.

Автор книг *Список блудниц* [*Spis cudzołożnic*, 1993], *Тысяча спокойных городов* [*Tysiąc spokojnych miast*, 1997], *О глупости, питии и умирании* [*Tezy o głupocie, piciu i umieraniu*, 1997], *Мое первое самоубийство* [*Moje pierwsze samobójstwo*, 2006], *Много демонов* [*Wiele demonów*, 2013] и др. В *ИЛ* были напечатаны его повесть *Монолог из норы* [1999, № 1], подборка эссе из сборника *Безвозвратно утраченная леворукость* [2000, № 8], главы романа *Песни пьющих* [2003, № 10], рассказы [2009, № 2].
Перевод повести *Зуза, или Время воздержания* выполнен по изданию [*Zuza albo czas oddalenia*. Wydawnictwo Literackie, 2015].

Уоллес Стивенс
Wallace Stevens
[1879—1955]. Американский поэт. Лауреат *Пулитцеровской* премии [1955].

Автор сборников стихов *Фисгармония* [*Harmonium*, 1923], *Догадки о гармонии* [*Ideas of Order*, 1936], *Человек с голубой гитарой* [*The Man with the Blue Guitar*, 1937], *Поездка в лето* [*Transport to Summer*, 1947], стихотворного трактата *К определению Высшей Выдумки* [*Notes Toward a Supreme Fiction*, 1942] и др. В *ИЛ* печатались переводы его стихов [1961, № 8; 1998, № 10; 2008, № 5].
На русском языке вышли книги У. Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2000] и *Сова в саркофаге* [2008] в переводе Г. Кружкова.
Публикуемые стихи и афоризмы взяты из книги *Сборник стихов и прозы* [*Collected Poetry and Prose*. New York: The Library of America, 1997].

Григорий Кружков
[р.1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *Иллюминатор* [2002], Государственной премии по литературе [2003], премии *Мастер* [2010], Бунинской премии [2010], премии имени А. И. Солженицына [2016], Почетный доктор

Автор восьми сборников стихов [последние — *Двойная флейта*, 2012 и *Холодно-горячо*, 2015]. В его переводах вышли книги Л. Кэрролла *Охота на Снарка* [1991], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Д. Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Д. Донна *Алхимия любви* [2005], У. Стивенса *Сова в саркофаге* [2008], Э. Дикинсон *Стихи из комода* [2010], У. Шекспира *Король Лир. Буря* [2013] и др. Статьи и эссе составили сборники *Ностальгия обелисков* [2001], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Пироскаф* [2008], *У. Б. Йейтс. Исследования и переводы* [2008], *Луна и дискобол* [2012]. Вышли *Избранные переводы* в 2-х тт. [2009] и *Очерки по истории*

Дублинского университета.

английской поэзии в 2-х тт. [2015]. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Жан-Пьер Камю
Jean-Pierre Camus
[1584–1652]. Французский писатель и богослов.

Автор около 260 сочинений, в том числе трактата *Пестрая смесь* [*Diversités*, 1609–1618], книги *Дух Блаженного Франциска Сальского* [*L'Esprit du Bienheureux Francois de Sales*, 1641], романов *Агатонфил* [*Agathonphile*, 1621], *Элиза* [*Elise*, 1621], *Спиридион* [*Spiridion*, 1623], *Дикий голубь* [*Palombe*, 1625] и др.
Публикуемый текст печатается по изданию *Тридцать новелл* [*Trente nouvelles*. Paris, Viin, 1977].

Елена Вячеславовна Морозова
Переводчик с французского.

Автор пяти романизированных биографий из серии *ЖЗЛ*: *Казанова* [2005], *Маркиз де Сад* [2007], *Шарлотта Корде* [2009], *Калиостро* [2011], *Мария Антуанетта* [2014], статей по французской литературе и истории. В ее переводе выходили новеллы маркиза де Сада *Преступления любви*, его романы *Изабелла Баварская* и *Маркиза де Ганж*, романы С. Бромли *Террор в будуаре*, М. Магра *Сокровище альбигойцев*, *Кровь Тулузы*, О. де Бальзака *Столетний старец* и др., исторические работы Ж. Ле Гоффа *Средневековый мир воображаемого*, М. Левера *Сад* и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы новеллы де Сада *Флорвиль и Курваль* и *Эжени де Франваль* [1992, № 1], повесть М. Турнье *Жиль и Жанна* [1993, №10], пьеса А. де Нерсиа *Мимолетное любопытство* [2012, № 7].

Александр Мелихов
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006], имени А. М. Зверева [2015].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006], *Мудрецы и поэты* [2008], *Тень отца* [2011], *Каменное братство* [2014], *И нет им воздаяния* [2015] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Марк Копелев
[р. 1944]. Писатель, режиссер, фотохудожник. С 1991 г. живет в США.

Автор книги *Письма с того света* [Зебра-Е, Фестпартнер, 2010]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода.* Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор книг *Meaning and Categorization* [1996; в соавторстве], *А. и Б. сидели на трубе: Перевод с советского* [2002], *Чтение по буквам. Роман-Альбом* [2012]. В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook.* Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики

Елена Суриц
[Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премий *Инолит* [1994, 2009], *Единорог и Лев* [2006], *Мастер* [2006].

В ее переводе издавались романы В. Вулф, Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, С. Беллоу. Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ.*

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, М. Хласко, Т. Новака, Е. Анджеевского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Ружевича, В. Мысливского, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле, Ю. Стрыйского, Э. Ментцеля, А. Барта, З. Хаупта, П. Черского и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ.*

[10] 2016

РОМАН ЭВЕЛИО РОСЕРО “БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕДЫ” / ПОВЕСТЬ РИЧАРДА ФОРДА “ПРОЧИЕ УМЕРШИЕ” / ИЗБРАННЫЕ МИНИАТЮРЫ ЖАН-ПЬЕРА ОТТА “ЛЮБОВЬ В САДУ” / ХИЛАРИ МАНТЕЛ, АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ, ХАИМ ПЛУЦИК И ДР. В РУБРИКЕ “ГОД ШЕКСПИРА” / СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР: ГЛАВА ИЗ КНИГИ КШИШТОФА ЗАНУССИ “ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ, ИЛИ КАК СЪЕСТЬ ПИРОЖОК, ЧТОБЫ ОН ОСТАЛСЯ ЦЕЛ” И ДР.

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого живописца Фрица фон Вилле [1860–1941] *Синий цветок* [1906–1907].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор Мария Макарова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва, Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А (юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2 (почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт” (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
e-mail: inolit@rinet.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в магазине “Фаланстер” (Малый Гнездниковский пер., 12/27);
в киоске “Книжные мастерские” (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине “Книжные мастерские” (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в магазине “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в магазине “Подписные издания” (Литейный пр., 57);
в киоске “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
19.08.2016
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 3647.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РОССИЯ
ГОД ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ/2016

BRITISH COUNCIL

GREAT BRITAIN

bp

СЕМИНАР "БРИТАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ" В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

С 15 по 18 сентября Британский Совет совместно с Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" проведет первый в России выездной семинар, посвященный современной британской литературе.

Принять участие в мероприятии могут как профессионалы, так и молодые специалисты в области языка и литературы, а также все, кого интересует британская культура. Это уникальная возможность встретиться с известными британскими писателями, завести новые знакомства для обмена знаниями и опытом.

В программе выступления приглашенных писателей лекции о современной британской литературе, дискуссии, читки, практические мастер-классы по основам творческого письма и тематические прогулки. Семинар проводится на английском языке без перевода.

Среди участников семинара яркие представители современного литературного процесса Великобритании:

– **Никола Баркер** (*Nicola Barker*), лауреат Дублинской литературной премии и премии журнала "Granta";
– **Шарлотта Мендельсон** (*Charlotte Mendelson*), писательница, чей последний роман "Почти англичане" вошел в длинные списки Букеровской премии и женской литературной премии "Baileys";
– **Санджив Сахота** (*Sanjeev Sahota*), один из финалистов Букеровской премии 2016 г.;
– доктор **Кейти Шоу** (*Dr. Katy Shaw*), ведущий преподаватель литературы университета Беккет;
– **Оуэн Ширс** (*Owen Sheers*), писатель, поэт и драматург, автор романа "Сопротивление", положенного в основу одноименного фильма 2011 г.;
– **Луиза Уэлш** (*Louise Welsh*), автор биографии Кристофера Марло "Тамерлан должен умереть" и антиутопической трилогии "Время чумы";
– **Рут Бортвик** (*Ruth Borthwick*), руководитель фонда "Arvon".

Майкл Берд, директор Британского Совета в России, отмечает: "С начала *Года языка и литературы Великобритании и России / 2016* Британский Совет представил российской публике более чем пятьдесят ведущих британских романистов, поэтов и актеров. Семинар в Ясной Поляне продолжит эту инициативу и станет одним из ключевых событий нашей программы".

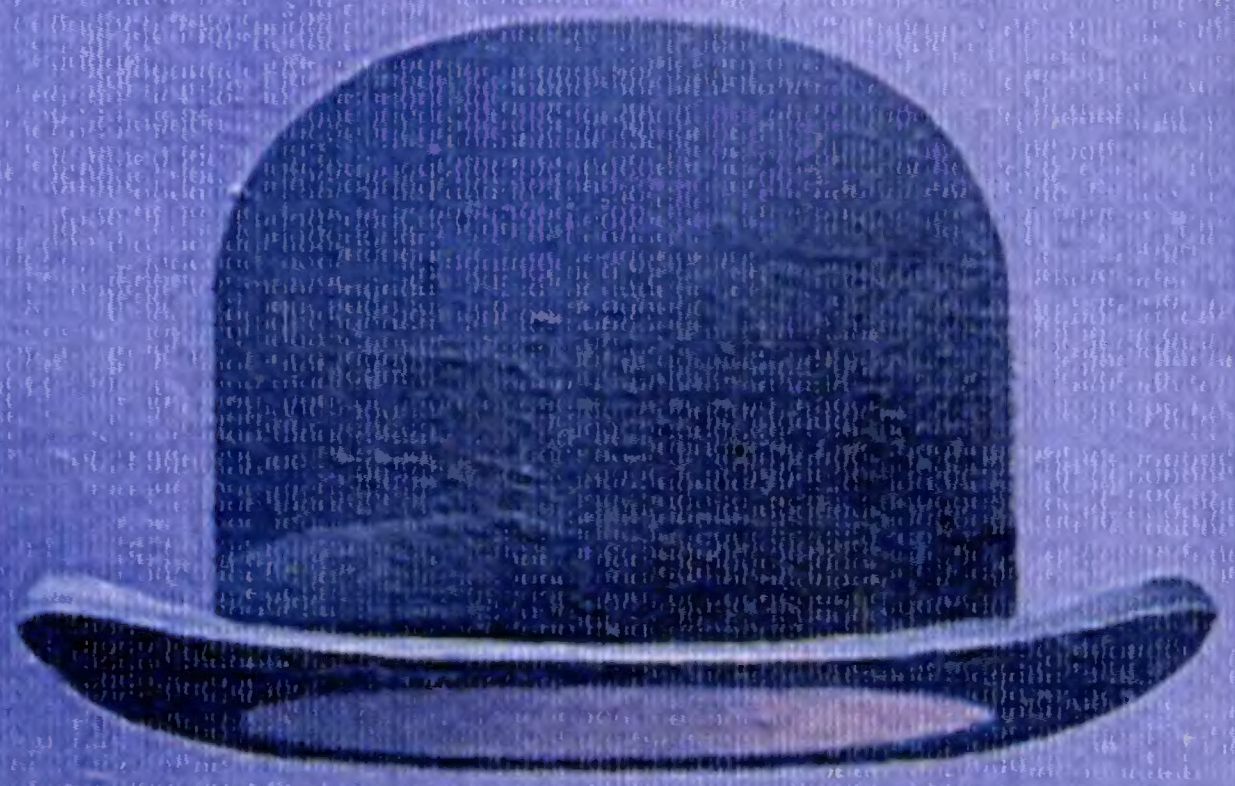
Символично, что в качестве места проведения семинара в России была выбрана Ясная Поляна – усадьба одного из корифеев мировой литературы Льва Толстого.

"В личной библиотеке Льва Толстого в Ясной Поляне хранится множество произведений, написанных классиками британской литературы – Уильямом Шекспиром, Чарльзом Диккенсом, Робертом Льюисом Стивенсоном, Уильямом Теккереем, Бернардом Шоу. Эти издания хранят пометы, сделанные рукой самого писателя; по ним можно судить, какой огромный интерес он проявлял к британской литературе", – говорит **директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.**

Подробная информация о семинаре доступна на сайте Британского Совета www.britishcouncil.ru.

LENTA.RU Комсомолка metro пионер ВГТРК

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2016, №9, 1–288

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”

ISSN 0130-6545 16009 9 770130 654770